

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

1/2019

Содержание

ПРОЗА

Олег ХАФИЗОВ. Дуэлист. Главы из романа.	3
Кристина ВЫСОЦКАЯ. Кровная свора. Повесть.	56
Александр РОМАНОВ. Север. Рассказ.	102

ПОЭЗИЯ

Виллем РОГХЕМАН. Осень модернизма. Стихи. <i>Перевод с нидерландского Анастасии Андреевой.</i>	50
Александр ФРАНЦЕВ. В пригороде темном. Стихи.	98
Михаил ЛЕВАНТОВСКИЙ. В игрушечном автобусе. Стихи.	116
Надя ДЕЛАЛАНД. Трафареты для жизни. Стихи.	122

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир СЕМЕНОВ. Из дневника присяжного заседателя.	127
Дмитрий МЕТЕЛИЦА. Четыре часа.	159

Книжная полка

Лариса ПОДИСТОВА. От «Евангелия Достоевского» до северных легенд. Лучшие книги года по версии «Книжной Сибири».	184
---	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

«Любить окружающий мир и чувствовать его свет...» Беседа с художником Ириной Анатольевной Карнушиной.	187
---	-----

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Олег ХАФИЗОВ

ДУЭЛИСТ

Главы из романа

Моей жене Елене

*Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? Страшну ночь?
К. Н. Батюшков*

От автора

С детства я бредил двенадцатым годом. Из рассказов самовидцев, писем и дневников того времени передо мною вставали живые образы Давыдовых и Кульневых, Тучковых и Милорадовичей, сих рыцарей Александровой эпохи, имена которых заставляют колотиться сердце каждого русского мальчика, мечтающего о расшитых ментиках, золотых эполетах, сверкающих саблях, гремящих шпорах и конных атаках.

Меня особенно привлекали те буйные, широкие натуры прошлого, в коих культ чести уживался с низменными пороками, а личное вольнодумство не мешало самому искреннему верноподданничеству. Тип этот почти полностью вывелся в нашем обществе с воцарением Николая, когда Бурцевы и Фигнеры, не имеющие практического приложения своим гомерическим талантам, опошлись до Ноздревых. В поисках модели героя для своей гусарской саги я перебрал множество лиц, которыми была столь обильна первая четверть нашего века, и не в одной только России. Мой выбор пал на человека, не служившего, правда, в гусарах, но полнее всех, по моему мнению, воплотившего перечисленные качества, — знаменитого графа Федора Ивановича Толстого, прозванного Американцем.

Я замыслил показать личность Американца Толстого со всех возможных сторон, во всем ее причудливом своеобразии, не скрывая недостатков сей порочной, привлекательной натуры, но и не забывая об ее достоинствах. На сей конец я встретился с рядом лиц, коротко знавших моего героя и обязательно откликнувшихся на мой замысел.

Мой первый рассказчик, князь Тверской, принадлежит нашей литературе и нашей истории. Князь Тверской был ровесником и близким другом Американца. Нынешнее его положение в обществе столь высоко, а вклад в российскую словесность столь значителен, что нам пришлось изменить его настоящее имя, которое, впрочем, вряд ли укроется от истинных любителей поэзии.

Пролог

Приходилось ли вам, милостивый государь, слышать легенду об одиннадцати убиенных на дуэлях графом Толстым? Когда нет, то я вам ее расскажу.

Это теперь барышни взрывают поезда, а студенты с револьверами охотятся за губернаторами на улицах, как за дичью. А в былые времена каждое убийство поражало ужасом столицы и рассказы о кровавых дуэлях шепотом передавались в столичных домах из года в год. Что было в этих рассказах правдой, а что выдумкой, предоставляю судить вам самому. Но о моем приятеле графе Толстом говорили следующее.

Будучи в молодости в околосветном плаваньи на корабле «Надежда», Толстой так досаждал капитан-лейтенанту Крузенштерну своими шалостями, что добрейший Иван Федорович принужден был высадить Федора Ивановича на одном из Алеутских островов с запасом провизии и пороха. На острове граф не только что не пропал, но сделался «царем» у местного племени колош, вследствие чего и получил свое прозвище. Будучи предводителем диких американцев, Толстой поклонялся их кровавым идолам, приносил им человеческие жертвы и даже вкушал человеческое мясо. В результате таковых бесовских упражнений в графа якобы вселился дьявол, сделавший его неуязвимым для пуль и клинков.

Воротившись в Россию на купеческой шкуне Российско-американской компании, Федор Иванович продолжал паки бесчинствовать, заниматься адской картежной игрой и драться на дуэлях. Нечестная игра, в которой Американцу помогал сам Вельзевул, принесла ему огромное состояние. Толстой разорил не одно доброе семейство, развратил целое поколение московской молодежи, во всем следовавшей его примеру, погубил десятки и десятки женских сердец. Когда же кто имел смелость обличать Американца в лицо, тот вызывал несчастного на дуэль и убивал без жалости. Число людей, уничтоженных Американцем на поединках, достигло одиннадцати. Из какого-то сатанинского тщеславия граф заносил имя каждой новой жертвы в журнал, называемый «синодиком», где были в подробностях описаны его злодеяния.

Как известно, лет под сорок Федор Иванович женился, остепенился, отвык от вина и сделался набожным христианином. Здесь-то дьявол и потребовал от него расплаты за содеянное. За душу каждого убиенного

им человека Американцу пришлось заплатить жизнью собственного ребенка. У Толстого одиннадцать детей умерло в младенческом возрасте. Схоронив очередного наследника, граф доставал из тайника свой синодик и помечал «quitte»^{*} против жертвы, отмщенной таким ужасным образом. Так перед именем каждого из убитых им людей появился крест и надпись «quitte». В живых остался лишь двенадцатый и последний ребенок — прекрасная собою девочка, которая дожила до зрелого возраста. А граф Толстой с тех пор жил праведно, раздавал имущество бедным, молился и помогал ближним, как истинный христианин. Так или почти так гласила старая московская легенда. Разберем ее трезво.

Сомнительно уже то, что мой друг бывал в Америке и был монархом славного царства колош. Откройте воспоминания Крузенштерна, и вы увидите, что шлюп «Надежда» никогда не приближался к островам Русской Америки и, следовательно, не мог там никого высадить. Адмирал Крузенштерн прямо говорит, что по прибытии на Камчатку удалил из команды гвардии подпоручика Толстого и еще двух человек, отправив их сухим путем в Петербург. Как не поверить добросовестному моряку?

Правда, я видел в коллекции Американца испещренные рисунками копья, скальпы и черепа диких, которые могли быть привезены из Америки, но также — приобретены у племен Бразилии, Маркизовых островов, Сибири и других мест, которые он посетил в своей одиссее. Что до меня, то Федор Иванович никогда не рассказывал мне о своем американском царствовании, жертвоприношениях и канибализме, уповательно прибегающая сии сказки для более доверчивых ушей московских дам.

Обратимся к столь любимой вашим братом журналистом статистике. Мне доподлинно известно, что графу приходилось убивать людей на дуэлях, а возможно, и на войне. Однако их число — одиннадцать — кажется мне чрезмерным. Сколько людей убили лично вы, милостивый государь? Представьте, я тоже никого не убивал и, будучи на войне, даже ни разу не выстрелил из пистолета. Отчего же некоторые господа полагают, что во времена Александра Благословенного убить на дуэли дворянина было так же легко, как свернуть голову курице?

Были ужасные случаи наподобие поединка Завадовского и Шереметева, дуэлей каре или знаменитого дуэля Чернова, когда противники сошлись на пять шагов и, натурально, уложили друг друга в упор. Но таковых смертоубийств я вам не насчитаю и двух десятков за все время от возвращения русской армии из заграничного похода до кончины Александра I, когда общество наших офицеров отличалось особым буйством. Да за один нынешний год под колесами экипажей в Москве погибло втрое больше народа! Вы же мне рассказываете, что мой друг, как Ванька Каин, отправил к праотцам дюжину отборных кавалеров!

^{*} Квиты (франц.).

Хотите мое мнение? Человек, хотя бы раз не убоявшийся подставить лоб под пулю и с честью выдержавший такое испытание, на целую жизнь приобретал славу храбреца. Дуэлист, получивший хоть легкую царапину и заплативший за свою честь собственной кровью, уже почитался романическим героем и вызывал своим появлением в гостиной ажитацию у дам. Если же вы убили человека — не одиннадцать, но одного! — вы были настоящий демон. Каждое ваше слово приобретало роковой смысл, каждый жест перетолковывался в особом, таинственном значении. Матушки боялись вас как огня, а дочери их слетались на вас, как на огонь слетаются бабочки. О подобной репутации каждый из нас мог только мечтать. У нее был всего один и крупный недостаток: на поединке вас мог угробить другой демонический герой.

Что касается детей Толстого, то, по собственным его словам, он схоронил восьмерых в младенчестве или раннем возрасте. Четыре дочери были рождены и все умерли, когда Толстой со своей цыганкой еще не обвенчались. Позднее жена родила ему еще четырех наследников, но и они прожили недолго. Наконец, дочь его Сарра прожила семнадцать лет и скончалась от какой-то неведомой болезни. В живых осталась ныне здравствующая Полина. Много это или мало, я предоставляю судить вам самому, когда вам суждено будет дожить до моих лет и, боже упаси, так же схоронить своих наследников.

Смерть Сарры, сей гениальной девушки, потрясла моего друга до глубины души. После нее он никогда уже не был прежним Американцем. И его долг по синодику смерти, каков бы он ни был, сделался квит.

Quitte

Сарра умерла весной, на следующий год после гибели Александра Пушкина. Ее погребли в Петербурге, а затем перевезли на Ваганьковское кладбище Москвы, где теперь покоятся ее отец и мать. Ныне это кладбище похоже на музей под открытым небом: могилы именитых москвичей здесь налезают друг на друга в страшной тесноте. Тогда же семейный уголок сей злосчастной фамилии был весьма просторен и напоминал военное кладбище. Ряд свежих могил малюток Толстых вырос с короткими промежутками, словно жестокий и беспощадный враг окружил семейство Американца и методически выкашивал его перекрестным огнем. Куда и для чего перенесли эти могилы, мне неизвестно, но их там уже нет. Все Толстые лежат под одним каменным столбом.

...Гроб с юной девой, до половины укрытый пеленой, едва виднелся из-за вороха цветов и будто плыл между мерцающих светильников и клубов ладана. Служба завершилась, провожающие затушили свечи и гуськом потянулись ко гробу для прощального целования. С внутренней робостью я приблизился к мертвой деве и запечатлел на ее мраморном челе прощальный поцелуй.

Сарра лежала в роскошном гробе, среди благоухающих цветов такая же прекрасная, как при жизни, словно вот-вот должна была подняться, с недоумением оглядеться и прекратить сию дурную шутку. На несколько мгновений я задержался у гроба, пытаюсь как можно глубже укоренить ее обескровленные черты в моей памяти. В прозрачные пальцы Сарры уже была вложена разрешительная молитва, на груди лежал образ святого Спиридония, семейного покровителя, когда-то спасшего графа в сражении с дикими. Вдруг я заметил, что нижняя губа девушки распухла и синееет сквозь толстый грим. Бедное дитя в последние минуты жестоких страданий искусало себе губы, дабы не смущать родителей своими жалостными криками. Зрелище это было сверх моих сил. Я отшатнулся от гроба, утирая лицо.

Крестообразно осыпав тело землею и произнеся положенные при этом слова, священник дал знак служителям закрывать крышку. Раздался удар молотка. Отняв от глаз платок, я взглянул на графа. Федор Иванович стоял у изголовья гроба, вцепившись пальцами в ручку своей миньютюрной супруги. Его белые волосы были всклокочены, а глаза широко раскрыты, как в припадке невыносимого ужаса. После каждого удара молотка он едва заметно содрогался, точно гвозди впивались в его тело. Гроб подняли и понесли за поющим священником.

После полумрака храма и сладкого запаха тлена природа сияла так, что больно было смотреть. Дымные тени облаков и птиц проносились по замшево зеленеющей коричневой земле. Пробираясь к отверстой могиле за гробом Сарры, я переступал через ручьи, шумливо сбегавшие со всех кладбищенских бугров, проваливался в лужи и все опасался из-за недавней простуды промочить ноги. Таковы люди! Смерть железными когтями только что похитила прекрасное юное существо, которое по несомнительной его гениальности должно было стать новой Сапфо. Ее пожилой отец, мой друг, сам на краю гибели от горя. Природа ликует и смеется нам в лицо, словно упиваясь таковой несправедливостью. А я хлопочу из-за насморка.

Гроб установили на краю ямы, возле горы яркой свежей глины. Совершив еще одну краткую молитву, батюшка обратился к семейству со словами утешения.

— Братья и сестры, взгляните, как ликует Божий мир! — произнес согбенный, дряхлый старец, обводя вокруг себя сухою, будто мумифицированной рукой. — Он радуется приобретению нового ангела. И мы вместе с ним должны радоваться, что Господь восхитил лучшую из нас для вечной радости и истинной жизни. Нам же оставил образ юной и безгрешной девы, не оскверненной ни возрастом, ни житейской суетой. Возрадуемся за девицу Сарру и возблагодарим Господа нашего Иисуса Христа! Аминь!

Расставив ноги по краям могилы, служители стали опускать гроб на постромках в глубокую щель. Вдруг сей изукрашенный челн, на котором

нам всем суждено переправиться в небытие из нашего жестокого, но милого сердцу мира, застрял между узких стен ямы. Работники подергивали постромки, опасливо поглядывая на гневливого графа. Графиня подняла воаль и вся подалась вперед, точно хотела броситься за дочерью в могилу. Тогда оторопь словно сошла с Американца. Он властным жестом отстранил оробелых мужиков, поднял гроб, захватив по одному постромку каждой рукой и, бережно приседая, своеручно опустил гроб в могилу.

Мы с недоумением смотрели на сего геркулеса, душа которого омертвела от горя, но тело все еще было сильнее, чем у двух дюжих парней. Поскользнувшись, граф едва не упал и коленом уперся в глиняную кучу.

— Не следовало этого делать. Это дурной знак! — шепнул мне священник.

Прощальные горсти земли рассыпчато застучали по крышке гроба.

По окончании поминального обеда граф попросил меня задержаться. Мы остались с ним в кабинете, стены которого еще на днях оглашались нашим смехом и хлопками пробок. В глубоком молчании Толстой опустился на диван и закурил свою любимую «американскую» трубку с изогнутым наборным чубуком, окутавшись синими облаками кнастера. Табак, как и все у Американца, был какой-то особый, из самой Виргинии, такого не было больше ни у кого. Он отличался пряным ароматом и был приятен при вдыхании, даже когда курил кто-то другой. Я погрузился в глубокое кресло напротив и стал протирать очки, запотевшие от слез.

Я хотел утешить моего друга и не находил слов. Повторять за священником сказки про мир иной, из которого еще никто не возвращался с достоверными известиями? Или оскорблять этого рыцаря бабьими причитаниями? И то и другое казалось недостойным нашей дружбы. И так, я молчал вместе с ним, и мне казалось, что именно немого присутствия хотел от меня Федор Иванович.

Сердце мое раздиралось жалостью, будто я видел перед собою матерого, могучего льва, пронзенного дротиком пигмея. Словно царственный зверь, потрясая гривой, ползает во прахе и крови, не в силах ни подняться, ни умереть, ни признать еще своей гибели. По временам из клубов дыма доносились глубокие, со всхлипами вздохи, и я не смел взглянуть прямо и увидеть заплаканное лицо Американца, который, бывало, смеялся в глаза самой смерти.

— Видишь, как быстро убралась наша Сарра, мой принц, — только и мог сказать Федор Иванович (он один называл меня принцем).

— Бедная, бедная, — ответил я и снова залился слезами.

Вдруг я заметил, что в дверях кабинета стоит семилетняя дочь Толстого Полинька. В темном траурном платье она была едва различима против бархатной синей портьеры. Девочка была чудо как трогательна в

своем длинном, как у большой дамы, одеянии, с траурной лентой в черных блестящих кудрях, с угольными пламенными очами, вместе жалостными и просительными, какие бывают только у цыганских детей. Дитя наблюдало за отцом, желая и не смея приблизиться, как робкий детеныш и хочет, и боится забраться в гриву льва — своего грозного родителя.

Точно очнувшись, Толстой отложил трубку и распростер руки в сторону дочери. Полинька с каким-то птичьим пискком пролетела сквозь комнату и уткнулась лицом в его колени. Нежно, словно докасаясь до одуванчика, Американец поцеловал затылок девочки.

— Слава богу, что Господь оставил мне хотя бы моего цыганеночка, — сказал он.

— Папа, а где теперь Сарра? — спросила Полинька, завладев татуированной рукою отца. — Мистрис Джаксон говорит, что она на небесах, но я не верю. Мистрис Джаксон всегда говорит не как есть, а как надо.

— Я чувствую, что Сарра сейчас среди нас, но мы ее не видим, — отвечал Толстой дрогнувшим голосом.

— Да-да-да, я ее слышала, — жарко зашептала Полинька. — Когда я заходила в детскую к нашей кукле, что прислал нам из Парижа князь Тверской, я вдруг услышала ее громкий шепот. Вот как тебя сейчас.

— И что же она сказала?

— Она только сказала: «Полька». Помнишь, папа, как ты запретил ей называть меня таким грубым именем? А она сказала, что полька — это не грубость, а барышня, которая живет в Польше. И мы смеялись.

— Я помню, — сказал Толстой.

В кабинет зашла английская воспитательница Полиньки мистрис Джаксон, эта чопорная и упрямая, но добрая и преданная детям до безумия пожилая девушка из Бирмингама, к которой Толстой питал какую-то юмористическую привязанность.

— My lord*, вас обременяет юная леди? — спросила Джаксон.

— Не более, чем жизнь, — монотонно отвечал Толстой.

— Young lady**, ступайте в гостиную, попрощайтесь с гостями и выразите им признательность за сочувствие вам, вашей матушке и вашему доброму отцу. Затем идите к матушке и дайте интимный разговор графу и князю.

— Не хочу к татап! — капризно отвечала Полинька.

Американец красноречиво на меня посмотрел и бережно отнял девочку от колен.

— Ступай к татап, ты ей нужна больше, чем мне, — сказал он.

Начало смеркаться. Лазурь за окном стала тускнеть, и среди белого дня на небе проявился узкий фосфорический месяц. Граф позвонил в рынду, которая служила ему домашним колокольчиком, велел разжечь камин,

* Мой господин (англ.).

** Юная леди (англ.).

принести свечей и подать чаю. Я собрался было ехать, но Федор Иванович попросил повременить.

— Потерпи меня еще немного, брат Тверской, я должен показать тебе что-то важное, — сказал он, набивая очередную трубку и заходясь каким-то новым, нехорошим кашлем, последнее время его донимавшим.

Слуга разжег камин, свечей же граф попросил пока не зажигать. Я не видел в полумраке его лица, и его тихий разборчивый голос долетал до меня из неясной фигуры на диване, которая отбрасывала на стену безобразно причудливую тень от прыгающих вспышек разгорающегося пламени.

— Помнишь ли ты Александра Нарышкина? — спросил Американец.

— Как я могу его забыть? — отвечал я осторожно, опасаясь разбредить одну из самых болезненных ран в его душе, и без того смертельно уязвленной.

Толстой, напротив, словно решил размотать передо мною свои окровавленные бинты, как бывает с некоторыми больными в пароксизме страданий.

— По-твоему, был бы он сегодня удовлетворен? — спросил Федор Иванович и издал в темноте какой-то звук, показавшийся мне усмешкою.

— Я твердо уверен, что несчастный Александр горевал бы сейчас вместе с тобой, — отвечал я так убедительно, что и сам почти поверил своим словам.

— Однако я лишил его такой возможности, — пробормотал Толстой и пыхнул трубкой, огонек которой бросил на его глазницы глубокие черные тени, как у мертвой головы. — По совести, я даже сомневаюсь, что он успел познать женщину.

— Не много же он упустил, — заметил я с горечью. — Вспомни слова священника: блажен, кто не дожил до такой минуты, как мы с тобой.

— Он преследовал меня всю жизнь. Ты увидишь, — сказал Толстой, зажег свечу и, подняв ее над головой, стал что-то искать в бюро.

Мне сделалось страшно. На минуту показалось, что Американец вынет из тайника отсеченный палец убитого соперника или что-нибудь не менее жуткое. В прежние времена с него стала бы такая шутка.

Он достал со дна ящика тяжелый альбом в переплете черной кожи, с окованными краями и бронзовой застежкой, что-то вроде старообрядческого молитвенника. Теперь я подумал, что он предложит помолиться вместе с ним, что было также в его духе. Но он сел на диван, раскрыл свою могильную книгу и хлопком ладони по сиденью пригласил меня подсесть к нему. Наклонившись через широкое плечо моего друга, я увидел на раскрытом листе миньютюрный портрет юноши с небрежными кудрями

a la Duroc^{*}, как модно было носить в первые года этого века, в старомодном гвардейском мундире с очень высоким и неловким воротником под самое горло. Ниже портрета лист был исписан твердым, крупным, почти детским почерком графа, который я не мог разобрать из-за темноты и близорукости.

— Ты помнишь, когда состоялся мой дуэль с Александром Нарышкиным? — спросил Американец с каким-то ледяным спокойствием, от которого дохнуло на меня безумием.

— Вы в середине марта переходили по льду залив, а к апрелю уже стояли на квартирах в Абове, — сказал я. — Ваш поединок, сколько я помню, должен был состояться около середины апреля.

— Мы стрелялись двадцатого апреля. А через три дня Нарышкин умер в госпитали... И Сарра умерла двадцать третьего апреля.

— Ну так что? — спросил я, неприметно отодвигаясь.

— Ты почитай мой синодик, — отвечал Толстой, усмехаясь какой-то странной усмешкой, от которой у меня стиснулось сердце, и наклонил над самым альбумом яркий огонь свечи.

Под портретом шла надпись в обычной манере Толстого, не признающего правил ни в поведении, ни в грамматике: «Александр Иванов Нарышкин, сын сенатора Нарышкина, лейб-гвардии Егерского полка прапорщик. Умер апреля 23-го 1809 года в военной госпиталии близ Абова в Финляндии от раны в пах пистолетною пулею при поединке. Убиец граф Феодор Иванов Толстой».

— Теперь полюбуйся-ка сюда, — сказал Федор Иванович и перевернул страницу.

На ней была наклеена миньютюрная копия портрета Сарры, сделанная незадолго до того, как ее сразила болезнь, во всем блеске ее гишпанской красоты, девственной и почти еще детской, не опаляющей, но умиляющей взор. Под портретом девушки была свежая запись: «Девушка Сарра Феодоровна Толстая. Умерла 23-го апреля 1838 года, в 11 утра, на восемнадцатом году жизни. Убийца богопротивный граф Феодор Толстой». И размашистым, безумным почерком, продравшим бумагу, написано: «Quitte».

— Он будет небесным женихом моей Сарры, — сказал Федор Иванович, положив на мое плечо тяжелую длань, на которой из-под кружевного манжета выглядывал геометрический рисунок татуировки. — И близко заглянул мне в глаза лихорадочно блестящим взором, от которого мороз подрал по коже.

Затем Толстой подошел к каминной решетке и бросил свою страшную книгу в жарко пыхнувшее пламя.

* Прическа, названная по имени французского генерала и дипломата Жерара Дюрока.

На окраине империи

Городишко Нейшлот не так давно вошел в состав Российского государства. Но он по праву может соревноваться с самыми захолустными дырами нашей империи.

Нейшлот означает по-шведски «новый замок». По иронии подобным же образом самый древний мост Парижа называется Новым мостом. Нейшлот разросся на берегу озера при замке Олафсборг — не новом, но одном из древнейших замков, построенных шведскими феодалами на финских землях. Сия мрачная фортификация состоит из циклопических башен, мощных казематов, крутых валов и замшелых стен дикого камня, в избытке предоставленного самой природою. Поскольку окрестности Нейшлота, по определению Толстого, есть не что иное, как строительная площадка, на которую Господь Бог завез камня на целую Вавилонскую башню да и бросил. Крепость находится на острове, в проливе двух озер, обширностью не многим уступающих знаменитой Ладоге. Стоя на самой высокой башне Олафсборга, часовой не видит конца свинцовому водному пространству ни в одну сторону, ни в другую и разве изредка заметит в сей тоскливой пустыне косою парус чухонской ладьи.

Крепость соединена с так называемым городом длинным дощатым мостом, которым караул ежедневно топает на развод — четверть часа в один конец и столько же обратно по шатким доскам. Кроме мастерских и магазинов с припасами в крепости находились солдатские казармы да несколько тюремных казематов, где томились чуть не со времен Бирона какие-то секретные узники — одичалые, заросшие существа, утратившие человеческий облик, сословие и пол, едва ли помнящие собственное имя и преступление, которое их сюда привело. Здесь также содержалось семейство, представляющее собою нечто вроде исторической достопримечательности: жена и дети одного из главных пугачевских *енералов* — суровая старуха-староверка и два ее робких, дурковатых сорокалетних сына. Их держали без всякой охраны, применяли по хозяйственной надобности, но отчего-то не отпускали домой на Урал. Возможно, наша неразворотливая государственная машина просто забыла о сих невинных ответчиках за прегрешения висельника отца — у них же не хватало соображения составить и подать прошение о помиловании.

С первого взгляда на ужасную громаду замка, чернеющего зубцами башен на пасмурном небе, было понятно, что захватить его невозможно. Да и никто ни при каких обстоятельствах нарочно не захочет овладеть этой ненужной горою камней среди пустой воды. Так и стоит грозный Олафсборг близ городка Нейшлота «на оживленной артерии водных путей Сайменской системы озер» (как сообщал учебник географии), не испытывая ни малейших покушений на свой счет.

В последний раз крепость была блокирована в предыдущую финляндскую войну. Тогда шведское воинство во главе со своим театральным королем явилось на берег озера и потребовало у защитников Олафсборга немедленно отворить ворота. Однорукий русский майор, который заперся в замке с двумя сотнями солдат, отвечал, что не имеет таковой возможности, ибо у него нет руки. В досаде король приказал пустить по крепости несколько ядер, а затем сжечь дырявый баркас, забытый неприятелем на пляже. Король решил хотя бы ограбить окрестности, но грабить среди камней оказалось нечего, и он в недоумении ретировался.

Вся жизнь, хозяйственная, умственная и, так сказать, светская, лепилась вокруг местного гарнизонного батальона, которого офицеры стояли по обывательским квартирам, а проводили время в *танцевальном клобе* — обширном дощатом сарае под крашеной железной крышей, с двумя деревянными античными колоннами при входе.

Гражданское население Нейшлота ютилось по хижинам, кое-как прилепленным по скалам в местах относительно ровных и очищенных от зарослей. Аристократия жила на единственной мощеной улице и состояла из двух немецких купеческих семей — Рамбергов и Бомбергов, одного финского откупщика Тавагуста, выдающего себя за шведа, русского ратмана Борцова и лютеранского пастора Блюмберга. Пастор так же безусловно, деспотически повелевал коренным населением, как это делают шаманы в каких-нибудь диких лесных племенах. Без ведома священника окрестные чухонцы не смели ни жениться, ни построить дом, ни даже купить овцу.

Служебные занятия офицеров начинались в восемь утра разводом, маршировкой на плацу и поручениями по хозяйству, а к обеду, как правило, иссякали. Делать было решительно нечего. До самого ужина оставалось на выбор: валяться в постели, лазать по скалам с ружьем за дичью, гонять с приятелями в бильярд или разогреться пуншем к тому долгожданному часу, когда в танцевальном клобе начнется бал под полковую музыку и картежная игра. Такие вечера устраивали дважды в неделю, а еще собирались на квартире полковника или одного из немцев — Бомберга или Рамберга. Так что танцевали в Нейшлоте едва ли не чаще, чем маршировали.

При подавляющем преобладании мужского военного населения над женским соотношение кавалеров и дам достигало пятнадцати к одному (вернее, к одной). Притом круговорот кавалеров, скорее напоминающий водоворот, происходил непрерывно, а дамский контингент оставался незыблемым, как крепость Олафсборг: три хорошенькие, но еще не вошедшие в возраст немочки, дочери купца Бомберга (или Рамберга); жена ратмана Борцова, обыкновенная разбогатевшая кухарка, которая, надо сказать, ни на что иное и не претендовала; несколько дам и девиц из финляндских шведок, по опрятности и немецкому воспитанию причислен-



ных к светскому обществу; скульптурная хозяйка харчевни и полковница Недолядова. В 1808 году эта Недолядова не достигла еще тридцати лет. Она была довольно стройна и миловидна, чтобы в условиях заштатного гарнизона прослыть штатною губительницей сердец.

И в такое-то гиблое место пылкий Американец был сослан вскоре по окончании своей кругосветной одиссеи.

Пока мой мятежный приятель занимался военными экзерцициями на плацу и амурными — в танцевальном клобе городка Нейшлота, мирное утро Александрова царствования подошло к концу. Российская армия выступила против Наполеона и одерживала одну победу за другой, согласно официальным реляциям. В моду вошел патриотизм и *les sarafans**. Восторгаться, как прежде, корсиканским узурпатором стало неприлично. В Петербурге и Москве не сомневались, что в самом скором времени ученики Суворова во главе несравненной храбрости русских полков установят в Европе мир и порядок. Как вдруг, с огромным опозданием, через европейские газеты, стали доходить слухи, что мы разбиты. И это не частное поражение, какое бывает у любого полководца, в любой войне, а полный и генеральный разгром всех русских сил во главе с самим императором, который не мог остановить своих бегущих воинов и плакал от бессилия. Вошло в обиход неприятное, носастое словечко «Аустерлиц».

Русские недоумевали: как, мы не успели еще погеройствоваться, а уже стоим посреди Европы оплеванные? В обществе царило не столько уныние, сколько бессильная ярость. И уже собирали по деревням мужиков, учили их маршировать, жонглировать ружьем, упаковывать ранец, правильно застегивать ремни, драить пуговицы и мелить какие-то дурацкие шнурки для того только, чтобы отвести этих мужиков в другой конец Европы и за несколько часов превратить в истерзанные трупы.

С год понадобилось, чтобы собрать столько людей, лошадей, сукна, повозок, ядер, зерна и прочего добра, сколько, по мнению специалистов, нужно для хорошей, исторической годовой битвы. Правда, очень много хороших, молодых и храбрых воинов убили в прошлый раз, но по углам России сыскалось еще очень много терпеливых, сильных, послушных людей, и не на один раз. Снова русская орда выступила в поход. И снова стали объявлять, что русские одержали над французами несколько мелких, но приятных предварительных побед. А наконец и одну важную, решительную победу в битве при Прейсиш-Эйлау, такой длительной, страшной и жестокой, какой не бывало со времен Александра Македонского. И опять говорили, что храбрее и терпеливее русского солдата нет в целом свете и это наконец признал сам Наполеон. Как вдруг оказалось, что мы вновь кругом разгромлены и бежим, бросая оружие,

* Сарафаны (франц.).

только на этот раз совсем уже близко от наших границ. А Наполеону ничто уже не мешает вторгнуться в наши пределы, и он бы это, несомненно, сделал, если бы не крайнее истощение его ресурсов или какие-то гениальные соображения.

О баснословные времена, когда офицеров наказывали не отправкою на передовую, а содержанием в тылу! Американец был уверен, что операции русских войск в Богемии и Польше идут наперекос исключительно из-за его отсутствия. Скорее же, он ничего подобного вовсе и не думал, а понимал, что не иначе как в бою может вернуть себе гвардейские петлицы, пока не спился с кругом и не приобьик к гарнизонному скотству.

Федор Иванович посылал рапортчики о зачислении его в действующую армию, однако они оставались без ответа. Тильзитский мир лишил его последней надежды на войну, разве что новый наш друг Наполеон вместе со старыми друзьями немцами пошлет русских казаков завоевывать Индию.

По армии приказано было отрезать косицы и пришивать к мундирам эполеты, как у французов. Офицеры шутили, что «француз сел нам на плечи», но приветствовали новую моду. Гарнизон пополнился солдатами из французского плена, обмундированными Наполеоном за свой счет в какие-то чудные голубоватые шинели. Этих набалованных новичков, вкусивших европейской цивилизации, старослужащие солдаты сразу невзлюбили и прозвали «мусью».

Федору исполнилось двадцать шесть лет. Он считал, что он старик и жизнь его кончена.

На третий день после дня рождения, когда Федор Иванович вступил в зрелый по тогдашним понятиям возраст, русские войска перешли пограничный мост на реке Кюмени и началась последняя русско-шведская война. Война, о которой так мечтал Американец, разразилась под самым боком, так что при желании до нее можно было добежать пешком. Через Нейшлот проходили отряды, еще порядком не обмундированные после предыдущей кампании, расхристанные и веселые предстоящей потехой, а наш герой был снова не у дел. Притом операции русских пошли так споро, что война обещала закончиться быстрее, чем Толстой получит ответ из штаба на очередную просьбу о переводе на фронт.

О той войне в учебниках не пишут вовсе или упоминают как-то стыдливо, двумя строками. Только самый прилежный школяр на экзамене может блеснуть ответом, что между великих наполеоновских войн и очередных побед над Турцией заваялась еще какая-то финляндская кампания, которую наши, кажется, выиграли, но как-то не весьма примечательно. Не так героически, как выиграли Бородино, и не так почетно, как проиграли Аустерлиц. Этот зубрила, пожалуй, еще может держать пари с товарищем, что кроме Северной войны Петра Первого со Швеци-

ей была еще война, также победоносная, но чересчур легкая. Только вот вряд ли наш дока сможет найти в энциклопедии нечто большее, чем даты «1808—1809», да и его учителю истории едва ли известно многим более.

Отчего такое небрежение к войне безусловно удачной, из которой любой европейский народ раздул бы целую илиаду? Откуда сия непонятная стыдливость от успехов при столь же удивительном упоении самыми позорными поражениями? Откуда это добровольное унижение в глазах тех, кто и на вершине нашей славы почитает нас ордою хамов и рабов? В Париже в честь подобной войны называли бы мосты и набережные, в Лондоне воздвигали бы триумфальные колонны, в Берлине открывали бы музеумы. В России, сколько мне известно, есть лишь хуторок Кваркено* где-то в землях Оренбургского казачьего войска, поблизости сел Париж и Фер-Шампенуаз.

Прежде чем начать массовое убийство людей фабричным способом, каждое из правительств, затеявших таковую бойню, отчего-то считает необходимым публично заявить, что делает это единственно из соображений миролюбия. Шведская сторона до сих пор твердит, что Россия набросилась на нее без малейших оснований, как дикий медведь кидается на маленькую девочку, собирающую в лесу малину. И таковая точка зрения кажется убедительной большинству европейцев, натурально не ожидающих ничего хорошего от северной деспотии. Русские, из обычного своего самоуничтожения, вообще-то склонны соглашаться с этим мнением. Однако у российского правительства, как у любого другого, была и своя уважительная причина для нападения.

Для того чтобы привести ее в точности, мне бы понадобилось поднимать царские манифесты той поры, но, сколько я припоминаю, шведский король, кажется, выдвинул России какие-то немыслимые притязания на Старую Финляндию, которые опечалили нашего чувствительного монарха, а российский кабинет предложил Швеции раздружиться с Англией, которая в позапрошлом году была вечным другом и естественным союзником русского народа, а в прошлом году сделалась его естественным соперником и исконным врагом. К тому же французский император Наполеон из корсиканского чудовища превратился в нашего любезного брата. А сумасшедший Густав IV Адольф все по инерции считал этого гениального, миролюбивого человека дьяволом и антихристом. Шведы сделали что-то нехорошее с нашим послом Алопеусом, то ли где-то его удержали, то ли, напротив, куда-то послали самым неприличным образом. И гордый росс, не выдержав позора, обнажил свой меч!

Негласно все, конечно, понимали, что дело здесь не в обиде за нашего посла, странностях шведского короля или исторической приязни каких бы то ни было наций. Убийство посла Грибоедова в Персии, чудовищное

* Назван в честь перехода русских войск в 1809 году через шведский пролив Кваркен.

и вероломное с любой точки зрения, пошло только на пользу российской политике и послужило поводом для нескольких безотказных требований нашего царя тамошнему падишаху. А исконные потомки крестоносцев, Франция и Англия, дружно объединились в Восточную войну с магометанами турками, чтобы сообща искушать ослабевшего русского медведя, к слову сказать, христианнейший из народов.

Наполеон и Александр подружились в Тильзите, не будучи пока в силах дожрать друг друга до конца. В знак покорности побитый Александр уступил своему «брату» право хозяйничать во всей Европе, и без того завоеванной, и отступился от Польши. В обмен великодушный Наполеон разрешил «брату» задрать кого бы то ни было, пасущегося поблизости. Рядом паслась Швеция, которая имела еще дерзость торговать с проклятым Джоном Буллем. К тому же финляндская граница Швеции находилась в недопустимой близости от самой российской столицы, и в прошедшую кампанию шведы лишь по оплошности не забрели на Невский проспект, а дамы на бульварах Петербурга вздрагивали от раскатов шведской канонады.

Сама Финляндия не есть коренная часть Швеции, а лишь завоеванная дикая окраина, вроде нашей Аляски. Отчего же нам не захватить того, что было так же захвачено шведами? Должен же и наш император въехать на белом коне в какую-нибудь столицу.

Лейтенант Герринг и капитан Кузьмин

Существует еще анекдотическая версия завоевания Финляндии, в которую я верю более, чем во все прочие. Ибо мой возраст и печальные наблюдения за человеческой натурой научили меня верить в абсурд.

Пограничный мост на реке Кюмени охранял со шведской стороны пикет егерей под команду лейтенанта Герринга, а с российской — команда драгун капитана Кузьмина. Капитан был пожилой уже человек лет под пятьдесят, выслужившийся из унтер-офицеров. Он жил с женой в сторожке, называемой «дачей», разводил свиней, ухаживал за огородом и временами учил солдат ружейным приемам, которые драгуны обязаны знать не хуже пехотных, как, впрочем, и иные рода войск. Свободное от хозяйственных забот и военных экзерциций время капитан Кузьмин посвящал рыболовству, будучи в этом деле настоящим артистом. Природа Карелии, дикая на взгляд изнеженного горожанина, для человека философического, каковы все рыболовы, есть настоящий рай, и с ней не может сравниться ни французская Ривьера, ни Швейцарские Альпы, ни даже Подмосковье. Жене капитана Кузьмина было не совсем приятно фанатическое пристрастие ее мужа, усугубляющее его походный ревматизм, но она вынуждена была с этим мириться, наблюдая, как другие гарнизонные офицеры изводят жен пьянством и картежной игрой.

Блуждая по каменистым берегам быстрой прозрачной Кюмени с удочкой, в непромокаемом плаще-эмпермеабле и высоких бесшовных сапогах-остахах, капитан Кузьмин не раз встречал на другом берегу своего шведского визави лейтенанта Герринга, также пристрастного к рыбной ловле, и отдавал ему честь двумя пальцами, как положено было уставом того времени. Лейтенант Герринг снимал свою смешную шляпу с пером и загнутыми полями, наподобие тирольской, и низко кланялся. «Какой приятный все-таки человек этот лейтенант Герринг», — думал при этом капитан Кузьмин. И лейтенант Герринг думал то же самое по-шведски о русском капитане.

Надобно вам сказать, что лейтенант Герринг был ровесником капитана Кузьмина, но отнюдь не стыдился своего малого чина. У шведских военных чины вообще ниже наших. Там, где у нас назначен генерал-лейтенант, у них полковник или бригадир, а где у нас командует штабс-капитан, там у них фельдфебель. Любая военная должность считается у шведов почетной, и каждый прапорщик имеет стратегические виды, как герцог Мальборо.

К тому же и служба у шведских военных гораздо приятнее нашей. Один из их старинных королей, кажется Карл XI, придумал оригинальную систему войска наподобие наших стрельцов, почти избавляющую казну от военных расходов, но обеспечивающую довольно многочисленную армию. Каждому военному человеку, за исключением небольшого числа вербованных, выдается земельный надел по его чину — от фельдмаршала до последнего солдата. И каждая община содержит одного такого мирного воина. Таковой, с позволения сказать, военный круглый год живет в своем *торпе* как партикулярное лицо и на неделю выезжает на сборное место, где учится кое-как маршировке да еще, пожалуй, выпалит раз-другой из ружья глиняной пулей. Правительство только выдает им оружие, ремни, шляпы и военные куртки весьма неказистого вида, как у наших инвалидных команд. В битве такие солдаты, если их не разозлить, бывают не весьма ловки в эволюциях и с нетерпением ждут окончания войны, чтобы вернуться к своему хозяйству.

У лейтенанта Герринга был малолетний сын Оле, весьма озорной мальчишка, который своим легкомыслием воспламенил войну между двумя народами, послужив к гибели собственного отца. Случилось же это вот каким образом.

Лейтенант Герринг надумал к лету обновить окраску своего торпа, а попросту сказать — избы. А как произведения промышленности в Финляндии дороги и с большими затруднениями достигают до такой глуши, то он и стал, по обыкновению всех казенных людей, понемногу пользоваться из стратегических запасов. Ибо зимой, когда сообщение с береговыми областями весьма удобно по замерзшим рекам, на заставу ему было завезено изрядное количество отличной серой краски — такого цвета, каковой

в Швеции используют для окраски казенных предметов, будь то шлагбаум, сторожевая будка или верстовой столб. Позаимствовав от каждой бочки едва заметную толику, лейтенант без всякого ущерба для королевства набрал себе краски для подновления своей дачи вкупе с дворовыми пристройками, а убыль нечувствительно восполнил конопляным маслом. И эта стратагема сошла бы ему с рук (разве что пограничные столбы немало просвечивали бы сквозь краску), если б не мальш Оле.

Этот озорник залез в сарай отца и обнаружил там краску, хотя и хитро замаскированную ветошью. Проковыряв во фляге дырку, Оле наполнил краскою сткляницу и разрисовал все стены сарая стреляющими пушками, фрегатами и скачущими всадниками. Но тем не удовлетворился. Он поспорил с сыном мельника на его лук и стрелы, что ночью проберется на пограничный мост и выкрасит его перила в серый цвет до самой России. Что ему и удалось с успехом совершить благодаря долгой северной ночи и сонливости часовых.

Проверяя на рассвете безопасность Российской империи и подъехав, по обыкновению, к мосту, дабы приструнить часового, если тот имел слабость вздремнуть или закурить трубку, капитан Кузьмин с ужасом обнаружил, что стратегический мост, не принадлежащий ни одной из наций, но представляющий собою нейтральный объект, выкрашен в шведский государственный цвет вплоть до самой русской стороны. Взойдя в сторожевой дом и найдя-таки часового угревшимся в запечной щели, капитан Кузьмин пробудил его пинками, потребовал бумаги и тут же написал донесение в штаб с описанием диверсии. Затем он поднял свою команду в ружье, приказал зарядить пушку картечью и удвоить караулы.

Донесение Кузьмина было срочно доставлено в штаб и оттуда верховым офицером самому графу Аракчееву. Граф Аракчеев, который без ведома государя шага не смел ступить и другим не давал, тотчас снарядил секретный фельдъегерский эстафет в Германию, где наш царь в ту пору танцевал на конгрессах и между прочим занимался византийской дипломатией.

Фельдъегерь доскакал до Германии всего за три дня, загнал трех лошадей, покалечил трех возниц и тут же, не переодевши дорожного сюртука, как был, зашел в танцевальную залу, ибо фельдъегери обладают таковой привилегией. Государь с госпожой Бреденер обсуждал в это время переселение душ из умерших персон во всевозможные объекты, как вдруг перед ним явился курьер, ни жив ни мертв, в сапогах, забрызганных грязью, без вицмундира и в шляпе поперек головы, а не вдоль, как положено уставом.

Государь наш, однако, был не столь гневлив, как его батюшка, и только пошутил:

— Сия душа, должно быть, поселилась в болвана.

Затем он поклонился госпоже Бреденер, отошел к окну, сломал печать и стал читать депешу, меняясь в лице. Приметив это, французский

посланник мосье Коленрук немедленно уединился в кабинет и записал в своем меморандуме: «Александр переменялся в лице. Бедная Швеция».

Не знаю, сколько еще лошадей было после этого загнано, сколько фельдъегерских задов отбито на ухабах об жесткое сиденье кибитки и сколько выбитых зубов выплюнули ямщики с кровью на снег, а только через неделю капитан Кузьмин получил на своей заставе целую фуру с красками трех российских казенных цветов. И предписание от самого графа Аракчеева: «Выкрасить в ночь перила и самые столбы пограничного моста через реку Кюмень в официальные цвета Российской империи — белую и черную полосу с добавлением красного».

Генеральское дело — придумывать, а солдатское — выполнять. Капитан Кузьмин выбрал охотников из тех, которые перелезали не то что Кюмень, а Чертов мост*. И к рассвету, незаметно для часовых, весь мост вплоть до Шведского королевства был выкрашен российскими черно-белыми полосами с промежуточной красной полоской, хотя из-за темноты и не весьма ровной.

Утром лейтенант Герринг обнаружил, что русские посягнули на серый национальный цвет перил, который был для его глаза уже столь привычен, словно появился вместе с самим мостом, в прошлом столетии. «Тысяча чертей!» — подумал Герринг, разбудил начальника караула, который спал на посту стоя, и сейчас же продиктовал донесение шведскому главнокомандующему аф Клерклеррингу:

«Под покровом темноты русские охотники, не ставя в известность нашей стороны, покрыли всю нейтральную территорию моста через реку Кюмень национальными цветами Российской империи — черными и белыми полосами с красной прожилкой, посягнувши сей вероломной диверсией на независимость Шведского королевства. В связи с вышеупомянутыми действиями русской стороны осмелюсь просить инструкцию Вашего превосходительства для дальнейших действий. Следует ли мне уничтожить упомянутый мост, произвести упреждающий обстрел русского берега из орудий или самому вторгнуться в Российскую империю силами имеющейся в моем распоряжении полуроты Саволакского полка?»

Остаюсь преданным и проч. лейтенант Герринг».

Поскольку дороги в Финляндии в это время года еще весьма удобны для передвижения, то уже через три дня донесение Герринга было доставлено генералу аф Клерклеррингу, а через неделю король Густав IV Адольф рассмотрел его на гофкригсрате. В отличие от императора Александра король Густав не был так сильно поражен неожиданным демаршем русских.

* *Чертов мост* — мост в Швейцарских Альпах, по которому в 1799 году с боем прошла армия Суворова.

— Что же вы хотите, господа? — сказал он членам кабинета. — Я сегодня за завтраком опрокинул чашку кофея на мои любимые желтые панталоны. А когда гофмейстер стал их оттирать, то разводы в точности расположились в виде трех шестерок. Это апокалиптическое число зверя. Не иначе как мой любезный брат Александр поддался воле этого антихриста Бонапарта. Пора мне напомнить ему о Полтаве, — заключил Густав IV Адольф, некстати перепутав Нарву с Полтавой, а себя с Карлом XII.

Лейтенант Герринг получил приказ: на российскую территорию пока не вторгаться, но под дулами пушек окрасить перила моста в их исторический серый цвет. Буде же русские попытаются воспрепятствовать этому акту международной справедливости, произвести по ним психологический выстрел холостым зарядом. Ежели и этой меры окажется недостаточно, атаковать русских в штывы и показать им, что такое шведская удаль.

К тому времени, когда Герринг получил таковой приказ своего малохольного короля, русские уже привыкли к новой полосатой окраске моста, как будто она была сюда нанесена еще при Петре Великом. Увидев шведских егерей с кистями и ведрами, окрасивших в серый цвет свою половину моста, а затем демонстративно начавших замазывать полосы и на нашей половине, русские солдаты были возмущены и стали выталкивать шведских интервентов обратно. Однако прежде чем, слово за слово, дело между ними дошло до кулаков, со шведской стороны ахнула пушка — все в страхе разбежались, а мост остался шведским примерно на три четверти.

На следующий день, выйдя на лед Кюмени, чтобы пробуровать лунку для зимней ловли, капитан Кузьмин увидел поодаль сидящего с удой на орудийном ящике лейтенанта Герринга и впервые не отдал ему честь, а только поглубже надвинул меховой картуз. Лейтенант Герринг пожал плечами, повернулся к Кузьмину спиной и продолжал ловлю с истинно скандинавской невозмутимостью.

А еще через несколько дней капитан Кузьмин получил приказ от самого государя:

«Видит бог, что я хотел мира, как только может его хотеть государь и христианин. Но мой любезный брат Густав, воспламененный мечтами былого владычества шведского и ослепленный интригами британского кабинета, дерзнул исторгнуть у России то, что по праву было завоевано шпагою моего славного предка Петра Великого. Итак, шведский король придвинул свою границу в такую близость нашей столицы, откуда уже ни мы, ни наш храбрый народ не можем равнодушно наблюдать его враждебных демонстраций. Со скорбью в сердце, но твердою рукой данною мне властью приказываю тебе, Кузьмин: на рассвете 9 февраля пересеки Кюмень и не влагай меч во влагалище, пока хоть один шведский солдат будет находиться по сю сторону Ботнического залива.

Остаюсь благосклонный к тебе Александр».

На рассвете 9 февраля, выйдя из караульного дома, где он бодрствовал всю ночь, лейтенант Герринг приложил к глазу зрительную трубку и увидел на противоположном берегу колонну усатых русских всадников на огромных рыжих конях, в сияющих шлемах с высокими гребешками, с трубами и развернутыми знаменами. За конницей длинной черной полосой змеилась пехота, а на пригорке дымила фитилями батарея единорогов*. Герринг решительно захлопнул трубку и произнес на латыни: «*Alea jacta est*»**, ибо был человек довольно образованный. Затем он написал прощальную записку жене, в которой просил ее, если ему не суждено вернуться из сегодняшнего боя, не быть слишком строгой к малышу Оле, но и не слишком тому потакать и выучить его в Стокгольме на моряка, а лучше — на пастора. Садясь на коня, лейтенант Герринг невольно заметил, что нынче дует свежий юго-восточный ветер и клев должен быть особенно хорош.

Итак, авангард русских драгун и цепь шведских егерей выстроились напротив друг друга на расстоянии ружейного выстрела и с полчаса стояли под мокрым снегом, ибо сделалась метель, и не решались предпринять каких-либо действий. Около девяти, когда стало совсем светло, к капитану прискакал ординарец и сообщил на словах, что все силы собрались.

Трубач сыграл сигнал «к бою», капитан Кузьмин прищпорил коня и въехал на мост. С истинно шведской горячностью лейтенант вырвал заряженное ружье из рук одного из своих солдат и выбежал навстречу. Капитан Кузьмин на коне и лейтенант Герринг с ружьем в руке остановились шагах в двадцати и отдали честь, поелику, превратившись в противников, остались благородными людьми и не перестали друг друга уважать.

— Что вам угодно, мосье капитан? — спросил Герринг по-французски, ибо, как я уже говорил, он был образован.

— Я имею честь занять мост, — отвечал капитан Кузьмин на немецком языке, который изучил весьма недурно во время заграничных походов.

— Это против международного права! — от волнения воскликнул лейтенант по-шведски.

— У меня приказ, и я обязан выполнять! — возразил капитан на русском или уж не помню на каком языке.

— Стой! — крикнул лейтенант, взвел курок и прицелился.

— Не выдавай, братцы! — закричал капитан, выхватил свой зазубренный палаш и дал коню шпоры.

О саволакских егерях говорят, что у них количество выпущенных зарядов равно количеству убитых врагов. Лейтенант Герринг приложился и попал капитану Кузьмину точно в лоб. Но и о наших солдатах недаром же говорят, что русского мало убить — его надо еще толкнуть. Уже с пулею в

* Единорог — вид артиллерийского орудия.

** Жребий брошен (лат.).

голове и мертвый, капитан Кузьмин проскакал по мосту и палашом снес шведскому офицеру голову, как на учении сносят тыкву, насаженную на частокол.

Русские драгуны бросились на мост, и, хотя шведы успели произвести по ним несколько выстрелов, кони перенесли их на другой берег. При виде лейтенанта с отрубленной головой шведов охватил такой ужас, что они тут же сложили оружие. А русские вернулись на мост и на руках вынесли капитана на берег — но он уже не дышал.

Капитана Кузьмина с дыркой во лбу и лейтенанта Герринга с приставленной головою положили рядом на плаще и обступили со всех сторон русские драгуны и пленные шведские егеря.

— Глупо пропал капитан, — рассуждали русские солдаты о Кузьмине. «Геройская смерть», — думали шведы о своем лейтенанте.

Личный друг государя

Начало боевых действий в Финляндии напоминало загородный вояж в затруднительных условиях климата. Исключая нескольких незначительных авангардных стычек, после которых противник, убоявшийся окружения, неизменно отходил, нашими единственными врагами были холод и собственные провиантские чиновники. Не знаю, по какой причине, но на этой войне сии комиссары сумели вороватостью превзойти самих себя, за что и были лишены своего красивого военного костюма графом Аракчеевым. Впрочем, они продолжали воровать до конца этой голодной, холодной войны — уже без эполет, в более неприметном виде.

Мой приятель Денис Давыдов уверяет, что вплоть до самого лета разъезжал по Финляндии совершенно свободно, как по внутренним российским губерниям. При некоторой лихости этого суждения с ним можно согласиться: финские крестьяне не сразу взялись за охотничьи винтовки и топоры. Продвигаясь на север, русские оглашали в церковных приходах обращение государя о том, что явились в Финляндию не завоевателями, но друзьями — лишь для того, чтобы оградить свои земли от хищничества англичан. И до тех пор, пока казаки не начали пополнять свой скудный рацион грабительством, финны оставались спокойны.

Шведская армия, предводительствуемая дряхлыми кабинетными полководцами, поспешно ретировалась. Шведским генералам внушала страх сама возможность обходных движений, заимствованных их русскими противниками у любезного брата Наполеона. Гельсингфорс* был занят после легкой стычки, столица Финляндии Абов** сдалась без боя. По вечной нашей склонности все скрывать публика была извещена о войне лишь после того, как почти вся Финляндия была завоевана. Только на самом

* Ныне Хельсинки.

** Ныне Турку.

севере главные неприятельские силы еще ожидали пополнений из матерой Швеции, дабы уберечь от русских коренную часть страны.

После занятия русскими Аландских островов и крепости Свартхольм Густав IV Адольф еще ласкался надеждою, что многочисленный гарнизон «северного Гибралтара» Свеаборга с его неприступными верками, непробиваемыми бастионами и ловушками, устроенными по последнему слову фортификации на островах супротив Гельсингфорса, способен защищаться многие месяцы, отвлекая основные силы русской армии. И вдруг, после продолжительного стояния и двенадцати дней взаимной канонады, в ходе которой были сожжены сотни пудов пороха, выпущены тысячи ядер, гранат и бомб и выбиты почти все стекла, но от которой погибло всего шесть человек и не обрушилась ни одна стена, вице-адмирал Кронстедт, почитаемый за честного и опытного воина, без явной причины сдал Свеаборг на капитуляцию. Не обнажив меча, в руки неприятеля отдался гарнизон, едва ли не превышающий атакующие силы; также были захвачены сотни орудий, тысячи зарядов, огромные припасы провизии и целая гребная флотилия в сотню кораблей.

Шведские и особливо финские историки почитают падение Свеаборга величайшим предательством в истории страны. И хотя против Кронстедта не было найдено никаких доказательств, его осыпают проклятиями, как главного иуду, подкупленного золотом русского царя. Впрочем, у свеаборгской катастрофы есть и более романическое объяснение, подтвержденное некоторыми письмами русского командующего на высочайшее имя.

Из писем этих следует, что некая капитанша Рейшершельд, жена начальника одного из свеаборгских фортов, живя вместе с другими офицерскими женами в захваченном русскими городе, но поддерживая сношения с крепостью, сумела так оплести интригами офицеров гарнизона, что они вовсе лишились мужества и поддались очарованию царских посулов. Наконец грохот безвредных обстрелов и неудобства военного быта показали им толико ужасными, что они сами разоружили свое войско, пылающее мстью и рвущееся в бой.

Казалось, что русские достигли высшего предела успехов и падение Стокгольма неминуемо. Европейские газеты писали о поражении Швеции как о деле решенном. В обеих российских столицах публика восхищалась успехами наших *цроев* и жалела бедную Швецию, дни которой сочтены.

Но на этом успехи русской армии кончились.

Гарнизон Свеаборга был распущен по домам под честное слово не воевать против русских. Однако, несмотря на порядочность финляндцев, местные пасторы убедили их в том, что насильственно исторгнутая клятва русскому царю недействительна и ее можно нарушить. Леса наводнились шайками партизан, водимыми бывшими унтер-офицерами, солда-

тами, а иногда и священниками. Жители обозлены были грабительством голодных российских войск, каковое уже не могли остановить никакие приказы. Почти все финны были прирожденными охотниками, отлично стреляли и знали каждую лесную тропу. Партизаны нападали на обозы, истребляли российские пикеты и захватывали курьеров, лишая армию продовольствия и сообщения. Жестокости финляндских поселян сравнивали с Вандеей, и ответные зверства русских карателей им не уступали.

Вооруженные шайки местных жителей во главе с неким воинственным попом освободили от русских Аландские острова и пленили там гарнизон под командой Вуича. На главном театре войны шведские силы одержали несколько побед в сражениях, которые почитались бы мелкими стычками в наполеоновских кампаниях, тем не менее они лишили российское войско ореола непобедимости. С возобновлением навигации шведы совершили через Ботнический залив несколько десантов, которые не достигли успеха, но воспламенили народное восстание по всей стране.

В делях Восточной Финляндии, почти лишенных селений, удачно действовал Сандельс — один из лучших шведских военачальников, вроде нашего Кульнева. При относительно небольших силах Сандельс использовал милиционное войско саволакских стрелков и многочисленные толпы мужиков, доходившие до самой русской границы и однажды даже пересекшие ее. Сам же Сандельс с главными силами своей бригады занимал позицию в Тайволе, угрожавшую корпусу Тучкова и почитавшуюся неприступной.

Для действия в тыл Сандельсу и умиротворения лесного края Карелии в пограничном Сердоболе был сформирован отряд генерала Алексева из трех эскадронов драгун и сотни казаков. Это происходило не в дальнем расстоянии от Нейшлота, где изнывал Американец. И Федор Иванович, натурально, бросился к Алексеву проситься в его отряд.

Генералу приглянулся «молодой лев» Толстой, и он, конечно, не возражал против того, чтобы его экспедиция пополнилась энергичным офицером. Вопрос казался решенным, и оставалось только получить подтверждение в штабе для перехода Толстого в другую часть. Однако вместо разрешения Алексеев получил выговор, а командиру нейшлотского гарнизона было наказано впредь более строго следить за отлучками своих офицеров. По нешуточному испугу Алексева сим выговором из-за опального гвардейца легко было догадаться, что высочайший окрик последовал из самого Петербурга. Итак, наш государь, столько раз прощавший более серьезные проступки и недавно освободивший из-под следствия генерала Тучкова вместе с другими виновниками наших последних поражений, в который уже раз проявил необъяснимую мстительность к шалуну, наказание которого продолжалось уже три года!

Федор Иванович шутил, что его отстранение от боевых действий всегда приводило Россию к поражениям. Действительно, отошед в глу-

бину карельских лесов, небольшой отряд Алексеева был со всех сторон обложен невидимыми стрелками. Единственный прямой его путь был прегражден завалами, и вооруженные мужики даже дерзали атаковать русских драгун, непривычных к одиночному огнестрельному бою. Бросая нерасстрелянные патроны, наши солдаты возвращались в депо* за новыми зарядами, лишь бы не противостоять часами в одиночестве скрытому врагу, блуждали по зарослям и попадали в плен. К тому же еще одна многочисленная шайка финляндцев под предводительством фельдфебеля попыталась отрезать русским обратный путь.

Лишившись присутствия духа, Алексеев решил, что перед ним находится передовая часть главного шведского корпуса, и велел возвращаться в Сердоболь. Шведы ликовали победу и рапортовали, что им удалось обстрелять карету самого русского генерала и даже убить ехавшую с ним «жену» — молодую, ловкую шведскую маркитантку, любимицу всего отряда. Партизаны намеревались ворваться на плечах Алексеева в Сердоболь, но силы русских все еще казались им слишком велики.

Новая весть окрылила Американца надеждой. Сердобольский отряд подкрепляется пехотой и артиллерией, а над оробевшим (или благоразумным) Алексеевым поставлен привилегированный начальник. Этот новый командир — князь Михаил Петрович Долгоруков, личный друг императора, известный Толстому по Преображенскому полку.

Михаил Долгоруков напоминал своего знаменитого брата, раздразившего Наполеона при Аустерлице, и внешностью и характером. Порою он был не менее заносчив и почти так же смел. Только более чувствителен и деликатен. В отличие от брата он произвел самое благоприятное впечатление на консула Бонапарта, когда выменивал в Париже наших солдат, плененных в Голландии. Но еще более юный русский аристократ приглянулся тогда супруге французского консула Жозефине. Михаил Долгоруков также был удостоен милостей Каролины Мюрат, другой сестры Наполеона Полины и мадам де Сталь, положив начало русским победам над наполеоновской Францией задолго до реванша 1812 года.

Михаил Долгоруков не влиял на российскую политику, как его брат с радикальными убеждениями. Однако и он мог по праву почитаться личным другом государя и его товарищем юных дней. Надо почувствовать дух первых лет правления Александра, еще лишенных раболепия и придворного окостенения, чтобы понять, как один из приятелей царя дерзнул претендовать на руку его любимой сестры! Но об этом я расскажу позднее. Сейчас же, вспоминая тех дерзких, остроумных и благородных до безумия генералов, едва начавших пользоваться бритвой, я думаю, что они весьма напоминали соратников другого, античного Александра, до

* Депо — место, склад для хранения чего-либо.

того как он был объявлен живым богом и властелином вселенной. Все они изображали из себя героев античности, а оттого иногда и действовали подобным же образом.

Мне приходилось встречаться с князем Долгоруковым вскоре после того, как он воротился из Вены, где ему было поручено спасение многочисленных отсталых и раненых русских солдат, брошенных в ужасном состоянии, без всякого призрения, на милость противника. О князе тогда много и восторженно говорили, вернее, шептали петербургские дамы. Задолго до Дениса Давыдова он стал первым русским партизаном, с горстью драгун захватив обоз знаменитого Бернадота. Он был произведен в генералы в двадцать семь лет. Он носил раненую руку на красивой черной перевязи и морщился иногда от неосторожного движения, но никогда не издавал ни стога. На его груди сияли два Георгиевских креста, IV и III степени, да к тому же орден Святого Владимира, и каждый понимал им цену. Что не менее важно, он одним из первых вошел в танцевальный зал без косицы, которые еще повсеместно носили в ту пору, а с бараньей прической, как бы взъерошенной ветром а la Дюгос, как ходили во Франции. Главное же, всем была известна его драматическая история с таинственной Ночной Принцессой, княгиней Г., которую называли Princesse Nocturne за ее странную ночную жизнь.

Словом, Михайло Долгоруков был из тех баловней, что родились, можно сказать, в рубашке в вольготный век Екатерины, когда аристократических отпрысков из колыбели записывали в гвардейские полки, а годам к шестнадцати выпускали прямо в капитаны. Они были богаты, красивы, умны. Судьба им с избытком давала все, о чем они еще не догадывались просить. И люди обыкновенные, из которых в основном состоит любая, самая гомерическая эпоха, вопрошали себя: «Что же еще может из них получиться, когда они вознесены так высоко?»

Получилась могила в двадцать восемь лет.

С прибытием князя Долгорукова в Сердоболь жизнь здесь заметно оживилась, и этот приозерный городок как будто временно стал маленьким Петербургом. Все понимали, что Долгоруков не просто генерал-майор, заменивший другого, второстепенного генерала в командовании вспомогательным отрядом. Это был небожитель, осененный августейшим сиянием, мимоходом ступивший на эту грешную землю, чтобы оттолкнуться от нее к олимпийским высотам. И всевозможные просители, родственники дальних родственников, знакомые сомнительных знакомых бросились со всех сторон Старой Финляндии и даже из коренных российских областей именно к Долгорукову, а не к его начальнику Тучкову, старшему по чину.

В прихожей бревенчатого купеческого дома, где Долгоруков устроил свой штаб, сидела целая очередь посетителей, ожидавших конца совещания, собранного, как уверял адъютант, на четверть часа и продол-



жавшегося уже сорок минут. Генерал с начальниками отдельных частей, штабистами и интендантами обсуждал последние приготовления к походу, который должен был начаться со дня на день и все откладывался из-за «непредвиденных обстоятельств», сопровождающих у нас все без исключения экстренные мероприятия.

Так, провиантские фуры были заготовлены, но к ним не хватало полного комплекта лошадей, ожидавшихся в ближайшие дни из Новгородской губернии. Артиллерия пришла в достаточном количестве, да только разболтанные орудийные станки требовали ремонта. И наконец, для похода по диким местностям Карелии требовалось вдвое больше палаток, которые гораздо удобнее шалашей и быстро возводятся в любых местах. С одной стороны, отряд был почти готов к выступлению, с другой стороны, в его снаряжении оставался целый ряд недочетов из тех, что приводят легкомысленных полководцев к неожиданным поражениям. А Михаил Долгоруков был такой полководец, о котором должны впоследствии говорить: «Он не потерпел ни одного поражения».

Из-за двери горницы, где происходил совет, доносились громкие голоса и выходили иногда чиновники — военные и статские — с какими-то бумагами и портфелями, с лицами, побагровевшими от усердия или, напротив, блаженными, как у сытых котов. Каждый раз, когда из комнаты появлялся какой-нибудь господин или сразу несколько возбужденных господ, казалось, что вот сейчас пробка прорвется, из-за двери хлынет весь консилиум и генерал наконец начнет принимать. Однако вместо одного убывшего чиновника входили сразу двое, а тот полковник, что куда-то убежал с одним документом, прибежал обратно с целым ворохом отчетов. Голоса за дверью, которые почти улеглись и бубнили едва различимо, снова возбуждались и начинали галдеть с удвоенной энергией. Время совещания перевалило за час. Сидевший за столом адъютант — чернявый горбоносый молодой человек с бакенбардами до кончиков рта, похожий на гишпанца, — все это время что-то увлеченно писал, изредка поглядывая на посетителей вкось, чтобы не встретиться с ними взглядом и не дать повода для поблажки.

Приема у генерала ожидала недурная, подвядшая дама провинциального вида с претензией на столичность. Дама приехала просить о переводе ее болезненного сына, прапорщика, едва поступившего на службу, в другой корпус, на побережье, где он будет находиться при штабе, в более терпимых условиях климата. Дама эта была соседкой Долгоруковых по тульскому имению и даже «носила на руках» Пьера и Мишеля, когда они были совсем крошками, а ей было всего... ну, не важно. Так что, будучи отчасти знакомой, она надеялась разжалобить генерала воспоминаниями, но по возможности пустить в действие и остатки своего очарования.

Следующий проситель был нахрапистый русский купец, который хотел продать отряду партию сухарей, минуя посредничество хищных про-

виантмейстеров. Третий, инвалид из «суворовских ветеранов», никак не мог получить у губернатора ссуду на строительство дома и надеялся, что всемогущий князь решит его затруднение единым росчерком пера.

Четвертым посетителем был Федор Толстой. Американец был в шинели с крыльями и забрызганных грязью сапогах, в походной фуражке вместо шляпы. На коленях он держал что-то вроде круглой шляпной коробки, украшенной диковинным геометрическим рисунком.

«Какой неприятный, наглый взгляд. На кого же похож этот господин?» — думал адъютант, пытаясь набросать на листе лежащего перед ним «документа» профиль незнакомца. «Да он похож на льва! Но такого, который по молодости еще не зарос гривою», — догадался наконец адъютант. По его теории все люди так или иначе напоминали каких-нибудь животных: собаку, кошку, крысу, орла... Только для себя он еще не мог найти приятной аналогии. Все выходил какой-нибудь сайгак или верблюд.

Как все бесконечное, совещание кончилось неожиданно. Из горницы со смехом вышли два штаб-офицера — пехотный и кавалерийский, какой-то почтенный господин со звездой, похожий на губернатора или предводителя дворянства, казак, артиллерист и поникший генерал Алексеев, который сухо кивнул Толстому, но не подал руки. Наконец, появился и сам князь Долгоруков в полной генеральской форме с сияющими золотыми эполетами, аксельбантами и золотыми листьями на воротнике. Долгоруков был моложе всех своих подчиненных и неуловимо напоминал царя, как бывает среди одноклассников, которые сближаются настолько, что копируют друг друга даже физически. О таких обычно говорят: «Я думал, что вы братья».

За плечом Долгорукова пританцовывал, попадая в такт генеральским шагам, какой-то тучный господин налитого вида, в одежде, напоминающей военную, да не совсем, как у штаб-лекарей. По лицу этого угодительного господина было заметно, что он пьет методически, и только удивительно было, как он оказался трезвым в этот раз.

— Как же вы будете пополнять? — спросил Долгоруков, резко останавливаясь и с недоброй иронией оглядывая глыбистую фигуру господина снизу вверх.

— От местных жителей, — нашелся господин.

— Мы воюем не в Германии, здесь нет местных жителей, — возразил Долгоруков.

— Но должны же быть какие-то? — пожал плечами господин.

— А теперь послушайте меня, милостивый государь, — сказал Михаил Петрович уже без всякой иронии. — Я не позволю выгонять моих солдат, как баранов, на подножный корм. В день выступления в каждой ротной повозке должно быть по три фунта муки на человека из расчета на две недели похода.

— Боюсь, что это невозможно, — развел руками чиновник.



Вдруг взгляд налитого господина упал на ожидающего очереди купца, и купец нахально ему подмигнул. Отчего-то сразу стало понятно, что все будет сделано именно так, как приказал генерал, и к нужному сроку, но в ущерб толстому чиновнику.

Долгоруков оглядел посетителей, поморщился при виде назойливого ветерана, кивнул купцу, задумался о даме и шагнул с распростертыми объятиями к Толстому.

— Что же ты не передал, что ты здесь? — сказал он с приятной улыбкой, обнимая графа.

— Я передавал, но вы были заняты, — отвечал Толстой, скидывая с плеч шинель.

Под шинелью адъютант с удивлением обнаружил армейский пехотный мундир довольно поношенного вида. «А поручик-то не из простых», — подумал он и умильно улыбнулся этой трогательной встрече.

— Пустяки, надо было просто взойти. — Долгоруков положил свою руку с длинными холеными пальцами в перстнях на эполет Толстого и поприятельски обратился к адъютанту: — Вот что, Липранди, распорядись-ка принести нам чаю и никого не пускать. — Затем внимательно посмотрел на Толстого, как бы оценивая его настроение, и добавил: — А лучше шампанского.

Купец понимающе усмехнулся. Его вопрос, собственно, был уже решен наилучшим образом. Дама вхолостую бросала на Долгорукова пленительные взгляды, не достигавшие цели, ибо князь не замечал ее присутствия, а «суворовский ветеран» просто места себе не находил из-за бездушности этого сиятельного молокососа. Долгоруков и Толстой закрылись в комнате, из которой сразу донесся заразительный мальчишеский смех.

— Я бы советовал вам вернуться часа через два, а лучше прийти завтра, — сказал адъютант, поднимаясь из-за стола.

В его изысканной вежливости чувствовалось удовольствие.

— Когда же князь освободится? — тревожно справилась дама.

Адъютант пожал плечами и позвонил в колокольчик, вызывая денщика.

— Князь всегда свободны, — философски изрек купец и отправился на баржу распорядиться о выгрузке мешков.

— В Лапландии водятся бабочки? — обратился Долгоруков к Толстому по-французски, как все преображенцы между собой.

Будучи с недавних пор заядлым энтомологом, князь весьма увлекся ловлей бабочек в местах боевых действий, но, к сожалению, не находил единомышленника в своем научном увлечении.

— Сколько я знаю, там летают такие породы, каких не водится более нигде в мире, — отвечал Толстой. — Многие из них еще не описаны, поскольку исследователи все больше лезут в тропики.

— Однако там стоит полярный холод, — усомнился Долгоруков.

— Это так, но в недолгое полярное лето ледяная пустыня, называемая тундрой, покрывается роскошным растительным ковром, какого не увидите и в Африке. Нечто подобное я мог наблюдать, путешествуя из Камчатки через Сибирь.

— Ради нескольких новых бабочек стоит завоевать Лапландию, — заметил Долгоруков совершенно серьезно.

Издевательская вежливость, с которой он обращался с людьми малознакомыми, сменилась какой-то мальчишеской наивностью. Заметно было, что хозяйственные распоряжения о фурах, лафетах, ядрах и мешках, из которых в основном пока состояла его полководческая деятельность, надоели ему до смерти. А еще больше надоели туповатые служаки, неспособные связать двух слов по-французски, и хитроватые снабженцы, чей мозг оживлялся лишь при воровстве. Как подчиненный, Толстой, конечно, не мог считаться близким другом князя, но он был человек одного с ним круга, гвардеец, *товарищ*, как называли друг друга офицеры на французский манер.

— Таковую вы не найдете в Лапландии. — Толстой поставил на стол свою коробку и снял крышку.

Князь склонился над коробкой, и на его изумленном лице заиграли голубые блики. На дне коробки в застекленной рамке лежала огромная лазоревая бабочка величиной с раскрытый дамский веер. Слюдяные крылья бабочки, покрытые прожилками наподобие кленового листа, излучали ломкий блеск. Лишь по краям крыльев да под брюшком яркая лазурь сходила в черноту.

— *Oh mon Dieu!** — только и вымолвил князь.

— Это *Morpho menelaus*, тропическая бабочка, пойманная мною в Бразилии, где я путешествовал с Крузенштерном, — зашептал Толстой на ухо Долгорукову. — Природные американцы называют ее «осколком неба», поскольку, по их понятиям, небо когда-то расколосось от удара злого демона и осыпалось на землю вот такими осколками. Когда умирает дикарь, то его душа проникает в бабочку и возносится обратно на небо.

— Сколько в этом истинной поэзии! — воскликнул князь.

— Мне также известно, что эл кондоры с высоты нескольких миль принимают этих бабочек за небо, пикируют и разбиваются вдреизг, — присочинил, по обыкновению, Толстой.

— Эл кондоры? — переспросил Долгоруков.

— Эл кондоры — американские летающие чудовища наподобие орлов, но размером со страуса, — не моргнув глазом пояснил Толстой. — Я вез с собою живого эл кондора, но сильно проголодался в Вятке, где подают одни сушеные грибы. Итак, эл кондора не стало.

* О мой бог! (франц.)



Долгоруков звонко рассмеялся, не утерпел и расцеловал приятеля.

— Что же ты хочешь за это чудо? Я дам любую цену, — сказал он, весь горя нетерпением.

— Это подарок.

— Вот за что люблю моего Федю!

Долгоруков наполнил бокалы и предложил тост за лучший в мире лейб-гвардии Преображенский полк. Денщик принес трубки, и разговор принял более серьезный оборот.

— Где же ты теперь? — спросил Долгоруков, с недоумением разглядывая неказистый мундир Толстого, словно только что его заметил.

— В Нейшлотском полку, — отвечал Толстой с невольной горечью.

— Батальонным?

— Взводным.

— Боже мой, боже мой! — Долгоруков прошелся по комнате. — Ах да, эта история с покойным Резановым, которому ты, кажется, надавал по щекам.

— Всего лишь сообщил несколько сведений об его матушке, — уточнил Толстой.

— Но с тех пор минуло три года! Можно ли так долго терзать за один проступок? Уверен, что государь тебя простит, когда узнает об этом.

— Я писал государю, и не раз.

Собеседники замолчали. Долгоруков, конечно, не мог подвергать критике своего венценосного друга и благодетеля. А Толстой из деликатности не смел на него сетовать.

— Однако я этого так не оставляю, — пообещал Долгоруков, подумал с полминуты и предложил: — Иди ко мне в отряд. Мне нужны храбрые офицеры.

— Об этом я хотел вас просить, — просиял Толстой.

— Я не буду слишком отягощать тебя службой, — вслух размышлял князь. — Ты будешь при мне что-то вроде адъютанта, и твоею обязанностью будет содержать стол для меня и всех желающих офицеров. Чтобы мы в этом походе чувствовали себя комфортно, как на Красной Горке во время маневров. Я уже не мальчик питаться всухомятку.

— Я согласен, — отвечал Толстой.

— И еще. Ты нужен будешь мне для одного, но отчаянного дела. После этого ты вернешься в гвардию, но не поручиком.

По новому приказу каждое утро все служители обязаны были обмывать голову, плечи и грудь холодной водою в любую погоду. Голые до пояса солдаты сбегали к озеру по мосткам, зачерпывали воду ведром и с воплями выливали себе на голову. Потом они трусцою отбегали, попутно толкая робеющих товарищей. Из барачных солдат уже в форме вели в так называемую столовую, за длинные столы под навесами, в последний раз

плотно, по-домашнему кормили кашею с мясом и даже с добавкой и наливали по чарке хлебного вина, которое считалось полезным перед долгим походом в нездоровой местности. Вино полагалось запивать глотком клюквенного сиропа против цинги, но бывалые служаки, набравши за щеку, сплевывали это лекарство в сторонку на траву, чтобы вместо цинготной болезни не приобрести понос.

Затем, уже полностью нагруженные, упакованные и застегнутые с головы до ног, все отряды стали выстраиваться на плацу обширным кареем по родам войск, в таком порядке, чтобы после сразу развернуться и двинуться в путь. Солдаты выглядели непривычно и как-то «мешковато» в своих киверах, обшитых серым полотном, и в смурых шароварах, заправленных в полусапожки. На них не было ни белоснежных панталон с пуговицами, напущенных поверх башмаков, ни черных высоких султанов, ни плетеных шнурков, свисающих на плечи, как обыкновенно изображают на картинах, и даже цветные части формы, как воротники и обшлага, были обшиты серою тряпичей из бережливости. Но в этой мешковатой грубости была другая, простая красота и настоящая суровая поэзия.

Князь Долгоруков, также одетый по-дорожному, в короткую куртку без фалд, наподобие гусарского ментика, называемую шпензер, подъехал к своим двум адъютантам, спешился и снял шляпу. Вслед за ним обнажили головы все мужчины на площади, включая и некоторых зрителей-лютеран. Солдаты встали на одно колено. Началась довольно продолжительная церковная служба.

Держа кивер в согнутой левой руке и крестясь вслед за священником, Федор, как обычно во время богослужения, пытался проникнуть в значение древних словес, частично понятных, но поражающих воображение какой-то дремучестью. Архаизм придавал молитве совсем не то значение, какое она имела бы на обыденном языке.

О еже лук медян положити мышцы верных Своих,
И укрепити десницу их силою крепости Своея,
В побеждение и попрание супостат наших,
Господу помолимся! —

взывал полковой священник.

И Федор гадал, кто бы такие могли быть эти медяне с луками, которых ему желают попрасть. Очевидно, мидийцы, персы царя Кира или Дария. Но ведь в этот самый момент, возможно, набожные шведы просят у Господа так же попрасть и уничтожить мидийцев, то есть нас. И если Бог действительно обязан помогать каждому из просителей, то Он сейчас находится в недоумении: какие из мидийцев хуже? Неудивительно, что Он предпочитает вовсе не вмешиваться в наши битвы, а наиболее успешные

мидийцы — французы — совсем к Нему не апеллируют и даже не держат в своих войсках священников.

Не на лук наш уповаем, не оружие спасет нас, Господи,
 Но Твоя всемогущия помощи просим,
 И на Твою силу дерзающе, на враги наши ополчаемся,
 И имя Твое верно призывающе, со умилением молим Ти ся:
 Всемогий Господи, милостивно услыши и помилуй!

«На луки не уповаем, но целый месяц свозим горы ядер и бочки пороха, — продолжал Толстой вольтерьянствовать. — А нам подай и лук, и, сверх того, Божественную помощь. Если лук не выстрелит».

Однако ключевой припев, который завели помощники попа на два голоса, произвел на Американца такое сильное впечатление, что мурашки пошли по коже и слезы восторга выступили на глазах.

С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь,
 Яко с нами Бог!

Священник освятил воду, произвел еще какие-то манипуляции над походным жертвенником и пошел вдоль воинских рядов с крестом в одной руке и метелкой-кропилом в другой. Останавливаясь перед каждым рядом, он обмакивал кропило в серебряный сосуд с водой, который несли за ним помощники, брызгал на солдат и оружие. Некоторые солдаты выходили из строя поцеловать крест и получить благословение, и, хотя строй войск был очень длинный, добросовестный священник благословлял каждого. Освящение оружия таким образом затянулось почти на час. Задние, уже благословенные солдаты начали утомляться и переглядываться с барышнями.

Вдруг жужжание голосов улеглось. Это получили благословение сам командир отряда князь Долгоруков и его штабисты. По рядам эхом загалдели команды, затрещали барабаны. И настала такая тишина, что слышно стало хлопанье знамен на ветру. Долгоруков выехал в центр карея и начал звонким, задорным голосом оглашать приказ в обычной манере того времени, когда военачальники еще не превратились в счетоводов и, как уверяют нас учебники, даже иногда ходили сами в атаку.

— Слушайте меня, братцы! — закричал Долгоруков, снимая шляпу и поднимая ее над головой. — Вы дома были крестьяне, мирно пахали землю и сеяли хлеб. Но теперь вы не хлебопашцы, а воины. У государя без вас много хлебопашцев.

Долгоруков немного задумался. Заметно было, что он не заучил речь, а говорит экспромтом.

— Теперь ваша жатва — слава! А ваша кровавая пашня — Финляндия! Чем сильнее враг, тем больше нам славы!.. Да здравствует император Александр! Ура!

Последнее восклицание вырвалось у Долгорукова совсем уже нечаянно, без всякой связи с предыдущими. Но если бы даже он не сказал ничего, кроме этих пяти слов, он бы не мог выдумать более удачного выступления. Площадь издала такой утробный, грубый мужской рев «ура», что стекла в домах мелко зазвенели. Долгоруков пришпорил коня и, взмывая копытами грязь, полетел галопом вдоль строя.

Вдруг он что-то заметил, поставил коня на дыбы и боковым скоком выехал в проход карея к жаровне, где трактирщица пекла блины для предстоящего народного гулянья. Свесившись вбок, Долгоруков подхватил из костра занявшийся длинный сук и прогарцевал по площади с пылающим факелом над головой.

Ангел смерти, бог войны.

Мера милосердия

Сердобольский отряд, состоящий из полка егерей, драгун и нескольких конных орудий, выступил в начале августа при хорошей летней погоде. Но продвигался он очень медленно. *Пионерам* приходилось ремонтировать мосты, разрушенные партизанами, или часами разбирать завалы на дорогах, среди замшелых острых скал и гигантских сосен, из-за которых вот-вот захлопают выстрелы.

Хуже партизан была сама природа, которую приходилось преодолевать на каждом шагу. Пушки то и дело разбирали и собирали, повозки разгружали, снимали с колес и переносили на руках через гору или болото. Вдруг, по северному обыкновению, почти тропическое пекло сменялось порывом арктического ветра, сыпал секущий дождь, и мы часами топтались в грязи, не трогаясь ни назад ни вперед. Это было утомительнее любого сражения, и мы в нашей молодой запальчивости не в шутку хотели побыстрее дойти до места и сразиться хоть с кем-нибудь. Говорю «мы», потому что позднее обменивался впечатлениями с графом Толстым и наши воспоминания совпадали до деталей.

Враг пока не дерзал нападать на усиленную бригаду Долгорукова, но и князь не хотел повторить промашки своего предшественника. Его предусмотрительность плохо вязалась с тем ярлыком отчаянных рыцарей, который навесили на братьев Долгоруковых. Начальнику корпуса Тучкову медлительность князя даже казалась чрезмерной. Тем не менее, отойдя на недалеющее расстояние от Сердоболя, Долгоруков остановился почти на две недели и стал укрепляться. До него дошли слухи о больших силах мятежников, которые собираются у озера для нападения на его магазины*, а возможно, и на самый Сердоболь. Вопреки требованиям Тучкова,

* *Магазин* — склад, помещение для хранения каких-либо припасов.

князь не трогался с места до тех пор, пока не дождался обещанного подкрепления.

После этого отряд со всеми необходимыми предосторожностями двинулся к месту скопления шведских ополченцев, но не застал их в поселке. По сведениям местных жителей, войско шведов оказалось вовсе не так велико, как предполагалось. И вскоре сия утомительная беготня по болотам привела к столкновению.

Граф Толстой уверял меня, что в его первом сражении не было ничего, достойного упоминания. Оно походило скорее не на правильный бой регулярных войск, а на какую-то пугачевщину. Довольно большая толпа финских мужиков, вооруженных кто чем, при небольшом количестве солдат, которые мало отличались от крестьян одеждой и выучкой, собралась над обширной долиной, как бы продавленной среди гор допотопным ледником. Начальник этого воинства, какой-то шведский корнет, очевидно, воображал, что занял выгодную позицию, расставив своих людей на возвышении, однако не учел леса за спиной, преграждающего отход. Русские, напротив, построились в низине и не думали атаковать, стоя как вкопанные почти до полудня.

В чем бы ни заключалась стратегема князя Долгорукова, она, кажется, подействовала. Подобным же образом Американец при поединках белым оружием* обыкновенно давал противнику наброситься первым и нанести несколько ударов, чтобы приметить его слабости, а затем разделывать в два счета. И верно, милиционеры вышли из себя и кинулись на русских кучей, размахивая топорами и вопя самым ужасным образом свое «ура!», которое позаимствовали у нас или, напротив, одолжили нам в баснословные времена.

Толстой, находившийся за цепью при князе Долгорукове, признавался, что момент был не из приятных. Но наши пехотинцы не дрогнули, подпустили шведов на расстояние выстрела и дали залп. Толпа остановилась в нерешительности, ибо некоторые пули достигли цели. Русские взяли ружья наперевес и медленным шагом пошли на врага под барабанный бой.

Вот и все сражение. До сумерек еще какие-то фанатики постреливали из леса, но Долгоруков приказал подвезти легкое орудие и выстрелить по ним картечью. Выстрелы смолкли.

Пленных мужиков разоружили и заставили на Библии поклясться, что они не будут больше воевать, а затем прогнали домой. С теми же из шведов, кто был в военной форме, разговор был другой. Если они признавались, что воевали в Свеаборгской крепости или Свартхольме и уже приносили клятву покорности русскому императору, то почитались изменниками и подлежали казни.

* Белое оружие — холодное оружие.

Честность таковых шведских пленных граничила с дуростью, непо-стижимой изворотливому российскому уму. Никто не мешал им солгать, что они никогда не бывали в Свеаборге и принадлежали к какой угодно другой команде. И однако среди этой первой партии захваченных оказа-лось трое солдат свеаборгского гарнизона, которые признали свою из-мену. Их глупая шведская честность была столь нестерпима, что у князя не поднялась на них рука. Он приказал конвою казаков отогнать их в ва-генбург*, а оттуда отправить на строительные работы вместе с обычными пленными.

Это задание было поручено нескольким казакам под командою хо-рунжего Полубесова, о котором придется рассказать отдельно. Ибо этот Полубесов был чем-то вроде знаменитости, и байки о нем передавались по всей Финляндской армии от Карелии до Лапландии, как в минувшую Крымскую войну анекдоты про севастопольского матроса Кошку. Хорун-жий Полубесов постоянно находился в распоряжении Американца в Сер-добольском отряде, а позднее, по окончании кампании, я и сам свел с ним непродолжительное знакомство, позволяющее судить об его характере.

Полубесов принадлежал к тому типу русских людей, который мог зародиться только в нашей стране с ее деспотическим, но формальным рабством, легко переходящим в самую дикую анархию. При всем внеш-нем добродушии такие люди не знают узды ни в геройстве, ни в зверстве, столь трудно различаемых на войне с ее почетной обязанностью убивать ближнего. Из таких типов, как Полубесов, в военное время развиваются Ермаки, если их раньше не повесят за мародерство. В мирное время он может быть примерным обывателем и вдруг зарезать проезжего купца за несколько монет. А во время смуты из них выходят Стеньки Разины.

Толстой рассказывал мне о каком-то наивном, гомерическом звер-стве, с которым Полубесов расправлялся с противниками, не давая поща-ды даже пленным. (Так же, говорят, ведут себя природные американцы, привязывая пленного к столбу и с детским любопытством разрезая его на куски, пока он не испустит дух.) Но при этом не было более вниматель-ного товарища, который всегда делился последним куском, не садился за обед, пока его люди не накормлены, и не моргнув отдавал вам последнюю рубаху.

При небольшом росте и довольно неказистой фигуре Полубесов обладал чрезвычайной ловкостью во всех воинских упражнениях, ко-торыми так славились прежние донцы. Будучи немолод по тогдашним понятиям (лет тридцати пяти), на смотре он скакал рысью стоя ногами на седле, стрелял из своей длинной винтовки из-под брюха лошади, ко-сил лозу шашкой и на галопе поднимал монету с земли. Когда же он при

* Вагенбург — опорный пункт из построенных в определенном порядке повозок.

демонстрации рубки одним ударом распластал глиняную чучелу, то не у одного меня пошли по спине мурашки от сего отвратительного чавкающего звука.

Наконец, нельзя не вспомнить и о главном качестве Полубесова, в коем он был истинный артист, ежели это слово применимо к воровству. Ибо в этом нашем национальном промысле хорунжий обладал звериным чутьем и необычайной дерзостью. Вы могли спокойно оставить перед ним открытый кошелек, полный денег, и найти его через неделю нетронутым. Но когда надо было найти, где что плохо лежит из *ничейной* собственности (к которой, конечно, относится и казенная), то он отыскивал любой тайник с ловкостью факира и забирал его даже в том случае, если его стерегли с собаками и ружьями.

Полубесов при Толстом был то же самое, что Толстой при Долгорукове. Правой рукой, не согласующей своих действий с левой рукою и другими частями тела. А иногда и отделяющейся от них по собственным надобностям. С шайкой казаков, на степной лошаденке, повадкою напоминающей охотничью собаку, Полубесов рыскал впереди или по сторонам идущего отряда. И, точно как охотничья собака, вынюхивал и обшаривал все окрестности, пробегая в десять раз больший путь, чем его хозяин по тропе. Иногда он вовсе пропадал на целый день, а затем возвращался весь истерзанный, полумертвый от усталости, но горящий хищною радостью. И пригонял корову с бубенчиком, набитым землей, чтобы ее не нашли в лесу русские грабители.

— По молодости мы не думали, что обрекаем бедную финскую семью на голод, если не на смерть, — признавался Толстой. — Ежели бы мы платили обывателям за провизию серебром, по-европейски, они бы стерпели и нас, и любого другого завоевателя. Мы же выдавали вместо денег незначущие расписки, для сомнительного возмещения после войны. Из озорства я, бывало, писал в бумажке по-русски: «Подателю сего всыпать сто розог ниже спины». Это был дурной поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь.

Двух шведов Полубесов связал арканом, как на барельефе царя Хаммурапи с изображением пленных рабов. А третьего, раненного в ногу корнета, посадил за свою спиною на лошадь. Руки шведа были свободны, чтобы он мог сзади держать Полубесова за талию (подобным образом кавалеристы иногда транспортируют пехотных), и выглядело это весьма комично. Товарищи трунили по поводу «новой барышни» Полубесова, тот загадочно посмеивался и отводил глаза, а швед, румяный желтоволосый парень открытого вида, одновременно морщился от боли и смеялся со всеми непонятным русским словам. Он был лет на десять моложе Полубесова и, пожалуй, гораздо сильнее, но ему отчего-то не приходило в голову сбросить казака с лошади и ускакать. Очевидно,

согласившись на плен, он уже не считал себя находящимся в состоянии войны и обязан был слушаться.

Толстой тем временем играл на поляне в карты. Когда ему спустя полчаса сообщили, как забавно Полубесов конвоировал пленных, он сразу почуял неладное, схватил свое старое, пристрелянное пехотное ружье со штыком и поскакал следом.

Казачьи ехали шагом, с песнями и остановками. Никто не ждал их скорого возвращения, и вместо того, чтобы гнать шведов целый день до следующего укрепленного лагеря и передать по этапу, они решили на пути остановиться и устроить себе пикник. За этим-то приятным времяпрепровождением Толстой и нашел их по лошадиным следам в стороне от дороги. И вовремя.

Посреди поляны кипел в котле кулеш. Двое казаков, в расстегнутых мундирах, без сапог, курили трубки возле замшелого округлого валуна, напоминающего череп великана. Их лошадки со спутанными ногами щипали траву поодаль. А в ложине, шагах в десяти от костра, стояли на коленях трое людей со связанными за спиной руками. Пленные были уже разуты и раздеты до исподнего белья. Перед ними зияла свежерытая яма, которой надлежало стать их братской могилой. Шведы навзрыд читали молитву за своим командиром. А за их спинами прохаживался Полубесов и жонглировал шашкой, как это любят делать казаки во время своих плясок. Сабля его, представляющая собой как бы сплошной сияющий круг, со свистом вращалась то в одной его руке, то в другой, то впереди, то над головой, то за спиной. И ежели Толстой явился бы несколькими минутами позднее, она бы, несомненно, обрушилась на шеи несчастных.

При виде Толстого казаки стали поспешно натягивать сапоги, а Полубесов с хмылкой убрал шашку в ножны. Хорунжий отрицал душегубские намерения, утверждая, что он лишь хотел подействовать на шведов *умственно*, чтобы им не вздумалось второй раз нарушать клятву белому царю. Тогда Федор Иванович напомнил Полубесову, что по артикулу за убийство пленника, попросившего пощады, полагается смерть, и велел немедленно развязать шведам руки. Полубесов неохотно повиновался и только проворчал что-то насчет «баловства», когда ему пришлось вернуть корнету его сверкающие кавалерийские сапоги со шпорами.

— Я счел, что эти воины уже достаточно наказаны, и разрешил им идти куда вздумается, но более не попадаться мне на глаза, — рассказывал Толстой. — Шведский офицер целовал мне руки и требовал, чтобы после войны я непременно приехал к нему в Стокгольм для знакомства с его матушкой. Он спрашивал мое имя, чтобы его будущие дети и вся его фамилия могли ежедневно поминать меня в своих молитвах. Я сказал, что меня следует называть «русский офицер» или, если угодно, мосье Теодор.

— Вы святой человек, мосье Теодор, — сказал корнет, опускаясь перед Американцем на колени.

Толстому пришлось буквально выталкивать шведов из плена, чтобы прекратить эту церемонию.

Весь обратный путь Полубесов дулся на Толстого из-за сапог. А по возвращении их ждала ужасная новость. Неподалеку от захваченного поселка были обнаружены тела трех русских егерей из исчезнувшего прошлого ночью пикета. Изрезанные трупы солдат с выколотыми глазами были повешены вверх ногами на деревьях, и их опознали по православным крестам. Вскоре нашелся и их начальник, унтер-офицер, которому во время этой бойни удалось незаметно отползти и убежать в лес.

Унтер-офицер рассказал, что несколько финских мужиков во главе с одним шведом в военной куртке приблизились к солдатскому костру, разведенному вопреки правилам скрытности, и предложили выпить и закусить в знак примирения. Когда же все вместе уселись возле костра за угощение, мужики по знаку предводителя выхватили ножи и стали резать русских без милосердия, после чего надругались над мертвыми телами.

Князь Долгоруков в назидание велел перед погребением разложить истерзанные тела солдат на поляне и провести перед ними все свое войско. А затем принужден был взять меры противу местных жителей.

Почитаете ли вы Суворова великим человеком? По-вашему, он герой? Но для жителей варшавской Праги* или Измаила он был то же самое, что для нас Батый. Среди генералов двенадцатого года, кажется, нет для нас другого, который пользовался бы такою безусловною симпатией, как Алексей Петрович Ермолов. А для горцев Кавказа это людоед, которым матери пугают непослушных детей. В самой захудалой российской избе рядом с образами найдете лубок скачущего на коне «храброго Кульнева». Однако для финляндцев в ту войну полковник Кульнев был каким-то вездесущим, безжалостным дьяволом, не дающим покоя ни днем ни ночью. Кто здесь прав? И можно ли найти правого в таком ужасном деле, как война, и особенно война народная?

Весь мир рукоплескал подвигу Сарагосы и отчаянной храбрости испанских партизан, которые, вопреки ничтожеству своего правительства, страшными жертвами удерживали в Пиренеях почти такое же количество французских войск, какое сражалось в России. Французы между тем обвиняют испанских герильясов в таком средневековом изуверстве, которое давно невозможно ни в одной стране мира... кроме России. Русские, по их свидетельствам, также упражнялись в какой-то дремучей жестокости с захваченными французами: закалывали их вилами, сжигали заживо,

* Прага — пригород польской столицы.

обложивши хворостом, и закапывали живыми в землю, «чтобы не проливать кровь». Как было не применять против этих зверей расстрелов, поджогов и других укротительных мер?

Когда французский генерал называет наших казаков трусливыми насекомыми, за то что они не хотят выстроиться правильными рядами и подождать, пока кирасиры их атакуют как положено, нас это возмущает. Нам кажется невероятным, чтобы от одного названия этих «насекомых» расстроенные французские орды бросали ружья и разбегались прятаться в лес. Отчего же мы называем финляндских партизан толпами взбунтовавшихся мужиков, а горцев Шамиля кровожадными разбойниками? Ермолов ничуть не героичнее разбойника Шамиля. Наш Кульнев стоит их Сандельса. Партизан Давыдов — рыцарь, но партизан Фигнер — маньяк.

Вы спросите: «Неужели такой возвышенный человек, как князь Долгоруков, мог применять карательные меры против мирных финляндцев?» Отвечу с тяжелым сердцем: «Не только мог — обязан был это делать». Ибо никакого другого способа обуздать партизанскую войну не существует ни в Испании, ни в России, ни на Кавказе. Ежели вы взялись отпиливать ногу больному человеку, нельзя же это делать гуманно и наполовину. Для избежания жестокостей среди мирного населения есть всего один, но верный способ — не начинать войны.

Когда князь Долгоруков попросил Толстого расследовать случай убийства русских солдат и примерно наказать виновных, Федор Иванович был поражен, словно получил пощечину.

— Это и есть то одно, но отчаянное задание, ваше сиятельство? — спросил он, поднимаясь из-за стола и вытягиваясь во фронт.

— Это пока только *просьба*.

Князь подошел к своему пылкому адъютанту, обнял его за плечи и усадил обратно на скамью.

— Ты отлично знаешь, что я не могу поручить это дело Алексееву. Этот полицейский перепорот мне всю округу и перевешает всех, кроме виновных.

До начала первой наполеоновской кампании генерал Алексеев служил московским полицеймейстером. И хотя он был ничуть не хуже других генералов, ему все поминали его прошлое из-за прирожденного русского отвращения к полиции.

Долгоруков расстелил на столе перед Американцем истертую походную карту и провел по ней дымящимся чубуком.

— Если я сегодня пойду на соединение с Тучковым, то завтра сотни мужиков с ружьями будет достаточно, чтобы ударить на мое депо и лишить меня припасов. Расстояние, равное пути от Москвы до Тулы, мы прошли в месяц. Тучков забросал меня упреками, мольбами и приказами

о помощи. Но если ты не усмиришь эту пугачевщину, они не дадут спокойно воевать.

Долгоруков заглянул Толстому в глаза.

— Я не могу и не хочу тебя принуждать. Одно слово: да или нет?

— Я их успокою, — пообещал Толстой.

Более чем достаточно было сказано о буйстве Американца Толстого и его презрении к любым общежительным нормам. Но никто еще, кажется, не упоминал об его деловых свойствах, которые при должном развитии могли бы сделать из него незаурядного военачальника или администратора. Вы удивлены? А ведь именно в этом, на мой взгляд, и коренилась неприязнь Толстого к генералу Ермолову, который слишком напоминал Американца во всех отношениях, кроме одного: Ермолов состоялся историческим деятелем.

Первым делом Толстой обязал местного пастора созвать по списку всех членов его прихода, которые и составляли население округа — разбросанное по лесам и практически неуловимое. К середине следующего дня на площади перед киркой, представляющей собой умственный центр этого уезда, были собраны все, за исключением больных и расслабленных. Тех же, кто без уважительной причины не явился на зов пастора, можно было почти безошибочно причислить к вероятным бунтовщикам.

Перед внушительным строем отборных солдат в белых ремнях и киверах, надвинутых на самые глаза, Толстой зачитал мужикам по-немецки прокламацию царя, в которой Александр объявлял о своем миролюбии и обещал финляндцам сохранить все конституционные вольности, какими они пользовались при шведах. Пастор приблизительно перевел это на финский язык, понятный большинству присутствующих. После августейшего обращения затрепал барабан и мужикам разрешили надеть шапки.

Затем Толстой обратился к ним по-свойски:

— Вам известно, что третьего дня в лесу были замучены трое русских солдат. Виновны в этом злодействе три или четыре местных жителя во главе с человеком в военной форме, которого не могу назвать солдатом из-за его подлости. Таковые действия вероломных убийц не отвечают никаким правилам ведения войны, ни Божьим, ни человеческим понятиям. Люди, сотворившие таковое злодейство, не суть люди, но бешеные звери, которых надлежит изловить и уничтожить. Что же вы не переводите, падре?..

Итак, я приказываю именем его императорского величества, и пусть никто не говорит, что не слышал. Все виды огнестрельного и белого оружия, имеющиеся в распоряжении местных жителей либо членов их семей, включая охотничьи ружья и рогатины, должны быть незамедлительно принесены на эту площадь и переданы под расписку рус-

скому офицеру. За каждое ружье вам будет выдано вознаграждение два серебряных рубля, за саблю, полусаблю, шпагу или палаш — один рубль и полтора рубля — за пистолет. Ежели кто приведет и лошадь, тот получит десять рублей серебром...

К исходу сего же дня вам надлежит представить мне имена бунтовщиков, которые примкнули к вооруженным шайкам и участвовали в нападении на русский пикет. За имя их предводителя русское правительство обещает премию в сто рублей и полную конфиденциальность.

— Им непонятно будет, что такое конфиденциальность, — сказал священник, снимая круглую шляпу и отирая пот со лба.

— Обещаю не разглашать предателя, — брезгливо объяснил Толстой. — В противном случае ваше селение будет предано огню, а равное количество заложников — повешено на площади.

Психическое воззвание Толстого парализовало ужасом всю округу, но не привело к желаемому результату. В течение дня в приемный пункт на площади была принесена заржавленная сабля без ручки, выкованная в Туле в 1701 году, допотопная пицаль с раструбом, но без замка и двенадцатифунтовое чугунное ядро, которое финская хозяйка использовала вместо пресса при засолке капусты. Сколь ни ничтожны были эти трофеи, но и они были получены, очевидно, не из лояльности русскому правительству, а для наживы. После долгих препирательств русский интендант выдал за саблю пятьдесят копеек, столько же заплатил за пицаль и вовсе ничего — за ядро. Так что жадная чухонка вынуждена была тащить свое добро обратно домой.

Финляндцы обладали истинно римской доблестью либо действительно не знали виновников ночного душегубства. Несмотря на значительную сумму премии и страшную угрозу Толстого, ни один из них не выдал зачинщика. В том же, что этот человек продолжает находиться где-то рядом, Американец не мог сомневаться. Не спрыгнул же он ночью с облака, чтобы затем нырнуть в болото?

Толстой приступил ко второму пункту своего коварного плана. В ночь он приказал Полубесову ворваться в ближайшие жилища, схватить там трех взрослых мужчин и запереть их в подвале пасторского дома, где расположился русский штаб. Каковое задание было выполнено хорунжим даже с избыточным рвением, ибо после арестации все физиогномии и бока аманатов были покрыты синяками и ссадинами. Полубесов сочувствовал карательным мерам и только недоумевал, для чего Толстой не разрешил ему казнить тех трех военнопленных, а теперь взамен собирается повесить трех других, невинных.

Утром глашатай в сопровождении пастора и бургомистра объехал все мызы и хутора в пределах досягаемости и объявил, что русское командо-

вание принуждено взять суровую меру против населения, не желающего вернуться к мирной жизни. Сегодня ночью были захвачены три аманата по числу убиенных российских служителей. И завтра поутру эти трое будут повешены на площади перед киркой, если до того времени преступники не станут известны.

Депутация старейшин во главе с пастором явилась к князю Долгорукову с мольбой оградить их от мучительства страшного господина Теодора, ибо они никогда не помышляли поднимать оружие против царя и не желают ничего, кроме мирной жизни честных обывателей. Однако князь возразил, что граф Теодор действует по его распоряжению. И при всем сочувствии к страданиям мирных людей он не видит иного способа положить конец кровопролитию в этом крае.

Под вечер заложникам была объявлена их участь. Саперы начали сооружать на площади помост со ступенями и раму из трех бревен наподобие детской качели. Цинические шутки работников и веселый перестук молотков ужасом отдавались в сердцах несчастных финляндцев, наблюдавших за этими приготовлениями из зарешеченного подвального оконца. После возведения виселицы заложники пожелали причаститься святых тайн. Пастор провел с ними около часа, а затем явился к Толстому для секретного разговора.

«Поддействовало, — решил Американец, весело глядя в рыби глаза священника, опущенные одуванчиками белых ресниц. — Сейчас начнет сдавать». По конопатому лицу пастора трудно было определить, какие чувства он сейчас испытывает. Это могло быть тупое равнодушие к собственной участи, а могла быть резигнация отчаяния, которая гораздо опаснее истерических выходов какого-нибудь итальянца. На мгновение Толстому показалось, что сейчас этот непостижимый человек выхватит из-под своей рясы стилет и по самую рукоятку вонзит в его сердце. Однако сделать это в штабе, где снова вооруженные люди, было бы неловко. И как бы в подтверждение подозрения Толстого пастор предложил ему прогуляться до беседки.

Пастор шел впереди по усыпанной битым кирпичом дорожке, с каким-то дамским кокетством поддерживая мантию со стоячим белым воротничком, надетую ради службы. Кирпичная крошка трещала под деревянными каблуками грубых башмаков, и длинная тень священника, напоминающая формой — конус с кругом наверху — замочную скважину, прыгала следом за ним по грядкам. Толстой увидел штопку на плече траченной молью мантии, которая, возможно, служила еще отцу этого человека, представил себе *волкан* переживаний, клокочущий под его вялой вежливостью, и вдруг почувствовал в сердце горячий укол сочувствия.

Они остановились у беседки, под старой березой с черным корявым низом ствола, придающей пейзажу совершенно российский вид. Пастор

перебирал четки, и Толстой не форсировал разговора, чтобы его не спугнуть.

— Я был сейчас у приговоренных, — сообщил пастор и снова крепко замолчал.

— Очевидно, они сообщили вам что-то важное на исповеди? — подсказал Американец, который начинал терять терпение от скандинавского темперамента.

— Эти люди невиновны перед Богом и вашим царем. И я не могу допустить гибели трех мирных людей.

— Вы долго вспоминали о своей христианской обязанности, — сухо заметил Толстой и подумал: «Полно ломаться».

Священник взял шляпу под мышку, потер пальцем переносицу и оперся о березу, словно в приступе дурноты. «Да что это с ним? — встревожился Федор Иванович. — Не отдал бы душу богу от переживаний раньше времени».

Пастор, однако, скоро оправился, надел свое сомбреро и продолжал как ни в чем не бывало:

— Я имею сообщить вам имя человека, которого вы разыскиваете.

— Сообщите, — в сторону сказал Толстой, покусывая былинку.

— Вы обещаете выпустить пленных, когда я вам его назову?

Это напоминало картежную игру, и Американец решил вытянуть все козыри противника, прежде чем раскрыть свои.

— Мне нужно не имя, а человек. Когда преступник будет в моих руках, ваши односельчане пойдут домой.

Как и следовало ожидать, твердость Толстого обескуражила пастора. Священник почувствовал, что почва уходит из-под его ног, и был уже согласен на уступку при соблюдении внешних приличий.

— Я также сообщу вам его место жительства, — пробормотал пастор в землю.

— Однако может оказаться, что он случайно отошел в гости, — заметил Толстой с вопросительной интонацией.

— У его единственной дочери завтра день рождения, который он, конечно же, захочет провести в кругу семьи.

— Итак, я вас слушаю, — ласково сказал Толстой, поглаживая заштопанное плечо доносчика.

— Это фельдфебель Нюландского полка Уго Ларссон. Он живет на мызе у водопада, где мельница. Теперь наши люди свободны?

— Они будут свободны, как только Ларссон займет их место, — твердо сказал Толстой. — Тогда же вы сможете получить свои сто рублей (он чуть не произнес «тридцать сребреников»).

— Я прошу вас отдать деньги вдове Ларссона после его казни, — сказал пастор обычным вялым голосом. — И передайте фельдфебелю, что отец им гордится и молится за него.

— С удовольствием, как только буду иметь честь встретиться с господином Ларссоном. Кто же его отец?

— Я, — ответил священник.

В воскресенье, накануне дня рождения дочери Ларссона, финны собрались в кирке молиться за избавление от русских варваров. К вечеру пришла и молоденькая фру Ларссон с дочерью и пожилой работницей. Толстой тем временем оделся как можно неприметнее, сунул за пояс два заряженных пистолета и пешком отправился к водопаду, на мызу фельдфебеля.

В обычное время, свободное от воинских обязанностей, фельдфебель Ларссон был мельником. Он был, следовательно, человеком состоятельным по здешним меркам и жил в довольно красивом деревянном двухэтажном доме под железную крышей, выкрашенном по местному обычаю красноватой водяной краской. Дом Ларссона, окруженный хозяйственными постройками, возвышался на пригорке, и к нему вели крутые ступени, высеченные из дикого камня. Однако Американец обошел усадьбу лесом, продрался сквозь кусты и перелез через высокий забор по приставленному бревну. Изучив расположение дома, все входы и выходы, он таким же манером и удалился.

Начало следующего дня от рассвета до полудня Толстой, Полубесов и еще двое охотников из казаков провели в яме за мельницей, откуда хорошо просматривалась единственная дорога к мызе, но за все это время не заметили никого, кроме замотанной платками девочки в чепчике и деревянных башмаках, совершающей моцион со своей козой. Толстой уже начал подозревать самоотверженного пастора в обмане, но Полубесов метнулся на разведку, мигом вернулся и сообщил, что «голубок залетел в силки». В доме вовсю идет приготовление к празднику. Из открытого окна доносятся умопомрачительные ароматы жаркого, звон посуды и звуки клавикордов. А сам господин Ларссон, словно явившись из-под земли, в исподнем колет дрова во дворе.

— Жена унтер-офицера играет на клавикордах? — переспросил Толстой.

— Так точно, если не дочка, — отвечал запыхавшийся Полубесов.

— И этот народ мы пытаемся покорить... — покачал головой Федор Иванович.

Впрочем, пора было действовать. Примерно через полчаса, когда, по расчету Толстого, шведское семейство должно было расположиться за столом, два казака, захватив с собою пастушку с ее неразлучной козой, вошли во двор по каменной лестнице. По странному местному обычаю ворота не были заперты. Казак приказал девочке отцепиться наконец от козы, постучать в дверь молотком и позвать фру Ларссон, якобы по делу

от матушки. Между тем Толстой и Полубесов перелезли через забор со стороны леса и притаились у черного хода — на тот конец, если оборотень не дастся в руки по-хорошему и попытается уйти. Судя по тому, как Ларссон разделал в лесу русских егерей, борьба предстояла не на жизнь, а на смерть. Кроме двух пистолетов Толстой захватил с собою кинжал. А Полубесов держал наготове аркан, чтобы сразу опутать шведу руки, ежели он начнет блажить.

События, однако, приняли иной оборот. Звуки музыки на втором этаже смолкли. Тишина продолжалась несколько минут, которые показались Толстому часами. Затем внизу хлопнули подряд два выстрела и из парадного навстречу Толстому выбежала заплаканная пастушка с криком: «Русские убиты!»

Один из казаков сидел на поленнице бледный и зажимал окровавленное плечо. Другой, не в силах подняться, корчился на полу прихожей. Он был ранен пулей в бедро. Изранивший их из двуствольного пистолета Ларссон не покидал дома, но и внутри его не обнаружили. На втором этаже за накрытым столом сидела потрясенная фру Ларссон, сжимая в объятиях напуганную дочь. Из нее не удалось вытянуть ни слова.

Наконец Полубесов с его инстинктом ищейки нашел под лестницей лаз, ведущий в подземелье. Выйдя за спиною жены, как за щитом, в темные сени, фельдфебель сделал два ловких выстрела по казакам, прежде чем они успели опомниться, а затем нырнул в подземный ход и вышел в лес с другой стороны ограды. Ловить его в лесу было бесполезно.

Проигрывать таким позорным образом было не в характере Федора Толстого. Однако пастор честно выполнил свои обязательства, и заложников пришлось отпустить. Убийство российских подданных тем не менее не могло остаться без возмездия. И князь Долгоруков приказал сжечь дом фельдфебеля Ларссона при обязательном присутствии всех обывателей. Генерал Алексеев также рекомендовал разрушить принадлежащую Ларссону мельницу, дабы посадить мятежников на диету из древесной коры, но сия мера показалась Долгорукову неразумной. Вдали от густонаселенных мест, где сейчас солдаты могли хотя бы иногда получать печеный хлеб, это уподобилось бы отпиливанию ветки, на которой восседает легкомысленный пыльщик.

В виду угрюмой, безмолвной толпы финских мужиков и баб, которые послушно стеклись по зову пастыря из своих лесных нор, русские солдаты стали проворно обкладывать хворостом просторные, высокие хоромы Ларссона, не уступающие лучшему в поселке дому его отца. Глядя на эти безумные действия, не имеющие никакого человеческого оправдания, нищие финны и их крепостные русские враги невольно прикидывали, сколько лет жизни и добровольных лишений было вложено в своеручную постройку такого дворца, сколько каторжного труда проделано и сколь-

ко радости пережито этой простой семьей при переезде из временной землянки, еще сохранившейся за оградой. Даже русские солдаты, выстроенные вокруг дома во избежание беспорядка, не вспоминали сейчас о погибших товарищах и не испытывали мстительной радости. Дом представлялся им живым существом, и они ужасались, словно им предстояло сжечь человека.

Вспоминая с графом те страшные события 1808 года, мы, конечно, не могли избежать сравнения с апокалипсисом, который нам пришлось пережить четырьмя годами позднее на нашей собственной несчастной родине. И если правда, что Господь насылает возмездие на грешников руками Сатаны и ангелов его, то мы свое получили стократной мерой. Что мне за дело до Ростопчина, который в позе древнего римлянина спалил двухмиллионный дворец и не слишком от этого обеднел? Но по ночам во сне мне являются финские, русские или польские крестьяне, на глазах у которых солдаты-освободители разбирают на дрова их единственную избушку, и я просыпаюсь в нестерпимой тоске. Господи, я не оспариваю Твоего возмездия, но отчего оно так часто падает на невиновных людей?

После того как первый этаж был по самые окна обложен хворостом, один из митавских драгун, коренной финляндец по происхождению, прочитал на финском языке приговор, в котором русский генерал объяснял свои действия изменой фельдфебеля Ларссона, давшего клятву покорности императору Александру, но преступившего ее самым вероломным образом.

— Отныне каждый житель Финляндии, застигнутый с оружием в руках или хранящий оное в своем доме, если он только не является служителем регулярной шведской армии, будет повешен без суда, а его жилище будет предано огню, как дом бывшего фельдфебеля Ларссона.

После этих слов глашатая финские мужики, при всей их мнимой покорности, стали что-то злобно выкрикивать и потрясать кулаками, напирая на русский строй. Однако их крики были заглушены барабанною дробью и упертые в грудь штыки охладили их ярость. Казак поднес факел к подножию хворостяной кучи, ветки мигом занялись, огонь сначала затрещал в глубине и вдруг взметнулся под самую крышу. Вся толпа, русские и финны, разом выдохнула и замерла, словно загнипнотизированная.

Теперь единственным действующим лицом стал огонь, который опоясывал дом, поднимаясь все выше и проникая вовнутрь. Вдруг лопнули одно за другим стекла первого этажа, и пламя, гуляющее уже внутри дома, пыхнуло с новой силой. Солдаты из оцепления опустили ружья и отшатнулись от жара. Русские и финны смешались.

— В этот миг оконце чердака отворилось и я, признаюсь, впервые в жизни остолбенел, — рассказывал Американец. — Ибо увидел в окне,

среди клубов дыма, молодую жену Ларссона с четырехлетнюю дочь на руках. Несколько мужчин из местных попытались проникнуть в дом, но отпрыгнули из-за нестерпимого жара. Женщины визжали. Все в панике металось по двору. Мне ясно явилась мысль, что сейчас на моих глазах заживо сгорит молодая прекрасная женщина с малолетним невинным ребенком и виновник этому я, русский офицер и дворянин Федор Толстой.

Тут Толстого оттолкнули в сторону без всяких церемоний. Хорунжий Полубесов облил себя водою, намочил в ведре кафтан и, обмотавшись им с головой, бросился в самое пекло. Несколько минут во дворе стояло мертвое молчание, нарушаемое только мушкетными выстрелами пылающих бревен. Неожиданно из адского пламени явился Полубесов с завернутой девочкой в руках. От него валил пар, ошпаренное лицо почернело, а волосы обуглились. Он передал девочку одному из солдат, окатился еще раз водою, и не успел никто моргнуть глазом, как он вернулся с ее матерью.

Миньютюрная фру Ларссон держалась за шею казака так сильно, что ее пальцы пришлось расцеплять. Она была толико потрясена, что даже забыла поблагодарить русского героя за спасение дочери. А через минуту пламя бросилось на крышу из того окошка, где только что металась женщина.

...После этого случая партизанские действия в здешних местах не возобновлялись. Начиналась осень, и крестьяне возвращались из лесов для сбора урожая.

(Продолжение следует.)



Виллем РОГХЕМАН

ОСЕНЬ МОДЕРНИЗМА

Фламандский поэт, прозаик, эссеист, художественный и литературный критик Виллем Рогхеман (Willem M. Roggeman) родился в 1935 г. в Брюсселе. Учился в атенеуме — государственной школе, где в то время преподавал поэт Эрик ван Рёйсбек (Erik van Ruysbeek). Рёйсбек привил своим ученикам любовь к нидерландскому языку и поэзии, и четверо из них в дальнейшем обрели себя на литературном поприще.

После школы Рогхеман изучал экономику в Гентском университете, затем двадцать два года проработал художественным редактором во фламандской либеральной газете «Последние новости». С 1981 по 1993 г. был директором Фламандского культурного центра «Де бракке гронд» в Амстердаме. Многие годы Рогхеман писал статьи о литературе и изобразительном искусстве, работал редактором в литературных журналах.

Начиная с первой публикации в 1956 г., в Бельгии и Нидерландах было издано более сорока его поэтических книг, вышло несколько книг прозы и эссе. Многие стихи были переведены на другие языки, публиковались за рубежом. Рогхеман неоднократно становился лауреатом бельгийских и международных поэтических премий.

Мое знакомство со стихами Виллема Рогхемана произошло совершенно случайно, когда я искала в Интернете публикации прекрасного русского переводчика Дмитрия Сильвестрова. Именно с переводов Сильвестрова, напечатанных в «Иностранной литературе», и началось мое погружение в мир этого поэта. Позднее мне посчастливилось встретиться с Рогхеманом, и во время нашей беседы меня удивила одна вещь. Пока мы говорили о стихах и я расспрашивала его о своих любимых фламандских и нидерландских поэтах — а со многими ведущими поэтами XX в. Рогхеман был знаком лично, некоторые из них были его ближайшими друзьями (Паул Снук, Луи-Поль Боон), — меня не покидало ощущение, что он, отвечая на мои вопросы, одновременно работает в уме над каким-то текстом. Будто действи-

Перевод с нидерландского Анастасии Андреевой.

тельное событие происходит не здесь, в брюссельском кафе, за чашкой чая, а в некоем метафизическом пространстве, где рождаются стихи и которое, на самом деле, и есть очевидная реальность. Мне страшно захотелось попасть в это пространство, прямо как кэрроловской Алисе в волшебный сад. Думаю, что благодаря работе над переводами мне в какой-то мере удалось приоткрыть туда потаенную дверь.

В завершение хочу отметить, что, по собственным словам Рогхемана, на его поэзию большее влияние оказала живопись, нежели стихи других поэтов. Действительно, его поэзия — это поэзия изобразительная, зримая. Иногда стихотворение похоже на живописную картину, иногда на кинофильм, где отдельные кадры/картинки следуют друг за другом, создавая в итоге единый многогранный и даже многоуровневый образ. Последние поэтические книги написаны Рогхеманом в тесном сотрудничестве с художниками. Можно сказать, что эти книги представляют собой гармонический синтез двух видов искусства, в них живопись и литература ведут друг с другом своего рода диалог.

Несколько стихотворений из двух последних книг Виллема Рогхемана — «Конец авангарда» («Het einde van de avant-garde», 2016) и «Сейчас — уже в прошлом» («Nu is reeds voorbij», 2018) — предлагается вашему вниманию.

Анастасия Андреева

История искусств

Скрывшись в светотени этого городка,
переводит дух божественный художник-реалист,
ярый противник концептуального искусства.

Все изменилось в его последнем пейзаже.
Вариация одного из тридцати шести видов
на голую гору Фудзи, манию Хокусая.

Он подходит к зеркалу, и сердце замирает,
на него смотрит изваяние головы Пермеке.
Теперь, когда тихо падает снег в его книгах,
сомнения дают ему право видеть.

Руками старости он чувствует, как
туман ускользает из левого уголка рта.

Тень, утратив свой прерывистый голос,
слушает громко сглатывающее солнце
и с досадой отдает себя во власть утра.

Вот такое краткое содержание его фантазии:
 медленное окаменение растительного мира.
 Растерянно озираясь, формируют подсолнухи
 множественное число одиночества.

Пасущиеся коровы хранят молчание,
 пережевывают отражение незнакомца.
 «Кто забыл — простил», — думает он на языке образов.

На уровне зимы

Зима является, нахлобучив меховую шапку,
 Шмыгая носом и противореча всему тому,
 что неряшливо оставило после себя лето.

Мы, видевшие грандиозное собрание трудов,
 глядим на то, как, гримасничая, бормочет вереск.
 Еще не все наши надежды успели иссякнуть.

В погасшем очаге перешептываются страхи.
 С лаем вываливается из зеркала вдова и,
 заливаясь слезами, вызывает антициклон.

С трудом глотая, она ест свое ежедневное
 чудо и медленно превращается в черепаху.

Veritas temporis filia *

Этот час бесчеловечен. И день дребезжит, когда
 ветер хлещет по твоей непродуманной анатомии,
 сотрясающей до самых заповедных основ.

За твоим лицемерием скрывается грустная рутинная
 вчерашнего дня, который растратил свое время
 в пустых залах ожидания, покинутых пассажирами.

Живущие в сиюминутном, они удивленно наблюдают,
 как разрушительно воздействует музыка на святошу.
 С пьяным хихиканьем он укрывает полумертвое тело.

* Истина — дочь времени (лат.)

Потому что вновь разгорелся стыд, хотя мнилось,
что он уже давно утрачен. Так по прошествии лет
обнаруживают ржавый нож в переулке.

Слышишь, как за входной дверью шурует молва.
Но тебя овевает прохладой, дорогой читатель,
хотя бы оттого, что ты листаешь эту книгу,

наполненную говорящими словами, среди
которых уже годами сбраживается истина,
как забытая временем девственная дочь.

Желтый

Некто, целомудренная, как весталка,
говорит на тайном языке летучих мышей.
Она состоит из небрежно сделанных снов.

Столп цивилизации был воздвигнут для нее.
И, шелестя изречением, прощальным словом,
она искаженно рисовала позу, в которой спала.

История уже тогда обрела свое имя
и теперь желтела, точно обшарпанные трущобы,
бросив якорь в море, поющее без повторений.

Некто размышляет на горной вершине о том,
чтобы соблазнить ангела. Тот подозревает весну.
Восторженно он наблюдает битву с солнцем.

Осень модернизма

Кто-то неспешно перечитывает свой сад.
Сперва он сидит, бесцельно его листая,
потом обнаруживает, как прорастает шепот
между воображаемых травин.

Его жена молчит в оба его уха.
Она подходит маске, которую он носит.
Он замечает, как та вздыхает во сне,
отдаляя этим одиночество.



Дом клонится к солнечному свету.
Ключ доблестно караулит в замке.

Чудная двусмысленность:
время становится мгновением с ней,
мгновение — многогранником чувств.

Бидермайер

*Поэзия остается времяпрепровождением
ради нескольких чистых звучаний.*

Эдди дю Перрон

В интерьере чистых звучаний отобразилась эпоха,
умиротворяя, как политическая реставрация,
и всякий раз, когда они раздаются, то
поднимаются еще на одну ступень звукоряда.

Их головы становятся светлой планетой,
украшенной драгоценностью рта,
жемчужиной, не теряющей ценности,
но с ржавыми пятнами жи на коже,
точно душа себя так проявляет.

Дочь школьного учителя поет.
Она тебе приглянулась, она дополнение
в синтаксисе твоей игровой площадки.
Уютно поскрипывает старая мебель.

Счастливый, словно студент в Гейдельберге,
ты прогуливаешься вдоль сентября и, значит,
живешь, не теряя связи со временем. Руины
замка на холме тонут в проливных эмоциях
и вещают прокуренным голосом о былом.
Их слова исчезают в сентиментальном напеве.

Пробные съемки в кинопавильоне

Пустынная улица, под порывами ветра
катится ком сена за облаком пыли.
Пусть хлопают входные двери салуна.
Губная гармошка объявляет драму —
в город въезжает одинокий всадник.

Ни один предмет никогда не сможет
превзойти то, что копирует.
Оригинал давно уже утерян.
Догорает мир видимости
в закате, нарисованном красками.

Хулиганье избивает велосипедиста.

Поезда прибывают и отбывают с вокзала,
кажется, будто они ищут мавзолеей.
Пожилой господин с тростью одиноко
сидит на скамейке в притихшем парке
и гладит бродячего пса вдохновения.

Киноактеры стоят у фальшивой двери
и жадно пожирают тени друг друга.
В их глазах вспыхивает свет.

Небесный пастух стережет облака.
Он ломает образность слов,
он помнит затонувшие земли трагедии.
Наступает весна, дождь падает медленней.
Ночь становится прагматичной эмоцией.

Исчезнувшая страница Джейн Остин.
В салуне все танцуют, но только не Эмма.
Если обернуться, видно, как пропадает иллюзия.

В его руках вся компания.
Деревья недобро молчат на площади.
Каждый рассвет начинается с памяти,
ибо темнота оставляет глубокий след.

Это поколение называет меланхолию талантом.
Ей известны прощальные слова увядающим дамам.



Кристина ВЫСОЦКАЯ

КРОВНАЯ СВОРА

Повесть

1.

Январь заворачивал под сорок. Замерзло все: птицы в полете, плевки на лету... Любая влага на лице мгновенно превращалась в лед.

Марина бежала по железнодорожным путям, придерживая округлившийся живот, и орала, как зарезанная. Безудержные, бесконечные слезы застывали у нее на щеках, а сверху эту корку покрывали все новые потоки. Но она ничего не чувствовала и мало что понимала. Просто неслась по обледенелым шпалам, чтобы добежать наконец и убедиться, что все это — чудовищный, кошмарный сон...

У нее умер отец.

Полтора часа назад на проходную завода, на котором она работала, позвонили из больницы и сказали, что Мажар Платон Миронович скоропостижно скончался в десять тридцать пять утра. Просьба оповестить его младшую дочь Марину, потому что до старшей дочери Фаины дозвониться не удалось.

Марина в это время выдавала зарплату. Возле кассового окна гудела очередь, и Марина не сразу поняла, что ей сказали. Фраза «Мажар, у тебя отец умер» дошла до нее каким-то дальним гулким эхом. Дежурный, бесстрастный голос Тамары — вахтерши, похожей лицом на бультерьера, — сначала как будто прокатился куда-то вглубь кассовой каморки, съезжился там в противную серую крысу, — а потом эта крыса выскочила и бросилась прямо на Марину.

Марина заорала. Как городская тревога: сначала низко, как бы откашливаясь, а потом по всем нотам до самого звонкого верха. И все начало разворачиваться как в замедленной съемке. Вот она мечется по бухгалтерии. Кто-то пытается ее усадить на стул, кажется это Людмила Борисовна, потом кто-то приносит валерьянки, и еще тошнотворно пахнет валокордином. Марина все кричит. Бухгалтерию закрывают изнутри, Галина Иосифовна куда-то звонит, кажется в гараж, просит — нет, тре-

бует машину, а там, как назло, половина водителей в запое, половина в отъезде. Марина рвется уйти пешком, но это семь километров по лютому морозу, а она на пятом месяце. Потом звонят в школу, где учится Маринина дочь, но в приемной сидит тупая секретарша — или нет, трубку берет не секретарша, а Татьяна Станиславовна, ответственная за культмассовые мероприятия. Лучше бы взяла секретарша. Татьяна Станиславовна в ответ орет. Совсем оборзели! Еще не хватало десятиклассниц к телефону звать! Умер? Кто?.. Ну, раз уже умер, то и спешить некуда. А у десятых классов контрольная. По алгебре. И не звоните сюда больше! Короткие гудки.

Галина Иосифовна даже рот открыла от такого хамства.

Ой, как сейчас нужна Майя! Спокойная, собранная, непробиваемая — она надежна, как железобетонная стена. Но у Майи контрольная...

Марина говорит, что ей надо в туалет, и ее отпускают. Одну. Какая халатность! До туалета она не доходит, а медленно спускается по черной лестнице в подсобку. Там телогрейки, валенки, шапки... Она гремит в полутьме метлами и лопатами, надевает что попало под руку и задним двором бежит сначала к дороге. Но поймать попутку шансов почти нет, потому что мороз за сорок, на дворе девяносто четвертый год и все плохо. Машины тут почти не ездят, только трактора иногда...

Марина сворачивает, бежит вдоль бетонной стены, которой не видно конца. Но она эту дорогу знает: скоро в стене будет дыра, за ней можно срезать и выйти сразу на железнодорожные пути, а там километра три — и папин дом. Марина орет во все горло и, как в тумане, бежит сквозь нечеловеческий холод, придерживая живот, в котором пока еще ребенок (она его потеряет потом, в день похорон). И невозможно, невыносимо поверить, что жизнь закончилась, белый свет закончился, все хорошее для нее закончилось...

Папа умер.

2.

Папа лежит прямо на полу, в одних трусах. Рядом с ним сидит тетя Феня, папина старшая сестра. Каменная, серая.

— Мариша, всё потом... Не кричи. Надо обмывать. Кроме нас никому. Костенеть начнет — потом не оденем.

Но Марина и сама почти умерла. Она хватается ртом воздух, а его нет. И папы нет. И дом этот, будь он проклят! Это он во всем виноват! Халупа! Склеп! Ненавижу! Не могу! Не могу!!!

Тетя Феня бьет Марину по мокрым, огненно-красным щекам. Пальцы у обеих женщин стоят колом, гамаши, кажется, пристыли к ногам. Но печку топить нельзя, категорически. Наконец тетя Феня понимает, что от Марины толку не будет. Достает с полатей старое одеяло, заматывает



ее и сама берется за дело. Смотреть на это невозможно. Сначала она не может найти кусок хозяйственного мыла, потом оказывается, что в доме нет воды. С одеждой для покойника так же хреново.

Орать Марина больше не может. Она обессилела, обмякла, какдохлая рыба, и впадает в забытье. Но даже тогда мысленно, почти без участия сознания, продолжает проклинать этот дом.

Когда она открывает глаза, то снова пытается завопить. Но на этот раз концерт пресекается на корню: рядом Майя и мама. Валерьянка льется тазами. Марина стекленеет.

Тетя Феня и Майя положили деда на доски. Все нашли, все сделали. Майя договорилась насчет гроба, организовать поминальный обед в железнодорожной столовой взялась тетя Феня. На истерики и заламывание рук нет ни времени, ни сил. Надо решать вопрос с местом на кладбище. Легче достать лимузин, чем место для могилы. А самое трудное — рассказать обо всем Фее, старшей дочери Платона Мажара, которая «челноком» рыскала с клетчатым баулом где-то на Черкизовском... Как же не вовремя она уехала на свой ежемесячный «сенокос»... И когда вернется? Сколько ее ждать? Вроде брала обратные билеты на двадцать седьмое января, значит, приедет не раньше тридцатого, хорошо если рано утром. А ведь все ее отговаривали: морозы зарядили еще с начала ноября, да и Витенька плакал больше обычного — он всегда по маме сильно скучает...

О боже! Витя! Девятилетний ребенок, наверное, пришел из школы, топчется у порога, а дома никого! Майя запрыгнула в валенки, на ходу натягивая облезлую шубу, и выскочила в сенки. А там Витя стоит и плачет. Господи, умница какой — догадался к деду пойти! И ведь через депо, один, в потемках... Майя его в охапку — и в дом. Витя весь дрожит и жметя к сестре. Старая буржуйка еле греет. Ее поставили ближе к выходу, тепло от нее чисто символическое, но на Витю хватит. Тетя Феня что-то сварила на одноконфорочной плитке. Витя всхлипывает и ест. А Майя смотрит на него и повторяет про себя: «Господи, помоги нам все это пережить!» Она, как никто, знает, что самое страшное впереди. Скоро налетят шакалы.

Ночь прошла в оглушительной тишине. Только где-то на задних дворах то побрехивала, то подвывала собака. Тьма на улице непроглядная, холод нечеловеческий. Баба Ньюра подкинула в буржуйку дровишек, и та застрекотала с новой силой. Собрали все одеяла в доме, кинули на пол матрацы, надели телогрейки и легли вповалку. Майя желала одного: чтобы все поскорее уснули. Она хотела остаться с дедом один на один и поговорить.

Дед так и лежал в комнате на досках. Гроб обещали принести завтра.

Окна в комнате заледенели с обеих сторон. Собака вдалеке завывала с новой силой. И Майя тоже завывала — наконец-то, — но внутри себя,



потому что если бы она это сделала вслух, то рухнул бы дом. Рухнуло бы небо на голову. Майя сидела на деревянном стуле, которому было пятьдесят лет и который она впоследствии сохранит и, более того, — чудесным образом вывезет в Грецию. На этом дедовском стуле она за одну ночь повзрослела, наверное, на целую жизнь.

«Деда, почему так? Ты, кто больше всех из нас достоин жить, — умер. А вся эта сволота — живет...» И, кстати, завтра с утра начнет сползаться сюда, как гады пресмыкающиеся. И в доме будет толпа, истерики, слезы, брань... А так хочется побыть с дедом вдвоем, повспоминать все хорошее и даже не очень. Как, например, еще в сопливом детстве Майя залезала к нему на колени и расчесывала усы. А усы у деда знатные, пушистые, густые... Или вот еще ясно вспоминается: лето на дворе, дед курит сигарету, и руки у него большие, изработанные, ногти выпуклые с бурой обводкой, пальцы пахнут махорочкой, деревом, полем, и сам дед пахнет так же. И этими запашистыми руками он достает из кармана пряник и протягивает Майе! Таких пряников больше нет и не будет никогда. Это настоящее лакомство, нежнейшее, душистое. Сейчас такого не делают, в нынешней, постперестроечной стране...

Еще Майя помнит, как она сидит в огороде на маленьком столике, старательно его распахивает, мама и Фая солят огурцы. Жара палит, дедушка и бабушка ругаются в ограде*. Дед ласково, но громко просит бабушку:

— Мать, ну отруби курице голову!

Та энергично отзывается:

— Да етить твою за ногу! Мы с тобой двадцать лет прожили — я рубила им бошки, не живем двадцать — опять мне рубить!

— Ну мне же их глаза потом сниться будут! — выпускает дед тяжелую артиллерию.

Мама и Фая смеются, и Майя тоже. Она смеется больше над смехом Фаи: он со всхлипами, взвизгами, вздохами.

Дед был прекрасен всегда! Росту в нем почти два метра, глаза небывалые — оливкового цвета, вытянутые к вискам, как абрикосовые косточки, скуластое лицо, косая сажень в плечах — красота в каждой черте! Он неземной, как актер с плаката. Даже лучше! И вот этот большой и сильный человек всю жизнь боялся обидеть самую маленькую козявку и никогда не колот домашний скот. А если попадал в кабинет к зубному, то сразу падал в обморок.

Майя любила летом в послеобеденный сон уговорить деда полежать с ней. Комната была крошечная. Два облезлых оконца, кровать с пружинами — целый аттракцион, стол со старой клеенкой, обтрепанной по краям, и шкаф — особенный, старинный, маленький, но вместительный.

* Ограда — здесь: часть деревенского двора, где находятся хозяйственные постройки, инвентарь, поленница и т. п.



У изголовья кровати печка с полатями. Дом был умный: зимой хорошо держал тепло, а летом прохладу. И когда все уходило во двор, или в магазин, или еще куда — в деревне дел всегда вагон, — Майя просила:

— Деда, полежи со мной! — и залезала на высокую кровать.

И дед сдавался. Бросал свои мигом ставшие не важными дела, подтыкал маленькую Майю под бок, как зайца, и они лежали и дышали друг другом.

От пятилетней Майи пахло все еще младенческой сладостью, детством, цыплячьей наивностью. Она что-то рассказывала деду, какую-то свою детскую ерунду, а он смотрел на нее и видел черты чужой крови. Хоть и носила она фамилию Мажаров, но внешность, характер и сердце ее были от другой семьи. И та семья, и та кровь были сильнее, горячее, добрее. Как хорошо, что Марина родила эту девочку в девятнадцать лет! И плевать он хотел, что не в браке, и вообще плевать от кого. Не надо было выяснять родословную, чтобы понять, что ребенок получился изумительный. Дед Платон, пожалуй, был тогда единственным, кто поддержал Марину и даже настоял на этом ребенке. И Майя Мажар, рожденная вопреки всему, зажила.

— Деда, а переезжай к нам! Мы вас с бабушкой вместе поселим в ее комнату и будем вам пироги печь. Ты тут совсем один. И нам плохо без тебя... Только бабушка храпит сильно. Когда она с нами спит в одной комнате и начинает храпеть, мы с мамой в нее сначала мои колготки кидаем, потом носки, потом покрывало с кресла... А когда все тряпки заканчиваются, то просто орем. Она хрюкнет — и дальше храпит, а нам вставать-то неохота... Но если захочешь, то мы ее к себе в комнату заберем, а тебя поселим отдельно. Давай?

И Майя смотрит на деда своими пока еще карими, не почерневшими глазами и улыбается. До безумия красивый ребенок.

— Тут, пчелка, понимаешь, в чем дело... Мама у тебя еще молодая, ей надо личную жизнь устраивать. Молодые не должны со стариками жить. И бабке нечего делать с вами, у нее своя конура есть. Вот пусть уматывает к себе и там храпит. Ишь ты!

Майя смеется. Она знает, что, хоть дед и баба давно не живут вместе, они все равно прочно слеплены навсегда. И даже когда бранятся, то тешатся.

Дед рассказывает Майе, как он работал на паровозе во время войны. И как строил с отцом этот дом, надорвался и чуть не умер. И как ездил в роддом к Марише, когда родилась Майя. И какая она маленькая была, даже до двух килограммов не дотягивала, а сейчас вон какая выросла! Майя слушает внимательно. Дед рассказывает интереснее всех на свете! И она уже в дреме слышит, как бьется в окно ветка, кричат на улице какие-то мальчишки, калитка скрипнула — мама вернулась из магазина... Кошка Мурка, еще совсем котенок, мурлычет под ухом. И такая сладость

в самом воздухе, потому что воздух этот идет от деда, от его голоса, от его духа. От дома.

— Деда, расскажи про Мирона и Марьяну, — просит Майя, засыпая.

— Пчелушка, я тебе рассказывал уже тыщу раз.

— Ну-у-у расскажи-и-и, — тягуче настаивает Пчелушка. — Только с самого начала!

Дед поправляет Майе подушку, потому что знает, что она уснет во время рассказа, делает знак Мурке, чтобы не драла когтями тощий ковер на стене: «Маюшку разбудишь!» Каждый раз, когда он начинает эту историю, в нем колышется маятник воспоминаний, большие волны и мелкие барашки жизни, которую он прожил. Прожил не так, как хотел, но, может, именно так, как нужно было... Ну кто сейчас скажет...

3.

— В девятьсот шестнадцатом году, когда Мирону было восемнадцать лет, он взял у отца револьвер и пошел воровать свою будущую невесту Марьяну, которой было всего-то шестнадцать... — начинает дед.

Да, все было именно так. Молодой, горячий казак Мирон Мажар стащил у отца револьвер и пошел за Марьяной. Зачем револьвер? Ну, для солидности! К сватовству он подошел творчески — невесту украл. Сунул ее в мешок, перекинул через седло и привез к себе в сарай. Невеста во время этого мероприятия вела себя удивительно тихо и даже как будто равнодушно. Когда же Мирон снял с Марьяны мешок, она спокойно стряхнула с волос мучную пыль и встала во весь рост, а роста-то в ней было, по нынешним меркам, не много — едва метр шестьдесят.

— Зачем в мешок? Я и сама за тебя пойду.

В просветы между досками пробивался бешеный закат и покрывал миниатюрную Марьяну рыжими полосками.

А потом маленькая красавица — раз! — и скинула сарафанчик на солому, а под сарафанчиком ничего нет. Хотел невесту — получи. Мирон онемел, голова закружилась, вот-вот сознание потеряет, а потом тело разом отвердело: кровь хлынула в голову и во все места, куда надо. Тут, на стеленной соломке, они и поженились.

А через девять месяцев Марьяна родила мертвую девочку. Мирон с горя бился лбом в стену, а Марьяна даже смотреть на ребенка не стала. Попросила убрать и чтобы никаких могил и причитаний. Мирон тайком похоронил Ксению (такое имя он дал мертвой дочери) за лесом у пасеки. Марьянина мать Нур, болгарка сербского происхождения, перекрестилась и заплакала. Она знала, что дочь не в нее пошла, с таким-то железобетонным характером. Как будто без сердца.



Во время русско-турецкой войны казак Прохор Галкин штурмовал Плевну вместе с румынами, потом город взяли в осаду, на измор, и наконец вошли в него. Бери что хочешь! Но брать было особо нечего: пусто, мертво, голодно. И взял двадцатидевятилетний Прохор оттуда себе в жены девочку пятнадцати лет.

Она была красоты неземной. Глаза зеленые, с переливами, и вытянутые, как абрикосовые косточки, брови ласточкиными крыльями — вразлет. Волосы чудные: верхние пряди золотые, как пшеница, под ними каштановые, а совсем внизу — почти черные. Заплетала она их — будто ковер плела разноцветный. Кожа смуглая и зимой и летом. А какие губы чувственные! Когда говорила, то словно сама любовь у нее на губах играла. И Прохор сошел с ума от любви. Одурил от своей юной девы. Сам-то он был как сталь, как гранит, жестокий и буйный, ни одна девка к нему не решалась подойти: бешеный. А как увидел Нур — тоненькую, смуглую, с оливковыми глазами, покрытую разноцветным ковром волос, — так и упал перед ней на колени.

Она стояла, шатаясь от голода, возле крепостной стены, истощенная до крайности. Рядом с ней лежали мать и младшая сестра, обе мертвые и такие худые, что каждую кость было видно, будто кусок кожи набросили на скелет. Свою смерть Нур, гордая и смелая, решила встретить стоя. Мол, на колени она не опустится, и делайте с ней что хотите. А Прохор взял ее руку, больше похожую на веточку, и едва коснулся губами:

— Луна моя, заберу или умру!

И забрал. Привез юную красавицу домой, в Мысовые Челны*.

Сложно сказать, любила ли она его, но была ему бесконечно благодарна. За то, что спас. За то, что достал бог знает где жидкого меда, когда Нур потеряла сознание от истощения и не могла двигаться. Потом почувствовала на губах что-то влажное, сладость пошла в желудок, и, худо-бедно, жизнь вернулась. И еще была благодарна, что он-то любил ее больше жизни.

Двадцать лет она рожала ему нежизнеспособных детей. Семерых сыновей выносила, и все умерли. Никто ничего не понимал. Носила хорошо, рожала чудо как легко, а как родит — ребенок тут же умирает. Говорили, мол, оторвал ее от родной болгарской земли, силой увез — вот и получи... Прохор лез на стены, сатанел, но не переставал молиться на живот любимой жены, а она плакала и просила у мужа прощения.

На границе веков случилось чудо. Родилась живая девочка. Отец и мать так растерялись, что не знали, с какой стороны подойти к ребенку и что делать. Девочка была хоть и маленькая, но крепкая, жилистая и подвижная. А как был счастлив Прохор, что дочь похожа на красавицу Нур! Даже еще красивее, что ли. И смуглость, и зеленоглазость, и миниатюр-

* Мысовые Челны — село на Нижней Каме, впоследствии вошедшее в состав города Набережные Челны.

ность были материнские, а вот характером Марьяна пошла в Прохора. И даже превзошла отца в жесткости. При всей ее немыслимой красоте ни один парень в округе не решался посвататься: она как посмотрит своими нездешними глазами — кровь стынет в жилах.

Только один Мирон, с револьвером и мучным мешком, решился отвоевывать будущую жену у нее самой. Он любил ее давно и крепко, так же сильно, как Прохор любил Нур. И когда Марьяна в сарае скинула с себя сарафанчик — глазам не поверил: да она ли это? И пропал в ее горячести, власти, в ней самой пропал. Второй раз обомлел при виде ее стального равнодушия после рождения мертвой дочери. Как же дальше жить с ней, с такой женой? Вчера еще была огнем, а сегодня от нее могильным холодом веет... А Нур перекрестилась: думала, что начнется череда мертворожденных детей. Но следующий ребенок родился только в двадцать первом году. Опять девочка.

— Ну что? — равнодушно спросила Марьяна.

— Живая, — шепнула Нур и взяла на руки оружий комок. — Назову София в честь моей матери. Царица моя, смуглянка моя...

Нур не пришлось увидеть, какой матерью будет Марьяна. Через неделю после рождения Софии Нур умерла. Заснула и не проснулась. Прохор не смог пережить смерть любимой жены. Он на руках донес ее до кладбища. Не позволил никому присутствовать. Сам похоронил свою неземную любовь, и с каждой горстью земли, брошенной в могилу, терял жизненные силы. Потом лежал, распластавшись на могиле, не мог даже пошевелиться. Так и уснул навсегда, обнимая свою Нур, и в гробу укрытую чудным ковром волос, который с годами не потускнел. Мирон похоронил его рядом. Поставил могучие кресты, чтобы все знали: тут покоятся великие люди.

В это же время на Волге начался страшный голод. Южная Украина, Башкирия, Казахстан, Западная Сибирь, Крым выли от голода. Страну, измученную революцией и Гражданской войной, добивала небывалая засуха. Вымирали целые губернии. Трупы валялись на улице, их просто некому было хоронить или хотя бы сваливать в овраги. Надо было бежать. Марьяна понесла в третий раз, и Мирон не стал ждать, когда грудная дочь и беременная жена умрут с голодухи. Решили идти на Средний Урал. В телегу собрали сменные тряпки для ребенка, оставшийся хлеб завернули в рубаху Мирона, а соты (все, что осталось от пасеки) Марьяна сложила в туесок. Больше брать было нечего. Чудом сбереженные лошади и две коровы были драгоценнее бриллиантов и жемчугов. В путь отправились затемно, иначе голодные соседи отняли бы скотину и съели с рогами и хвостом.

Два месяца двигалась маленькая семья через леса, чтобы, не дай бог, не попасться кому-нибудь на глаза. Один раз Мирон пробрался в какую-то деревню и украл мешок овса для лошади. Если бы кобыла подохла, ему

пришлось бы самому впрягаться в телегу, а сил было мало. Чтобы девяти-месячная девочка не умерла с голоду, Марьяна жевала хлеб, заворачивала его в тряпку и засовывала в маленький голодный рот. Соты девочка тоже научилась сосать. В лесах попадались ягоды и грибы, Мирон отрывал от березы кору и жевал ее. Коровы доходили с голоду, молока не давали, оскелетели, но послушно брели вперед.

Дальше к востоку начали попадаться деревни, в которых голод был не таким свирепым. Там странникам выносили вареную репу и картошку, травяную, козье молоко. Это было подарком от Бога.

К концу второго месяца, когда сил, казалось, уже совсем не осталось, путники услышали стук колес поезда. Железная дорога вывела в поселок, а потом на станцию. Удивлению Мирона не было предела. Тут шла торговля, и довольно бойкая, люди ходили твердо, а не шатались, обессилев от голода.

— Где мы? — растерянно спросил Мирон у проходившего мимо мужика.

Тот пристально оглядел путников. Увидел, что они истощены и едва стоят на ногах.

— Это поселок Талица. На Талых Ключах. Станция Поклевская. А вы кто? Откуда?

— С Волги. От голода бежали.

Мужик охнул.

— Неужто сами дошли?! Мы слышали, какой в тех краях мор. Боялись, что к нам нахлынут...

— Не нахлынут. Некому уже. Почти все вымерли.

— Да-а-а... — протянул мужик, рассматривая полумертвую Марьяну с исхудалой Софией на руках. И скомандовал: — А ну, пошли со мной!

На станции Мирона взяли на работу помощником машиниста. Начнись, мол, сначала уголек в топку кидать, а там посмотрим. С местом жительства тоже определилось. Село Горбуновское приткнулось своим богатым зеленодольем к развивающемуся поселку. Пустовавшую избушку у края леса и заняли Мажары. Мирон каждый день ездил на лошади в депо за десять километров, а Марьяна носила живот. Ей удалось при этом поднять огород, сладить кое-какое хозяйство, она следила за Софией, которая только начала выправляться после голодухи. Люди вокруг жили сердобольные, нежадные. Помогли поначалу кто чем мог: принесли что надеть, что поесть, на чем поспать.

Когда Мажары приехали в Талицу, в девятимесячной Софии было четыре с половиной килограмма и она напоминала сморщенную куклу, а беременная Марьяна весила тридцать пять килограммов, но красоту сохранила.

Помимо первой мертворожденной девочки, которая осталась лежать в волжской земле, Марьяна за свою жизнь родила еще тринадцать детей:



девять девочек и четырех мальчиков. Трое родились в Великую Отечественную войну, и все не только выжили, но и вымахали, повзрослев, под два метра ростом.

Марьяна оказалась прирожденной хозяйкой. Характер у нее был страшный, но еда волшебной. Оставаясь до конца дней маленькой и подвижной, она листами пекла шаньги и пироги, ведерными кастрюлями варила супы, в русской печи постоянно тушилось и жарилось что-то мясное, на печке настаивалась умопомрачительная травянуха. При такой большой семье отдыхать некогда. Скотины паслись целые стада. Чистота в доме была стерильная. Никогда дети Мажаров не ходили сопливые или с нестриженными ногтями. Каждый из них, идя в школу, получал с собой картофельную шаньгу и стеклянную бутылочку молока. И все они были по-своему красивы, кроме одной... Балканская кровь Нур так или иначе проявлялась в них.

Но самым красивым, копией своей сербской бабки, был Платон — первый из мальчиков и самый нелюбимый матерью из всех детей. Характером он пошел в отца: святой, и все. В тридцатом году, уже после Платона, родился сын Василий, а в сорок первом, сразу после начала войны, — дочь Александра. Вот эти трое, отвергнутые Марьяной, будут любить ее больше остальных. Как это часто и бывает.

4.

Александра, по-домашнему Шура, умерла в семьдесят четвертом от костного туберкулеза. Болезнь эту в те времена лечили не профессионально, а как придется. Когда Шура слегла, Платон почти не отходил от нее.

— Платоша, ты ведь знаешь, что не туберкулез меня убивает. У меня другая болезнь. Я больше не могу. Вчера приходили Мира и Тая, — Шура откинула одеяло, и Платон задохнулся: ноги у нее были синие, как будто их били палками. — Говорят, мама попросила: больно долго мучаюсь. А я вот думаю, разве мама могла? Она святая у нас, героиня...

Шура не плакала — слезы сами тихо катились по щекам. Такая молодая — и совершенно не счастливая. Ни при жизни, ни перед смертью. В детстве ей перепадало не меньше, чем Платону и Василию. Мира и Тая, любимые дочери Марьяны, сил на издевательства не жалели. В пятидесятом затолкали ей в ухо карандаш. Тонкая, но уверенная струйка крови брызнула наружу. Шура вскрикнула и заплакала:

— Мама, мамочка...

Но сестры заткнули ей рот:

— Не ори! Будешь орать — на вилы наденем. И Платона твоего с Васютой. Поняла?

Шура не поняла, потому что в ухе жгло и гудело в голове. Она даже не успела ужаснуться происходящему. Не могла поверить, что так бывает. Но с тех пор совершенно оглохла на левое ухо.



Потом она выросла, чернобровая и черноглазая. Добрейшая до идиотизма, готовая всем прийти на помощь. Когда родилась Фаина, а потом Марина, Шура не вылезала от Платона. Мыла, стирала, готовила. Девочки выросли у нее на руках, она их любила как собственных, может, потому что своих не родила. Так и прожила невинной девой. А Фаю и Мариша звали ее «мама Шура». Ньюра, их мать, на нее молилась, потому что не умела вести дом, более того — даже ненавидела это занятие. Коровы у нее стояли не доены и жалобно мычали, в ограде ваннами скисали грибы и ягоды, мясо в погребе гнило. На плите присутствовал всегда одинаково невкусный и нестерпимо жирный суп. Фаина, которая сметала все подряд и была неприхотлива в быту, до поры не замечала, что непорядок творится не только на плите, но и в отношениях родителей. А вот младшая, Марина, тонкая и прозрачная, воздушная, как эльф, сердцем чувствовала холод неопрятного дома. Особенно сильно сердце болело за папу. Иногда он сажал девочек к себе на колени и начинал петь песни, громкие, сильные, словно выворачивал душу наизнанку. Песни те были о Волге, о свободе казаков-галок*, о бескрайних просторах и, конечно, о любви. О любви, которой в их семье не было. Вечно жующая Фаина переставала двигать челюстями и застывала, а Марина тихонько плакала вместе с отцом. Папочке любимому тяжело — значит, и она страдает.

А потом приходила Шура, и девочки бежали наперегонки, чтобы прыгнуть и повиснуть у нее на шее.

— Девоньки мои, ластоньки мои летят! — Шура сгребала их в охапку и вдыхала запах: от Фаи несло чем-то ядреным, сладким до одурения, а от Мариши, как от ангела невесомого, веяло полевым, пшеничным ароматом. Потом Шура втягивала носом домашний воздух. — Гм... А чем у вас так пахнет нехорошо?

Она снимала свою короткую пятнистую шубку, выпрыгивала из валенок.

— А это у нас суп прокис и воняет, — бойко докладывала Фаина, не переставая жевать, на этот раз корку хлеба.

— Да нет же, другим пахнет, — Шура не успокаивалась и все нюхала дом.

— Куры ночью возле подполья были, а утром мама их в сени выгнала. Они насрали, а мы с Маринкой в подполье все смели.

— Господи... — тихонько вздыхала Шура и выкладывала из кошелок продукты. Начинать надо было с обеда, а потом все остальное. Дети голодные.

Детей она выкормила, а они потом выкармливали ее. Когда Шура слегла, Фаине минуло двадцать, она оканчивала педагогическое училище

* Галки — прозвище казаков в некоторых волжских и донских станицах. Отсюда и фамилия Прохора, отца Марьяны, — Галкин. — Прим. автора.

в Камышловле, а в Талицу приезжала на выходные. Марина только что завершила восьмилетку. Дохаживала тетку в основном она. Они с отцом перевезли Шуру к себе, и Марина почти никого в дом не пускала. Вечерами они с теткой сидели при слабом свете, много разговаривали, случалось — на пару плакали, тихо и обильно.

— Я, Мариш, не хочу, чтобы они надо мной, как коршуны, глумились. Не пускай никого на похороны. И маму не надо. Васюша бы приехал еще повидаться — и все, можно уходить. А вашей маме Нюре передай, чтобы не ленилась вам готовить. Тебе и папе кашу надо по утрам: у него диабет, у тебя желудок. Детки мои...

Шура умерла во сне. Марина не спала — как чувствовала. Тетка глубоко вздохнула, вытянулась и ушла. Хотелось думать, что там ее встретила Нур, которая отлюбит ее за всю материнскую холодность. И еще дай бог, чтобы там Шура слышала и левым, и правым ухом.

Брат Вася не приехал на похороны сестры. На телеграмму не ответил и вообще как-то пропал в своем Забайкалье. А через семь лет пришла телеграмма от его сына Олега, подающего надежды математика. В телеграмме сдержанно и бесстрастно сообщалось о смерти Василия Мажара: «Папа повесился оставил записку больше так не могу олег». А как «так»? Теперь только один Бог знает. Марина сидела с телеграммой в руках, и у нее не было сил даже заплакать. Господи, какой абсурд происходит! Какой ужас, какая бессмыслица... И конца этому не видно.

Она подошла к окну, открыла его. В комнату ворвался азартный весенний ветер, разметал по комнате Майкины рисунки. Одноухий кот и осел, отдаленно напоминающий енота, вылетели на улицу.

Майе уже исполнилось три, они с дедом гуляли в палисаднике возле дома.

— Деда, лисульки летят! Коть летить!

Кот дал еще кругая и приземлился в лужу. Марина закрыла окно, мелко порвала телеграмму и кинула в печку. Не сказала никому. Если бы папа узнал — его бы хватил удар. Пусть думает, что у Васи просто нет возможности написать. Звонить-то некуда. Все равно что пропал человек. Да, все так.

5.

Олег, сын Василия, приехал только в восемьдесят четвертом, на похороны бабки Марьяны. Марина увидела, что в дверном проеме стоит какой-то мужик в драном пальто и стоптанных ботах. Мужик был вроде свой, но Мажары не ходят в таких отрепьях. Мажары даже к скотине в хлев одеваются прилично.

— Олег, ты, что ли? — Марина в последний раз видела двоюродного брата в шестьдесят восьмом, ему тогда было восемь.



Потом Вася присылал письмо с фотографиями единственного сына. Олег тогда показался и Марине, и Фаине каким-то невзрачным, длинноносым, каким-то «ненашенским». А сейчас Марина узнала его по глазам. «Абрикосовые косточки» Нур вытянулись к вискам и, казалось, сдавливали переносицу.

— Что с тобой? — Марина тянула его в комнату, но он упирался и пятился обратно к дверям.

— Людно там, Мариша. Не хочу.

Они вышли в мартовскую тягомотину. Под ногами чавкало, в воздухе завывало так, что душу выворачивало наизнанку. Олег никак не мог раскурить сигарету.

— А где Фая?

— А Фая беременная.

— Замуж вышла? — Олег вроде обрадовался и удивился.

Марина устало махнула рукой:

— Какое там замуж... Да что же это мы! Пошли на папину половину. Он там с мамой и Майей.

— С мамой? С Нюсей?

— С какой Нюсей? — не поняла Марина.

— Ой, Мариша... если бы ты знала...

Олег поднял воротник своего тощего пальто. Сигарета его вымокла, и он бросил ее под крыльцо. А Марина, предчувствуя неладное, вся нахохлилась как птица, приподнялась, готовая к удару. Но Олег съехал с темы.

— Ладно, Мариш, пойдем, с бабкой Марьяной попрощаюсь. Хотя и ненавижу ее. Ведьма... — Он бы еще покрепче оскорбил имя матери-героини, но Марина жестом попросила его замолчать.

На половине Марьяны и покойного Мирона было не протолкнуться. Кто-то из родни тихо всхлипывал, кто-то рыдал в голос. Больше всех надрывались Тая и Мира. Опухшие от горького плача, они держались за головы и не переставая раскачивались над гробом. Старшая дочь Марьяны, София, как старая сова, молча сидела в углу, наблюдая весь ритуал своими большими глазами. Моргнуть боялась, чтобы, не дай бог, не упустить и самой малой детали этого представления. Она была единственной, кто вернулся на историческую родину — в Набережные Челны. Жила там одна, без семьи и детей, любила одиночество, тишину, абсолютный покой. Постоянное многолюдство, жестокосердная мать, покладистый отец и не любовь как образ жизни этой огромной семьи — нет, такого ей и даром не надо. И сейчас она диву давалась, как разрослось семейство, сколько новых детей народилось, сколько новых имен и судеб, но одно было неизменно: все эти люди по-прежнему не любили друг друга. А то и ненавидели.

София бы даже на похороны собственной матери не явилась, но Марина, которая упорно держала с ней связь, отправила телеграмму с

сердечной просьбой приехать проститься с Марьяной. И сейчас, заметив в дверном проеме Марину с каким-то смутно знакомым мужиком бичеватого вида (Олега она до этого видела только на его детской фотографии), София поднялась со стула, распрямилась во весь свой гулливерский рост — а было в ней почти метр девяносто, ее в семье так и звали всегда — Сонька-великан — и в два шага подошла к ним. Спокойная и огромная, как скала, она встала позади них. Очень странно выглядела эта компания: тонкая и бледная Марина, почерневший Олег в обтрепанной одежде и София, как мать-орлица обнявшая их за плечи.

Так они и дошли до кладбища, тесной троицей. Так же спокойно стояли, пока Тая и Мира бились головами о крышку гроба.

— Соня, надо землю бросить в могилу, — Марина снизу вверх посмотрела на тетку, но та не шелохнулась.

— Все надо по любви и от любви, Мариша. А я мать никогда не любила. Я даже не могу сказать, что я ее ненавидела. Ненависть — это ведь тоже чувство, и очень мощное. Мать мне чужая. Просто тетка, у которой я до двадцати лет была в наемницах. Ехали на мне всем кагалом. Смотрю на этих уродов, и такая жуть меня берет, что они мне кровные... Это же свора какая-то! Друг другу глотки перегрызут и не охнут.

София замолчала. Молчала долго, многозначительно, как будто готовила важную речь именно для Марины.

— Я сегодня вечером уеду, у меня билет в Челны. Тошно мне тут. И мы с тобой больше не увидимся... Береги отца, он святой. Охрани его от этих шакалов. И молчи, Марина, молчи! Не хочу ничего слышать про семью. Нет никакой семьи. Есть кровная свора. Марьяна во всем виновата, страшная бабка, ведьма! Она как проклятье на роду. Сама посмотри: кто счастлив? Всех искалечила... И помяни мое слово: всех их ждет страшная смерть. Я все думала, что Марьяна в муках помрет, а она так легко скончалась... Значит, дети и внуки маяться будут.

Маринина память записывала каждое теткино слово, как скрижали завета, и жуть брала от этих пророчеств. Рядом топтался непутевый, неприкаянный Олег, которого, кстати, следовало сегодня покрепче взять за горло. Пусть рассказывает все, что знает. А он что-то знал, определенно. Что-то темное, но важное. Но это потом, позже...

На могилу водрузили могучий крест. С одной стороны креста стояла Рита, по-домашнему — Марго, с другой — ее сестра-близняшка Беата. Несмотря на внешнюю схожесть, эти две дочери Мирона и Марьяны совершенно различались характерами: Марго — злая, эпатажная, а Беата — тихая, словно невидимая.

Мира и Тая картинно распластались на свежем холмике, уже припорошенном слякотным мартовским снежком. На корточках возле могилы сидели и курили Тихон и Андрей.

Платон с Нюрой и Майкой, слава богу, остались дома. Марина утром рухнула перед отцом на колени и умоляла его не ходить, не



рвать душу. Она смотрела в заплаканные отцовские глаза и кричала навзрыд:

— Папа, умоляю! Оставайтесь с Майкой и мамой дома. У-мо-ля-ю!

Майя скакала вокруг матери, подвывая ей в тон:

— Мама, мы останемся! Не плачь! Деда и баба со мной посидят.

А ты иди...

Ах ты, Маюшка, лапочка моя хорошая! Спасительница. Выручила. Хоть тут Марина могла быть спокойна.

Феня стояла чуть в стороне. Ее держал под руки Николай, муж покойной сестры Лады, которая в шестьдесят пятом в возрасте двадцати восьми лет умерла от сердечного приступа, оставив на руках у мужа двух малолетних детей. Сейчас дети выросли, но на похороны к бабке ехать отказались. Воспитывались они мачехой, в общем-то неплохой женщиной, и плотно прибились к ее семье, менее людной, но куда более сплоченной и дружной. А вот Николай не приехать не мог. И ехал он из Свердловска не к Марьяне, а к Фене, чьей твердой рукой Ладушка и была сосватана за своего будущего мужа. Когда Лада умерла, оставив пятилетнего Александра и годовалую Галю, Николай за одну ночь поседел, постарел, сгорбился. Дети бы так и росли без родительского пригляда, но Феня крепко тряхнула зятя за плечи:

— Прекращай горевать! Два года прошло, Санька с Галей все по твоим сестрам мыкаются. Сколько можно? Женись!

— На ком? — вид у Николая к этому времени стал совсем никуда. Борода росла неопрятными клочками, волосы грязными патлами падали на ввалившиеся глаза, обломанные ногти бурые от грязи.

— На женщине, — отрезала Феня.

А потом с ее же помощью появилась эта медведица — Валентина. Медведица не медведица, а детей быстро забрала в дом, который потом еще бог знает сколько приводила в порядок. Отмыла и Николая. Феня успокоилась: племянников пристроила. Через какое-то время Николаю предложили должность главного инженера, и не где-нибудь, а на «Уралмаше», и в семидесятом семья уехала в Свердловск. Валентина основательно держала дом и детей, к мужу относилась как к еще одному ребенку, но уважала, восхищалась его умом и талантом. А он был ей благодарен за то, что силы в ней было немерено и заботы ее хватало на всех. Сам же любил свою Ладушку до конца жизни, ибо такая любовь не умирает с человеком.

На поминки София не пошла, с кладбища сразу поехала на вокзал.

Она ошиблась: с Мариной они встретились еще раз — в девяносто восьмом году. Марина и Майя ехали ее хоронить. Но София их дождалась, хотя сильно мучилась — диабет сожрал обе ее ноги. В больнице она бы сгнила окончательно, но племянница с внучкой забрали ее домой, в

однокомнатную полупустую квартиру. Марина диву давалась, как тетка прожила таким аскетом. Даже стул был единственный. Дома Софию помыли, обработали пролежни, постригли волосы и ногти, и вонь перестала быть такой ужасающей.

Пока Марина приводила тетку в божеский вид, Майя скакала по городу как ненормальная. Она как будто с ума сошла — неистово искала могилу прабабки Нур и прадеда Прохора. Конечно, город был весь перестроен и перепахан за прошедшие семьдесят с лишним лет, какое кладбище и где было там в двадцать первом году... Но Пчелушка была бы не Пчелушка, если бы отступила. Рванула в Музей истории города, где раньше работала София; там старушка, в чем только душа держится, выслушала немыслимую историю Прохора и Нур и повела Майю на Боровецкое кладбище. И они нашли две могилы, вполне ухоженные. Галкины Прохор Наумович и Нур лежали рядом. Майя остолбенела. Что же это: она, Майя, героически носилась по городу, чтобы найти хоть какую-то зацепку, а София, выходит, всю жизнь ухаживала за могилами деда и бабки?

— Вот я идиотка! — Майя села на скамейку возле могил. — У Сони не спросила... А она все знала.

Музейная старушка смотрела на юную особу с «ласточкиными» бровями и ничего не понимала. А особа опустила на корточки и долго сидела так, перебирая пальцами высушенную кладбищенскую землю. Такая пропасть лежала между Майей и ее пращурами, прожившими жизнь, казавшуюся ей абсолютно мифической и оттого еще более великой. Она никогда не видела Нур, ничего от той не осталось, но красавица с зелеными глазами и цветным ковром волос, несомненно, была сейчас рядом, может даже стояла за спиной Майи, под покровительством мужа, могучего Прохора, и считала, что все не зря. Главное, чтобы все наши страдания были не зря...

София умерла через три дня, смерть приняла мужественно, молча, с тихой улыбкой. Майя была рядом. Марина не могла — душили слезы. Она тихо выла на кухне, сидя на корточках. Больше сесть было не на что.

София не просила похоронить ее рядом с предками: Марина и так знала это ее желание и все сделала как надо. Стоя рядом со свежим холмиком, мать и дочь, в которых внешнего сходства не было ни грамма, трепетно прислонились друг к другу.

— Ты знаешь, мам, она ухаживала за могилами... то есть она знала, где Прохор и Нур лежат. А я, дура, по городу прыгала... Не догадалась у нее спросить. Почему, а?

— Потому что ты побоялась. Ну и плюс твое вечное непримиримое «я все сама». Но она знала, что мы все сделаем правильно. Ей там хорошо с ними. Спи, мученица наша. Спи...

Надо было решить вопрос с квартирой. Завещания София не оставила, прямых наследников у нее не просматривалось, да и сил на выяс-



нение юридических тонкостей у Марины тоже, честно говоря, не было. В итоге квартира осталась пустовать. Кто-то в ней жил, выселялся, снова жил... Потом дом пришел в аварийное состояние, и его снесли. А дальше произошло что-то совсем не свойственное для тогдашней, бодро шагающей в капитализм, России. На его месте построили не бизнес-центр, не магазин и не развлекательный комплекс, а храм. Его золотые шпили упирались в небо, а перезвон колоколов слышал весь город. И думается, что не только город, но и прадеды *там* тоже покачивали головами под эту святую музыку.

6.

История, которую дед рассказывал Майе, была другой — легендой о великой любви, о большой и дружной семье. Платону Мироновичу самому хотелось верить, что такое возможно, и возможно с ними, а не где-то далеко. К тому же он знал, что, когда Майя вырастет, все семейные помой выльются на ее темноволосую голову. А она, несомненно будущий борец за правду и справедливость, станет бросаться грудью на амбразуру. И ведь зашибут, как пить дать, зашибут девочку...

Он не знал, что внучка вырастет бульдозером, броневиком, вездеходом, локомотивом... что там еще в списке пуленепробиваемых? Но все это будет потом, а сейчас маленькая розовощекая Майя дремала у деда под боком, а под боком у нее дремала кошка — вечный «трактор» Мурка. И что бы такое придумать, чтобы это тихое счастье длилось пусть не вечно, но долго и чтобы его на всех хватило?..

Платон жалел, что Майя так и не узнала прадеда Мирона: не видела его, не разговаривала с ним. А им было бы интересно вместе. Мирон был если не святой, то наверняка близкий к Богу. Даже странно, как он прожил с Марьяной столько лет, столько детей родил... И вопрос, который не давал Платону покоя всю жизнь: была ли там любовь? Как будто бы нет, но что тогда? Как назвать их жизнь? Или это были люди из другого теста, из другой глины? Материалы раньше, и верно, были другие — крепкие, под первым дождиком не размокали, от жара не трескались, не разваливались. Это сейчас семьи — до первой ссоры, чуть что — и всё: она к маме, он к папе... Но, с другой стороны, Марьяна, мать, взяла и разделила своих детей: вот этих люблю, а тех ненавижу. А отцу как быть? Ему всех любить надо, а тех, кто без материнской ласки остался, любить вдвойне, изо всех сил. Он всегда знал, что у Марьяны есть внутренний надлом, который, как трещина во льду, становится больше и глубже. Ее отец, Прохор, был мужиком суровым, жестоким, буйного нрава, но когда он встретил Нур, то белый свет для него померк, все светила погасли, осталась только одна балканская звезда, и могучий воин посвятил свою жизнь единственной женщине и умер от горя на ее могиле.



Мирон тоже любил Марьяну, любил за красоту, за гонор, за гордыню, за хозяйственность... Да много за что. Любил ее за детей, а потом за них же стал ненавидеть. Он всегда гордился, что из всего околотка Марьяна выбрала именно его. А он что, он тоже был хорош собой. Кудри мелким бесом, белокурый, голубоглазый, бравый; правда, роста не много, не досталось широты плеч, могучего баса, но зато было много Человека, качественного, настоящего. И то, что он не ушел от Марьяны, когда она родила Таю, это подтвердило. Мирон ошалел, когда увидел ребенка. То, что это не его дочь, он понял сразу, и не потому, что внешнего сходства никакого: мало ли детей не похожи на родителей, хотя родство между ними несомненное. Тут же Мирон нутром почувствовал, что эта косенькая уродливая девочка не имеет к нему никакого отношения. Он даже не стал искать в округе хоть сколько-нибудь похожего мужика: это было низко и не по-мужски. Ребенок не виноват. Но потом, когда Марьяна вцепилась в этого уродца и тряслась над ним так, будто это ее единственное дитя, а других нет, Мирон взбеленился. Тот удар кнутом по щеке был в их совместной жизни единственным, а стал решающим. Марьяна притихла, но с тех пор начала разделять детей и вкладывать в «своих» ненависть к братьям и сестрам. Те, кто перечил матери, попадали в опалу.

В шестидесятом году Мирон ушел от Марьяны к другой женщине. Мира, Тая, Марго, Андрей и Тихон от отца отказались. Лада осталась равнодушна к событию. А остальные дети бывали у него очень часто, особенно Платон и Шура. Марина деда почти не запомнила, лишь одно событие отпечаталось в памяти.

Они приходят с отцом и Шурой к деду Мирону. Тот теперь живет в «белых домах». Там есть батареи, туалет и ванная, на кухне висят шкафчики, в комнате диван, телевизор и люстра. Женщину, с которой живет дед, зовут Нина. Она молодая, так тогда казалось Марине, ухоженная, носит прическу и сережки с камешками, от нее пахнет духами «Красная Москва». Нина усаживает Марину на табурет за кухонный стол, наливает чай в красивую чашку с нарисованными птицами. На блюде кусочек торта с розочкой, в вазе варенье, рядом на столе конфеты «Южный орех», очень вкусные. Это был первый и последний раз, когда Марина их ела, они как-то быстро и бесследно исчезли из продажи. Потом Нина с Мариной смотрят журналы, «Крестьянку» и «Работницу». Журналы интересные, но Марине интереснее рассматривать Нину: она красивая, хоть ей и далеко за пятьдесят, кожа у нее как бархат, светится, ресницы накрашены, и ногти тоже — красным лаком. Губы, аккуратным алым сердечком, комментируют женские наряды в журнале. Марина почти не дышит, так ей тут нравится. Как, должно быть, счастлив дед Мирон, наверное, именно о такой жене он мечтал всю жизнь!

Потом они идут с папой и Шурой домой, идут молча, потому что Марина знает: папа думает думу. Он сосредоточен, хмур, идет быстро, и



Марина еле поспевает за ним. Она вообще была умничка, чуткая и проницательная, знала, когда папа хочет помолчать, и молчала вместе с ним. Единение душ у них было абсолютное.

В декабре шестьдесят шестого года Мирон вернулся к Марьяне. Был он худ и бледен и молчал. Молчал вообще. Как выяснилось, пришел он умирать. Диагноз — рак горла. Надо сказать, это ошарашило всех: и врачей, и семью. Рак в те годы был «штучным товаром». Это сейчас ребенок не успел родиться и сразу лейкоз, а рак головного мозга, груди и желудка словно поставлен на конвейер. Но тогда... Разумеется, ни о какой операции и речи не шло. Компетентность поселковых врачей была на уровне «у сороки заболи...» и далее по тексту. Редкую болезнь диагностировали, когда ни есть, ни говорить, ни дышать нормально Мирон уже не мог.

Марьяна мужа приняла. Лечить было поздно, но его последние две недели мучений она облегчила, насколько смогла. Скользкий овсяный отвар горло пропускало. Марьяна запаривала травы, прикладывала сухое тепло. Было уже совершенно плевать, что греть опухоль ни в коем случае нельзя, требовалось хоть немного уменьшить боль. Дышать у Мирона получалось, только когда он полусидел-полулежал.

Платон не вылезал от родителей, опух, обрюзг, постарел. Он поддерживал отца молчаливо, они и так понимали друг друга. Марина тоже все время была где-то рядом, смотрела на прозрачного деда, облысевшего, страшно худого, и плакала. Смерть, собственно, наступила от истощения. Платон бежал с ночной смены, снег валил стеной, видимость была ужасная. Он буквально ворвался на отцовскую половину, кинулся к больному, не сняв телогрейки. Мирон приоткрыл глаза, которые ввалились до невозможности. Видел ли он Платона? Наверное, да, видел. Но смотрел сквозь, потому что был уже не здесь. Он как будто хотел сказать в ту свою последнюю минуту что-то важное. Платону показалось, что там был «май», но что это, вообще? На дворе декабрь... А через несколько секунд отца не стало. Так он и умер, глядя сквозь сына, с «маем» на иссохших губах. За спиной Платона, как столп, стояла Марьяна, непоколебимая, негнибная. И непонятно было, кто же должен умереть, чтобы она если не заплакала, то хотя бы сделала скорбное лицо.

Хоронили Мирона тридцать первого декабря. Было тепло и тихо. У гроба сидели Платон, Вася и Шура. За ними стояли Аня, младшая из дочерей, и Беата. Феня жалась в стороне, как чужая. Марьяна одиноко и гордо, в черной тужурке и сером платке, встала в ногах Мирона. Она внимательно, почти не моргая, всматривалась в невероятно худое лицо ушедшего мужа, в черты, которые с настоящим Мироном не имели ничего общего. В гробу лежал высохший старик, чья душа вылетела вон.

Нину Марина потом встретила всего один раз.

Нюра тогда лежала в больнице с аппендицитом, и Платон кормил дочек в столовой при железной дороге. Прости господи, но это был праздник: котлета с пюре, солянка, коржики и заварные пирожные, персиковый сок и сметана в стаканчике! Девочки каждый день спрашивали, когда приедет мама, и каждый день праздновали ее удаленный аппендикс.

После очередного столовского пира они втроем гуляли по улице Суворова. Их окликнули. Это была Нина. Как она изменилась с того дня, когда Марина видела ее в первый раз! Да, в ушах по-прежнему покачивались агаты, и прическа была, и накрашенные ногти, но все это выглядело мишурой, неестественным обрамлением. Что стало с ее лицом — оно как будто было снято с другого человека, с вечного узника и мученика: обвисшее, серое, измученное...

Платон растерялся, замялся; надо было что-то сказать, но он совершенно не представлял что. Выручила Марина.

— Нина, — встрепенулась девочка, — а журналы с нарядами остались?

— Остались. Хочешь посмотреть?

— Хочу!

Марина и Фая сидели в комнате на том же самом диване, с теми же журналами, та же люстра висела на потолке, те же шкафчики — на кухне, но дух дома пропал, пропала его интеллигентная притягательность. То же самое случилось и с его хозяйкой. Поинялая Нина и красивый Платон уединились на кухне; он больше молчал, она говорила. Все маленькие и большие мешочки на ее лице дрожали и дергались, левый глаз уводило куда-то к виску, рот периодически перекашивало.

— Ты знаешь, Платон, я дала ему слово, что не потревожу вас. У меня ведь совершенно не было на это права. Я не родня вам. Но я ненавижу себя за то, что молчала.

Она достала из шкафчика початую бутылку водки. Налила маленькую рюмочку, аккуратно выпила, занюхала воздухом. Поймала настороженный взгляд Платона, угадала мысли:

— Нет, я не пью. Здоровье у меня не то, чтобы пить. Меня бы давно скрючило. Это уж когда совсем мочи нет, когда внутри все заходится... У него ведь это разом началось, вот прямо на ровном месте. Удушья, понимаешь? Мы в больницу — там астму поставили. Но я-то нашу медицину знаю. Мы с ним в область. Приехали, а нам говорят, что поздно, четвертая степень... Как четвертая, вот буквально на днях все хорошо было! Операцию делать не стали, говорят, опухоль не операбельна и в этом состоянии он может после наркоза не проснуться. Да Мироша и сам наотрез отказался. Ты же знаешь, он никаких врачей не признавал. Еще, говорит, не хватало, чтобы меня, как собаку, усыпили! И повезла я его домой умирать... Я собиралась все тебе рассказать, но он запретил. Не хотел вас мучить. А я его послушалась, дура...



Нина высморкалась, умылась. Задумалась о чем-то, уставившись в окно, потом очнулась и продолжала:

— Год мы боролись, и это был рекорд. Врачи-то сказали, что он и месяца не протянет. Но я думаю, что чуда здесь мало, это все любовь, его собственная любовь. Она его держала. И когда ты приходил, он бодрился. Голос пропал уже в последние два месяца, тогда же Мироша и есть перестал. И мы с ним все поняли безо всяких объяснений. Я собрала его и отвела к Марьяне. Он хотел умереть дома. Прости меня...

«Я прошу, но сможешь ли ты простить меня? Нас...» Перед Платоном сидела старая, уставшая женщина, которая, наверное — да нет, не наверное, а точно, абсолютно точно не успела отлюбить свое. И прошла через страшное: на ее глазах, на ее руках умирала ее любовь. Ужасов в мире тьма. Но есть ужас отдельно взятой человеческой души, и кто сказал, что он менее мучителен, чем мировые войны и эпидемии?..

Платон и девочки уже были в дверях. Сестры толкались, путаясь в сандалиях, вырывали друг у друга из рук журналы: Нина подарила им всю модную литературу. Ей уже ни к чему, а девчонкам развлечение.

— Платон... Знаешь, я должна сказать, — Нина замешкалась, покраснела. — Давно еще, тридцать пять лет назад, я родила дочь. От твоего отца. Я его всю жизнь любила. Думала, если рожу, то он от Марьяны уйдет ко мне, бросит всех вас. Мирон, когда узнал, что девочка родилась, был так рад! Сказал, что это ему за «пришлую» Тайку утешение — красивая такая и на него очень похожа. Просил, чтобы я назвала ее Майя, ему это имя очень нравилось, он считал, что оно дает жизненную силу и любовь. Но он не ушел от вас. И я ему назло назвала дочку Полиной. Она сейчас в Красноярске, у нее там семья...

Нина замялась, потому что почувствовала, что говорит не то. Какой Красноярск... живет и живет.

— В общем, это и его, и моя просьба. У девочек ведь когда-то родятся дети. Если девочка будет, назовите Майя. Назовете?

— Назовем, — деревянными губами сказал Платон.

Вот он — «май», Маюшка. Знай, ангел мой, кто тебе имя дал.

Было у Майи много солнечных дней, и много чего хорошего было вообще, но вот эти драгоценные моменты счастья в обнимку с дедом она пронесла через всю жизнь, сохранила как собственное от него наследство. И порой, даже когда выла в голос, когда совсем уже уставала и отчаивалась, это возвращение в теплое прошлое снова давало ей сил двигаться дальше.

Выла она и сейчас. Закончился кусок жизни. Ушла безвозвратно целая эпоха. Майя ненавидела себя за то, что так и не забрала деда в человеческие условия с нормальным благоустроенным туалетом, с полноценными завтраками, с уколами от диабета. Да что там гово-

рить! Сволочь, скотина она! Должна была, обязана сохранить деда, уберечь его от этой своры! Смалодушничала. И вот теперь сидела на этом стуле, на котором еще, наверное, вчера сидел дед, и, положив голову на дедову руку, выла. А сидя у него на груди, выла Мурка. И Майе казалось, что она слышит плач животного яснее, чем свой. И настоящие слезы текли из кошачьих глаз.

7.

Первой заявила Мира, одна из младших сестер. С начесом плохо покрашенных волос, с намазанными губами и новыми зубами, весьма неудачно вставленными. Она сразу кинулась к Марине, а точнее к ее животу. Начала орать и всхлипывать. Марина, как увидела ее, сразу отвернулась. Невыносимо было смотреть на эту сволочную морду, а это был только разгон.

Поняв, что с Мариной ей ничего не обломится, Мира бросилась к бабе Нюре. Началось вскидывание рук и новая порция плача.

— Анночка, ты понимаешь, я ведь не хотела! Показалось мне, что у него зады горят, ну я и вломилась к нему. А они и не горели вовсе... А он возьми да и побеги на станцию звонить...

Мира разом замолчала: в проеме выросла Майя. Белая, худая и злая. Тень с глазами. Метала громаы и молнии в сторону Миры, но держалась спокойно. Только начала медленно двигаться в сторону двоюродной бабушки. Та попятилась к двери, на ходу поскуливая:

— Маюшка, ты вот не права, — а у самой глаза бегали, то и дело упираясь в гроб. — Платоша, брат родной умер, а ты гонишь! Хоть бы ремешок на память подарила сыромятный, у него был, я видела. Или... ну мыла кусок хозяйственного, а?

Майя была уже даже не белая, а какая-то прозрачная. Проходя мимо рукомоиника, она прихватила с пола топор. Марина завизжала. Мира вывалилась в сени, потом во двор. Скатилась с крыльца. И тут ее прорвало:

— Ах ты, падла тонконогая! Я сразу говорила, что тебя утопить надо! Чурочье отродье! От мрази только мразь и родится! Ну ничего, ты у меня еще взвоешь!

Лицо Миры пошло красными пятнами, начес упал на бок, некачественные зубы громко клацали. Она орала проклятия, пока не зашла в свой дом, который стоял рядом, почти вплотную, но, кажется, продолжала и там поносить Майю.

— Топор-то зачем? — снисходительно не то спросила, не то просто сказала баба Нюра. — Рубить бы ее стала?

— А ты сомневаешься?

И по тому, как Майя ответила, баба Нюра поняла, что зря сомневается. Зарубила бы внучка Миру и не охнула.



«Зады, говоришь, горят, дрянь такая... Задний двор, значит, горит?»

Майя этот дом не любила, а Марина так и вовсе ненавидела. За что любить? За то, что отца убил, забрал, измотал?!

Ездить из Горбуновского до железной дороги десять километров каждый день на хиленькой кобылке было трудновато. Мирон давно приглядывал место, прикидывал, как бы построить дом в Талице. Но не в одиночку же это делать, нужны помощники. Платону как раз исполнилось тринадцать. Его и впрягли.

Строили из бревен, из чего же еще, а бревна те — ох и тяжесть! Поднимаешь и чувствуешь, будто внутренности вот-вот выскочат вместе с позвоночником. Через полгода строительства Платон сорвал живот. Как будто пуп оторвался и начал блуждать внутри кровяным комком. Сначала Платон перестал есть — тошнило и поносило непрерывно. Потом не мог даже пить: сгибало пополам, рвало. Ноги уже не держали, и мальчику вручили костыли, но скоро и они перестали помогать. Платон весил тридцать три килограмма. Марьяне на это было наплевать, казалось, она только и ждала удобного случая, чтобы избавиться от нелюбимого сына, а тут случай сам прыгнул в руки.

Не выдержал Мирон. Недалеко от их Дёповской, на улице Крупской, жил дед Герасим, знахарь, замшелый и древний, как мировая история, который руками творил истинные чудеса. К нему Мирон и принес сына на руках.

Дед Герасим недобро посмотрел на Мирона, погладил бороду.

— Избавиться от него хотели, не иначе. Запустили, не уверен, что вылечу. Ты, — обратился он к отцу, — ступай отсюда вон. Парень сам домой придет. А если не придет, то забереешь его утром — я не смогу помочь. Все, пшел!

Мирон попятился к выходу, сшиб головой какую-то балку, ударился затылком о низкий косяк. Избушка-то крошечная была, как в сказке, везде пучки сухих трав, баночки, пузырьки. Пахло очень приятно, уходить не хотелось.

Герасим уложил Платона на спину и велел выпрямить ноги. Те не выпрямлялись, сразу начинались рвотные позывы.

— Парень, хочешь жить — выпрямляй ноги! Лежи спокойно. Предупреждаю, будет больно. Ты ори. Если что из тебя выходить будет — не стесняйся. Я всякое видел.

Герасим катал по животу мальчика клубок шерстяных ниток, как будто искал что-то, находил, собирал, и со всей силы давил клубком на пуп. Сказать, что у Платона летели искры из глаз, — ничего не сказать. Было больно до потери сознания. Платон его и терял. Потом очухивался, дед улыбался, хвалил его и снова начинал катать клубок, словно яблочко по блюдецке. Потом усадил Платона, тот был весь белый и в холодном поту.

— Тошнит? — бодро спросил дед.

Платон безучастно кивнул.

— Хорошо! — Герасим радостно взмахнул руками, потом ушел к своим пузырьям и пучкам. Что-то там наливал, размешивал, вернулся и протянул стакан Платону: — На! Пей! И не морщись!

Платон принялся и все-таки сморщился:

— Это что, водка?

— Именно! С солью. И чтобы залпом!

— А почему зеленая?

Герасим кинул на Платона неодобрительный взгляд: мол, еще вопросы, сопля зеленая, задаешь?!

Платон давился, но выпил. Потом растерянно поискал взглядом костыли. Их не было. Идти своими ногами, он знал, невозможно.

— Дойдешь. Не осколочное ранение. Все, пошел! Завтра в это же время. И смотри, если тяжесть будешь поднимать, то даже не ходи ко мне. Бесполезно. Я лечу, а ты калечишь!

И Платон дошел. Пару раз останавливался отдышаться, от слабости все тело покрывала испарина. Он думал, что захмелеет, но голова оставалась ясной, было и странно, и интересно. Первый раз выпил, и в таких не праздничных обстоятельствах! Возле построенного дома его ждал Мирон, он кинулся к сыну, но Платон подал знак рукой — сам... Это была первая ночь за долгое время, когда он спал, а не боролся с болью.

Платон ходил к знахарю три недели. Случай был тяжелый, сам Герасим выматывался, пока правил пареньку живот.

— Ох, братец, паскуда какая у тебя там завелась! Вроде только дробить начну — опять каменеет... Основательно ты надорвался, надо бы еще почки твои глянуть.

Глянули почки. Обе висели намного ниже положенного. Медицинского термина «нефроптоз» Герасим не знал, иначе сказал бы, что тут опущение четвертой степени — самой крайней. Но почки уже было не поправить, с этим Платону теперь предстояло жить до последнего шага.

Две недели Платон пил водку. Даже самому было смешно: хоть бы не спиться! На третью неделю Герасим дал ему стакан парного молока. От молока тошнило сильнее, чем от водки.

— Холеру-то эту мы разбили, сейчас умаслить ее надо. Пей! И не рыгай мне тут!

Когда Платон прощался, то попросил разрешения приходить к деду и помогать ему по хозяйству. Герасим замахал руками: мол, дурак совсем, я ему тут живот ставлю, а он собрался ведра с водой таскать!

— Так что же мне, и булку хлеба теперь не поднять? — развел руками Платон.

— Окрепни сначала, дурья твоя башка! А так приходи, буду рад. Ты ведь мой самый тяжелый случай. Думал, не вытяну тебя, ей-богу! Боялся



даже, что еще больше наврежу. Не живот, а сплошной кровавой ком. А ты, смотри, и вес набрал, и мышцы восстановил. Ну, иди с богом, береги себя. А то ведь, не ровен час, по девкам скоро побежишь! — И Герасим мигнул добрым старческим глазом.

Дом стоял, Платон жил в нем и очень его любил. Каждую щербинку, выпуклость и трещинку. Слушал его дыхание, скрипы, стоны. Помнил каждое бревно, и хотя эти бревна, по большому счету, чуть не забрали жизнь Платона, все равно он до безумия любил дом.

Когда родилась Фая, Платон с Нюсей сначала поселились в барачке, больше им жить было негде. И тогда дом решили делить. Обошлись без грандиозной перестройки, просто поставили фанерную стену и разгородили его на две равные части. В одной остались Марьяна, Мирон и младшие дети, а в другую въехали Платон с Нюрой и Фаей.

Марьяна страшно бесилась: чего это вдруг! Но Мирон ударил кулаком по столу: «Я сказал!» Мол, Платон этот дом строил, значит, он имеет на него право.

Жилище у Платона и его семьи было хорошее, но не обласканное. Без уюта, без любви, без атмосферы. Маленькая Марина видела, что на окнах не хватает занавесок, с занавесками было бы гораздо лучше; вот и клеенка на столе обтрепалась и воняет чем-то кислым; таз бы под рукомошкой почистить, а печку побелить... Дом просил о помощи и любви. Потом Марина подросла и сама старалась наводить лоск, но как-то не справлялась. Пока конопатила одно окно, промерзло второе; в сенях скопилось гора хлама, а там вечные потемки, ничего не разобрать. Пол скрипит, крыльцо бы поправить... В общем, дом, он и есть дом: всегда бесконечная работа, которая требует сильного, молодого, крепкого мужика. А папа стареет, здоровье его подводит, и прыть уже не та.

Марина раньше думала: вот выйду замуж, зять поможет. А тут зять — не хер взять. То есть вообще никакого зятя, а вот ребенка принесла. Помощница. Но папа счастлив, нянчится, люлюкает, Майю с рук не спускает! Потом была надежда на Фаю — в смысле крепкого замужества и подмоги. А там, прости господи, вообще один стыд и головная боль...

В общем, дом старел, хотя изо всех сил старался держаться бодро. Майя выросла. Лето она полностью проводила у деда, старалась сделать все больше, бралась за все более сложные дела. Когда поняла, что дед не уедет с Дёповской, то разобрала и поправила сарай, взялась за крыльцо. Смешно, конечно, со стороны смотреть, но работала «как большая». Впрочем, она и была большая — четырнадцать лет. Этот дом ее изматывал, она раздражалась на все вокруг, но таскала доски, белила печку, правила окна. На сам дом ей, впрочем, было плевать — все только ради деда...

В то смертельное утро Платон метался из угла в угол. Вот Фая опять уехала в Москву, а обстановка такая беспокойная: собаки ночью выли — к пожару, не иначе. Еще эта беременность Маришина, муж этот, который объелся груш... Все так неладно, все так некстати! И слева в груди поджигало ядреней обычного. Платон открыл все засовы и крючки, вытащил из-под кровати топор: последний год он стал запирается на сто замков — все боялся, что ночью его придут убивать родственники, — и топор держал под рукой.

Только он раскупорил двери, влетела Мира — глаза выпучены от возбуждения.

— Платоша, у тебя зады горят! Все в дыму, все в огне! Беги на станцию звонить! Пожарных вызывай! — Всколыхнулась вся, пятнами пошла. — Горе-то какое!

Платон схватился за сердце, дыхание пресеклось. Как был в тапках, так и побежал, только телогрейку накинул. А ноги-то болят, глаза почти не видят, снаружи мороз трещит, скользко... Пока бежал, думал почему-то про Майю — не про пожар, ни про кого другого, а только про Майю. И еще ему все казалось, что он Марине бежит звонить. Что-то надо сказать ей очень важное, а что — никак не вспомнит...

А Мира вслед смотрит и руки потирает: все, готово!

Ему бы посмотреть, что никакого пожара нет. Эта сволочь все придумала, чтобы его со свету сжить, знала, что он за этот дом умрет. И ведь умер...

На станции тишина, ни души; телефон, пока по нему не долбанешь, не заработает. Платон набрал «01» — тишина. Потом еще раз... А потом как будто свет выключили. И все. Платона Мажара не стало. Трубка выпала из рук, и он повалился на пол. Смерть была мгновенной. Тромб оторвался.

Рядом медсанчасть, молодой, но очень толковый врач Федя Богомолов пулей подлетел к Платону. Уже при первом взгляде понял, что ничем не сможет помочь. Полчаса массаж сердца, искусственное дыхание, но все без толку...

— Платон Мироныч, дыши давай, а? Хорош Ваньку валять, дыши, родненький! — Федя в полном отчаянии, которое непозволительно врачам, давил на грудь Платона, будто хотел голыми руками вытащить сердце и запустить его. А потом привалился спиной к стене, в холодной испарине и белый как штукатурка. Сидел, крепился, чтобы не дать волю рыданиям, и все держал Платона за запястье — вдруг пульс. Но никакого пульса не было и быть не могло.

Феня работала в столовой, пять минут ходьбы до станции, ее тут же вызвали. Параллельно звонили на работу Марине. Попробовали завести машину «скорой», но та только кудахтала и глохла. Санитары несли Платона домой на носилках, следом шла Феня.



Мира увидела процессию из окна и облегченно выдохнула. Дело сделано, дом она теперь получит, точнее половину Платона, но и это неплохо. Файки нет, без нее закопают, брюхатая Маринка не в счет, а с малолеткой этой... да вообще никаких проблем. Надо же, как все удачно складывается!

Для Майи новость о смерти деда была как тот тромб, который оторвался. Только она не умерла, ей с этим блуждающим тромбом предстояло жить. Ту дебильную контрольную она еле высидела, все ерзала: то ей было душно, хотя в классе стоял холод, то начинало знобить. Протянула еще два урока, так же подпрыгивая на месте, не понимая, что с ней такое. Потом понесла классный журнал в учительскую — и там наткнулась на эту мымру, Татьяну Станиславовну. Майя уже выходила, когда та как бы случайно вспомнила и небрежно бросила ей вдогонку:

— Да, кстати, Мажар, у тебя вроде дед умер...

Майя поначалу даже не услышала, как будто это не ей сказали, — ну потому что это глупость какая-то, нелепость, такого просто не могло быть. Она вышла из учительской, шагнула три шага — и вдруг ей как будто в позвоночник воткнули штырь. Она разом оглохла, кошмарный шум, смесь множества голосов и топота сотни ног, как будто выключился. Майя вернулась, рванула дверь и одними губами спросила:

— Когда?

— Часа два назад, — так же небрежно ответила массовичка-затейница.

Все перевернулось, все полетело куда-то, в какую-то дыру. Майя ухнула туда же. Резкий болезненный спазм, потом онемение, липкий пот — и темнота.

Очнулась она как будто от электрического разряда, но это был всего лишь нашатырь. Какая же невыносимо мерзкая вонь! Над Майей стоял учитель ОБЖ, добрый, обычно веселый и непоправимо лысеющий дядька. Когда Майя открыла глаза, испуг на его лице сменился улыбкой облегчения: очнулась девка. Его золотые зубы так и засияли. Майя села, бледная, лохматая. Сглотнула комок в горле. У комка был вкус йода.

— Телефон, — каким-то не своим голосом потребовала она.

Тут же появился телефон. Майя набрала домашний номер. Баба Нюра, слава богу, ответила быстро.

— Ба, бабушка умер... Утром. Иди к нему в дом.

Майя поспешно положила трубку, чувствуя, что сейчас не в силах слушать ничей плач и причитания. Потом, пошатываясь, вплотную подошла к массовичке. Та вжалась в стул.

— Когда у тебя кто-то умрет, я надеюсь...

Майя не договорила. Не было таких проклятий, вообще не существовало таких слов, чтобы эта убогая поняла, какая же она дура.

Майя бежала через трескучий январь. Шубка нараспашку, шапку она где-то потеряла, голова чугунная, ноги почти не чувствовались. Главное — добежать, не распластаться где-нибудь на железнодорожном мосту, не замерзнуть от отчаяния в сугробе, просто не рехнуться от горя...

А потом на дедовы похороны приперлась эта кретинка Мира. У Майи была как минимум одна веская причина взять топор и отрубить той ее начесанную башку. Она все помнила и ничего не собиралась прощать.

8.

Майя тогда готовилась идти в первый класс, и дед сгорал от нетерпения: поведет внучку в школу. К тому же родился Витя. Наконец-то мужик, а то одно бабье в семье!

С замужеством, правда, у дочерей как-то не задалось. Марина родила в девятнадцать, теперь Майе было уже семь, а кто отец — так и неизвестно. Вот ведь конфуз! Платону Марина эту тайну рассказала, а больше никому. Да и, в общем-то, какая разница? Есть ребенок, и все. Еще была надежда на Фаину. Но с той вышла совсем уж некрасивая история. Эта дуреха спуталась с женатым мужиком, на глазах у его жены и вообще всего поселка рассекала с ним на вишневых «жигулях» по центру, плясала на столах в местах общественного питания, а семья сгорала от позора. Итогом всей этой свистопляски стала беременность, которую бесовестная Фаина демонстрировала всем и со всех ракурсов. На девятом месяце и вовсе явилась в дом законной жены — которая, правда, к тому времени уже выгнала блудного мужа — и потребовала выдать ей сумму денег «на первое время» после рождения ребенка. Если до этого Платон Миронович как-то терпел, то такого его душа не вынесла. Он залепил старшей дочери смачную пощечину и больше не пожелал ее видеть.

Но родился Витя. Он, как и Майя, пошел не в дедову породу, только, в отличие от сестры, был маленький, тщедушный, со светлыми волосенками и блеклыми глазками. И такой трогательный, что, когда Марина принесла его показать, дед не выдержал и сгреб в охапку тощий сверток с ребенком.

— Папа, смотри какой он смешной, — аккуратно протаптывала тропинку Марина. — Он даже не плачет, а пищит. И крошечный совсем...

Рядом скакала Майя, черноволосая, кареглазая, смуглая. Она то и дело подпрыгивала и взглядывала на Витю.

— Деда, дай его мне, я покажу, как умею его держать! Он только у меня не плачет.

Это были совершенно разные дети, но оба — его внуки.

В последнее Майино предшкольное лето их семья особенно часто проводила время в дедовском доме. Майя не спускала брата с рук, Ма-



рина нянчила их обоих, а баба Нюра все больше пропадала по хозяйству. Фаину по-прежнему не желали видеть, но Марина знала, что скоро отцовский бастион падет и все устанется.

В тот день Майя укладывала Витю спать. Таскать его на руках она уже не могла, поэтому положила на подушку по диагонали и раскачивала. Марина мыла посуду в тазу и боковым зрением поглядывала в комнату, проверяя, не слишком ли Майя усердствует.

— Май, не мотай так сильно! Сейчас вытру тарелки и уложу его.

По комнате плавал воздух, в нем плавали лучи из окна, и еще плавал запах парного молока — на столе в тени стояла трехлитровая банка. Мурка, подросший котенок, лежала на подушке и урчала, как трактор. Марина в ситцевом платье сидела на краю кровати и качала Витю на руках. Тихонько мурлыкала ему про гулек, которые прилетели, чтобы дятятко баюкать. Рядом в трусах сидела Майя и почти дремала, побалтывая босыми ногами. Сквозь дрему улыбалась щербатым ртом. Витя уже спал.

Под окном скрипнула калитка, кто-то прошел во двор. Потом еще и еще. Ненадолго стало тихо. Марина с Витей на руках подошла к окну — никого. Вдруг Мурка вскочила, истошно мявкнула и рванула к входной двери. Во дворе что-то грохнуло — и разом завопило и заорало все вокруг.

Майя выскочила во двор. Сначала она ничего не поняла. Дедушкина старшая сестра Тая, младшая Мира и два младших брата — Тихон и Андрей кого-то топтали во дворе. Гвалт стоял невообразимый. Потом Майя поняла: на земле лежит дед. Братья распластали его подобно Христу, Мира каблуками старалась выколоть ему глаза, а Тая бойко шерстила карманы.

— Задние проверяй! — командовал Андрей. — И в рубашке! Быстрее, а то сейчас эти суки прибегут!

Кровь заливала деду лицо, он не шевелился. Лежал, словно распятый, и не издавал ни звука. «Убили!» — задохнулась Майя. И, босая, в одних трусах, с разбегу упала на деда, закрывая собой его голову. Удар пришелся ей в шею, потом в спину. Родственники в диком угаре даже не сразу поняли, что топчут ребенка. Лицо у деда было мокрое и липкое от крови. Майя обхватила тонкими руками его шею и по тому, как тяжело он дышал, поняла: живой.

— Убери эту шавку! — скомандовала Мира.

Могучие руки сгребли девочку и отшвырнули к крыльцу. Майя с размаху ударилась спиной о лестницу. Боль была такая, будто ей отбили все органы дыхания, но она встала, разбежалась, кинулась на Миру и намертво вцепилась зубами в ее ухо. Во рту стало солоно и тепло. Бешеная баба заорала не своим голосом. Майя рванула — и кусок уха остался у нее во рту. Перед глазами мелькнуло, как к ней бежит мать, но получает мощный удар в живот от Тихона, сгибается пополам и падает у забора.

Дед, приподнявшись, почти на ощупь бьет в морду Андрею... Потом картинка пропала, и Майе стало нечем дышать. Ее держали вниз головой в бочке с водой. Больше она ничего не видела и не слышала, запомнила только привкус болотины во рту.

Майя открыла глаза. Она лежала на кровати, рядом сидела Мурка с разорванным ухом и неистово вылизывалась. На кухне громкий возбужденный шепот сменился чьими-то спокойными голосами. Сначала мужским, потом женским.

— С девочкой все хорошо, — уверенно говорил женский, — вода из нее вышла. Для нее это шок, конечно, но детская психика гораздо прочнее, чем наша с вами. У нее очень мощные защитные механизмы. Ты с животом проверься, я при пальпации ничего чудовищного не обнаружила, но удар все-таки сильный...

Потом подключился мужской голос. Жесткий, спокойный, вроде бы знакомый.

— Марина, пиши заявление. Ты будешь полной дурой, если все пустишь на самотек. Тебя избили, отца избили, ребенка чуть не утопили... Отец, между прочим, может без глаз остаться. Из больницы выйдет — они опять придут. Марина!

Марина молчала.

— Мариша, — снова женский голос, — мы все очень любим Платона Мироныча, вас любим с ребятишками, сделаем все, что можем, но ты же все понимаешь...

— Я заберу отца к себе. Хватит.

— Смотри — тебе жить, Маринка! — мужской голос перешел на высокие ноты.

Потом шарканье шагов, скрип двери и тишина.

Марина с Витей на руках зашла в комнату и легла к Майе на кровать. Они смотрели друг на друга, Витя между ними дрыгал ногами, собираясь заплакать. Мурка пристроилась рядом с ним, и он успокоился.

— Простишь ли ты меня когда-нибудь, Май?

— Тебя прошу, их — нет.

Детали Майя узнала уже потом. Все произошло стремительно. Толпа родичей ворвалась во двор. Гуртом обступили деда Платона: давай деньги! А вот хер вам моржовый, а не деньги. Ну, смотри! Смелый? Ударили, повалили, топтали... Майя с Мариной подоспели в самый разгар, вот им и досталось.

Когда Мира, озверев, принялась топить Майю в бочке — откуда ни возьмись Мурка, прыг Мире на лицо, вцепилась когтями, сколько сил кошачьих было. Та ее об забор! Вот только при этом не удержала равновесие, повалилась вперед и бочку с Майей перевернула.



Сосед Миша — золотой парень, прибежал на крики, разогнал кодлу топором. А так бы забили деда, да и не только его. Кровные родственники...

9.

Мирин младший сын Ванечка, очень хороший парень, доброты необычайной и красоты неземной, был любимым из двоих детей. Старшая дочь Надя росла на битках и тычках. Была клятая и мятая, молотая-перемолотая. Брата она любила, и он ее тоже, мать оба ненавидели одинаково. Отца за человека не считали: был он та еще погань. Марина хорошо помнила, как в детстве приходила за Надей — звать погулять, но дальше ворот ей ходу не было. С крыльца спускался мерзкий рыжий мужик с палкой и бодро орал:

— Только хотели в лапоть насрать да за тобой послать! А ты сама пришла!

Как же его боялись все дети с улицы Дёповской! Своей палкой он не одну детскую спину отходил. Ненавидел-то всех, а ребятишек бил, потому что какая от них сдача.

Но жизнь полна иронии, так что иногда даже не веришь, что это с нами и нашими руками делается. Прошли годы, и как-то раз несколько парней из тех, кому в босоногом детстве перепало от Мириного муженька, увидели, возвращаясь летним вечером с танцев, как этот рыжий клещ топит щенка в болоте за водокачкой. Тихонько подошли, спросили за здоровье. Оскалился в ответ гнилыми зубами, но щенка отпустил. «Искупнешься, батя?» — предложили ненавязчиво. И заигрались ребята, утопили старика. Его же неизменной палкой оттолкнули от берега подальше: плыви, старый хрен, и костыль свой возьми — на том свете, может, пригодится. Значительно поредевшая рыжая шевелюра плавно всколыхнулась над болотиной, и поплыло бездыханное тело на тот берег прямо к родному дому. И никто ничего не видел тем вечером. Абсолютно никто...

В две тысячи втором году Ванечку задавил поезд. История была более чем невнятная. Майя не верила, что троюродный дядя, будучи в трезвом уме и здоровом теле, не успел среагировать на приближающийся локомотив.

В комнату с гробом народу набилось битком. Трое сыновей и жена сидели у изголовья без единого звука. Зато Мира причитала не переставая и раз в полчаса непременно падала в обморок. Старшему сыну, Максиму, это надоело, он под руки отвел бабушку в соседнюю комнату и попросил Надю посидеть с ней. Надя, бойкая и крепкая на слово, предложила племяннику самому успокоить бабулю.

Майя стояла на улице. Декабрь в том году выдался какой-то гнилой и серый. Летел не то дождь, не то снег, не то все сразу. Надя вышла покурить, подошла к Майе, встала рядом.

— Довели его все-таки эти суки! — Надя раскуривала сигарету. — Отмучился мой святой братик...

— Я не верю, что он погиб так, как говорят.

— Правильно не веришь. Ты-то не дура. Просто чаша его терпения переполнилась. Жена мужа любить должна, понимать, по голове гладить и, когда он с работы приходит, ужином встречать и улыбкой. А эта... В общем, что-то оборвалось у Вани внутри. Он сам бросился под поезд.

— А кто остальные суки?

— А что, у нас в семье сук мало? — Надя холодно улыбалась. Ее густо накрашенные глаза «поплыли» по мокрым щекам.

Она обняла Майю за плечи. Дождь усилился и хлестал им в лица. Сигарета потухла. Надя кинула окурок под ноги, сплюнула в сторону, высморкалась.

— Помнишь, дед Платон умер — сколько человек его провожали? Сотни. А плакали сколько? Весь поселок, весь город плакал! Когда мой батя умер, сколько человек улыбались и Бога благодарили? Да все, Май. Мне страшно представить, что будет, когда мама уйдет. Дискотеку, наверное, устроят?

— Надя, я не знаю, что будет после, но перед тем, как умереть, она еще даст тебе прикурить.

Майя как в воду глядела.

Ванечка умер — и Мира села у окна, подперла голову рукой и начала плакать. И пить. Она и раньше от рюмки не отказывалась, а тут стала прикладываться чаще, чем это было уместно.

— Сыночка мой, Ванечка, василечек мой ясноглазый, на кого ты меня оставил, — не то спрашивала, не то сетовала Мира. И все подливала в рюмку.

Надя, которая переехала в отчий дом, мыла полы и тихо материлась.

— Это он не тебя, а меня оставил! С тобой. Одной этот крест влочить.

Мира ничего не слышала. Она вела непрерывный и жалобный разговор с сыном.

А потом наследственная болезнь, как семейная реликвия, которая хранится в тайнике, но однажды неминуемо достается на свет божий, поразила и ее. Диабет взялся за ноги Миры. Мира слегла, но гундеть не перестала, а наоборот: чем выше гнили ноги, тем отчаяннее и громче становились ее причитания, все чаще переходящие в проклятия. Надя меняла под матерью простыни, обрабатывала проблемные места подсолнечным маслом — от пролежней, следила, чтобы Мирино тело не смердело. Два раза в неделю прибегали Марина и Фая — давали Наде передохнуть. Ее единственная дочь Настя родила второго сына после двух выкидышей и двух мертворожденных младенцев, и теперь мальчику нужны были особое внимание и забота. Он родился с ДЦП.



Когда сказали диагноз, Надя пила неделю. Марина от нее почти не отходила.

— Мариша, какая гадская жизнь! — По лицу Нади текли горькие слезы и жидкие сопли. — Деды нагрешили, а младенцы крайние остались... Что мне сделать? А, Мариш?

— Наверное, быть сильной и перестать пить. Кто ей, кроме тебя, сейчас поможет?

Марина умывала пьяную сестру и укладывала спать.

Пока племянницы перестилали теткину постель, протирали ее саму, кормили, варили диетические супы и парили куриные котлеты, Надя из кожи вон лезла, чтобы помочь дочери, но та оставалась почти безучастной к младшему сыну, Игорю, и почти не отпускала от себя старшего, Жору. Миша, Настин муж, держал на плаву этот сумасшедший дом и как-то держался сам. Он, сын вечно пьяных родителей, был воспитан Платоном Мироновичем, который не смог остаться безучастным к судьбе патлатого, тощего и очень смышленного соседского парня. Он учил Мишу строить бревенчатый дом, ловить рыбу, охотиться на зверя и еще многим совершенно необходимым вещам, но, пожалуй, главное — он научил его не оставаться равнодушным к чужой беде. Быть человеком. И не разгони тогда Миша пьяную Платонову родню топором, страшно подумать, чем бы все закончилось...

Надя возвращалась в материнский дом совершенно разбитая. Из одной катастрофы в другую, и никакого просвета. Они курили с Фаиной, сидя на крыльце, немножко разговаривали, немножко плакали, что-то вспоминали, потом шли в кухню. Там Марина грустила над сковородкой с котлетами.

Надя целовала сестрам руки:

— Спасибо... и простите...

— За что?

— За все.

Домой Фая и Марина возвращались затемно. Долго молчали. Первой не выдерживала Фаина. Она нервно закуривала.

— Тетка Мира папе каблуками глаза выбивала, а мы из-под нее говно убираем. Почему так?

— Потому что нас папа так воспитал. И он бы навешал тебе по губам, если бы увидел, как много ты куришь.

Остаток пути сестры опять шли молча. Говорить, в сущности, тут было больше не о чем.

В сентябре две тысячи третьего года Мира умерла. Ноги ей отняли полностью, спасти там уже было нечего.

А через неделю умер Игореша. Во сне перестал дышать.

Только через год Настя расскажет Майе, что было совсем не так. Будет очередная смерть (на этот раз умрет Тихон), потому что только

похороны могут собрать вместе эту огромную семью, и Настя, сидя рядом с Майей за поминальным столом, спяну потихоньку расскажет, что случилось на самом деле.

— Он упал, понимаешь... — Настя взяла Майю за руку. — Упал с дивана. А я на кухне была. Слышу, что-то грохнуло в комнате, захожу — он лежит на спине и подушка на нем сверху. Он ножками дрыгает корявенько так, а на меня помрачение какое-то нашло, наверное. Я подошла и надавила сверху руками... Минута — и все. Я его подняла с пола — и на диван обратно. Как будто он сам. Так все и вышло.

Настя улыбнулась и опрокинула в рот рюмку с водкой.

«Сумасшествие и избавление», — мелькнуло у Майи в голове. Она посмотрела в окно. Стояла прекрасная осень, октябрь радовал небывалым теплом. У Майи впереди была целая жизнь. Господи, помоги ее прожить. Она закрыла глаза и заплакала.

10.

Майя поставила топор к рукомоёйнику. Далеко убирать не стала: еще не все пришли проститься с дедом. Может, вскоре понадобится.

Марина не выходила из прострации. У нее начал сильно болеть живот, хотели отвезти ее в больницу, но она отмахнулась — и к ней вообще перестали подходить. Только тетя Феня периодически водила ее до ветру и кормила. Баба Нюра, как самый разумный человек среди всего этого идиотизма, не отходила от Майи, чтобы та кого-нибудь ненароком не зарубила. Надя шила платочки из старых простыней и не переставая ревела.

Всем скопом пытались найти деду обувь.

— Боже, он пятьдесят лет проработал на железной дороге — и мне не во что его обуть! — Майя с плачем выбрасывала вещи из старого шкафа, но выбрасывать было, в сущности, нечего. Нашлись только старые сандалии с оторванным ремешком. Их она на деда и надела.

Платон лежал в гробу, обитом красным бархатом, с черной кружевной лентой по периметру, укрытый тюлевой шторкой, аккуратно подрубленной умелой Надиной рукой.

— Ба, я в администрацию! Надо место под могилу выбить. — Майя запрыгивала в валенки, кажется, не свои. — Не подпускай никого к деду.

— Дитенок мой, да какое место! — Баба Нюра заметалась возле дверей. — Как собачонку, выгонят за ворота...

— Ты пойдешь?! — рявкнула Майя и разом пресекла зачатки истерики.

Баба Нюра кричала в двери какие-то наставления, но Майя уже бежала со двора в своей драной шубке. И сразу же попала в объятия дяди Вовы. Она не сразу поняла, кто подхватил ее могучими руками, а когда поняла, то заревела. От всей своей уставшей души.



— Ну, девочка... Поплачь. А потом все в подробностях...

Они сели в машину. В новенькой «Волге» было тепло. Пока ехали в поссовет, Майя рассказывала дяде Вове, как и что, взрываясь, когда речь заходила о родственниках. Он молча кивал, иногда посматривал на заострившийся Майин профиль. Не видел двоюродную племянницу полтора года, девочка сильно изменилась. Все в ней стало резче, темнее, острее. Вызревала женщина, вот-вот распустится, но в таких скотских условиях кому она нужна... Роза в навозе. Как вообще в такой кошмарной семье мог родиться такой ребенок?! Определенно, другая кровь, не нашего поля и огорода. Как будто даже не нашей страны. Темнота в ней не наша, теплая темнота. Ее бы в хорошие руки, чтобы согреть, а вокруг наверняка одно дерьмо лапы алчные тянет. Как уберечь? Как дать понять, что не все люди пропащие? Хотя с такими родственниками она, вероятно, станет линчевателем.

— Скоро они явятся! Все! — вспыхивала Майя и шла красными пятнами. — Накинутся на деда!

— Откинем. Ты сколько раз ела за последние дни?

— Ела. Ваша мама, то есть баба Феня, готовит, Витю и мою маму кормит.

— Мать у тебя тоже с этой беременностью как на лыжах в майский день, ей-богу! Откуда вообще взяла-то?

Психоз Майи перепрыгнул на Володю, и сейчас он то резко тормозил, то давал по газам.

— Не знаю откуда. Не говорит.

— А ты куда смотрела?

— А вы не охренели часом, дядя Володя?! — Майю понесло. Не многовато ли ответственности у нее на плечах? Кого еще туда посадите? Кого подкинуть в светлое будущее?! — У мамы был роман, с виду вполне благополучный. И вроде попахивало серьезными намерениями. А потом жениха как корова языком слизнула. А нам — беременность. Так что будем рожать и воспитывать. И все! Окончен разговор!

— Заткнись, пожалуйста. Приехали. Говорить буду я, потому что из тебя дипломат ни к черту! — Володя заглушил «Волгу».

В кабинет к главе поселковой администрации их пустили не сразу. Там шло совещание. В приемной за полированным столом восседала секретарша. Листала журнал и снисходительно, свысока посматривала на Майю. У Майи застучали зубы, но не от холода — от злости. Дома у них оконные рамы и подоконники полностью покрылись льдом, в ванной на стенах чернела плесень, все ходили в валенках, спали в шапках. А эта сволочь сидела в ситцевой блузке с титьками навывпуск. В углублении между белоснежными полукружиями терялась золотая цепочка. Красные губы, синие веки, начес до потолка.

— Тепло у вас, — Майю распирало. Хотелось свернуть журнал в трубочку и засунуть его этой холеной шалаве поглубже в задницу. — А мы спим в валенках. Чего это так, а?

Секретарша дежурно улыбнулась, блеснула золотая фикса.

— Май, их не учат отвечать на вопросы. Она умеет только сидеть за столом, положив на него могучий бюст...

Дядя Вова не договорил. Дверь кабинета открылась. Вышли заседатели: морды лоснились, рты улыбались, глазки довольно бегали. Видно, все хорошо у нас — и достаток, и порядок. Решены все насущные проблемы, накормлены все голодающие.

— Сиди тут, — тихо скомандовал Володя, — и не бзди.

Но сидеть пришлось недолго. Майя даже не успела окатить секретаршу заготовленной порцией сарказма. Дядя Вова вышел весь какой-то помятый и сгорбленный.

— Пошли, Маюшка. — И он засеменял к выходу.

— Что? — Майя вся напряглась, как пантера перед прыжком. Она уже предугадала ответ.

— Ну... нету мест на кладбище. Пойдем...

Из Майи Мажар вырвался нечеловеческий вопль, набор звуков, которые не укладывались в голове Володи. Они вообще не вмещались в пространство вокруг. Майя пошла вразнос. В разнос приемной.

— Пятьдесят лет на железной дороге... все здоровье отдано... гребаному государству... а теперь... дед умер... и эти пидарасы... да будьте вы все прокляты!.. — Майя выпрямилась, выдохнула, огляделась.

На полу валялся шкаф с вывернутыми внутренностями. Володя попытался его поднять — тот оказался не легче бетонной плиты. А Майя его одной рукой повалила. Секретарша, видимо, хотела кому-то звонить, но не успела: телефон был отброшен на безопасное расстояние, снятая трубка валялась на полу и коротко, обиженно пикала. В дверях кабинета стоял глава администрации с широко открытым ртом и ненормального размера глазами. Розовая, поросячьего цвета харя блестела от испарины. Майя секунду отдышалась, сглотнула — горло давили спазмы. Потом взяла стул и запустила в поросячью морду.

— Н-н-на, сука! Сдохнешь в собственном говне!

И стул попал главе ножкой в лоб.

Володя умыл Майю снегом. Был тот же день. Ей это не приснилось. Январь хлестал по лицу ветром и снежной крупой.

— Дипломаты... — в машине лицо у Майи горело. — На кладбище, немедленно! Сдохнете все как собаки...

— Сдохнем, конечно, Май. Сдохнем.

Володе не было стыдно. Ему было страшно. И не оттого, что девочка обматерила чиновника, и не оттого, что она разгромила приемную и за-



звездила главе в морду стулом. Ему было страшно оттого, что она права. Сдохнем все как собаки. Не нужные вообще никому.

Недавно, еще буквально пять лет назад, Талица считалась хорошим местом для жизни, даже очень хорошим. Провинциальная до смешного, она сама себя кормила и пила. По обе стороны речки Пышмы все жило, двигалось, шевелилось. У города была богатая история, вполне заслуживающая того, чтобы о ней говорить, благостное, сытое настоящее и твердая уверенность в неизбежно светлом будущем. А потом как бахнуло, как скрючило, скрутило в бараний рог! Стремительно, за каких-то полтора года смели и развалили все: деревообрабатывающий комбинат — несуществующую махину, одно из мощнейших предприятий Свердловской области, потом биохимзавод, пивзавод, три строительных и одно мелиорационное предприятие, птицефабрику, молокозавод, мясокомбинат... Десятки племенных колхозов и совхозов как корова языком слизнула.

К девяносто третьему году Талица буквально облысела, стала напоминать город, который бомбили и морили голодом. Единственное, что шло в рост, — это кладбища: и городское, и поселковое.

И вот теперь, в девяносто четвертом, наглая холеная морда заявляет, что и на кладбище места для людей уже нет. То есть, разумеется, есть, только сначала надо в карман положить кому следует. Что же они все никак не нажрут, сукины дети!..

На кладбище Майя кинулась в избушку к сторожу. Ввалилась без стука. Старик на тахте — кажется, его ровеснице — смотрел маленький черно-белый телевизор. На Майю глянул вскользь. Видимо, были какие-то проблемы с сигналом, но скорее с самим аппаратом. Дед, матюгнувшись, подошел к телевизору, начал его потряхивать и поколачивать.

— Паразит старьёй, скотина! Работай, сучий потрох! — Не оборачиваясь, как бы между прочим спросил: — Что у тебя, молодая?

Он так круто переключился на Майю, что она даже не сразу поняла.

— У меня дед умер. Надо хоронить. Место не дают...

И тут ее прорвало. Слез почти не было, Майя только орала, стибаясь пополам. Она не понимала, где болит и болит ли, ей хотелось встать на четвереньки — а лучше лечь, вот прямо на эту задрипанную тахту, — потому что больше она уже не могла.

— Ой, господи! Матушка моя! Что ж ты так блажишь по-страшному! Кто же у тебя дед?

— Платон Мажар.

— Ох... — тут уже сел сторож.

Платона Мироновича знали все, такой уж был человек. И все любили. Кроме родни.

— Пошли со мной. Все будет. И не реви так, а то сердце разрывается.

Место нашлось прекрасное: на старом кладбище, открытое, возле дороги. Будут люди проходить мимо и поминать деда добрым словом. На будущей могиле лежал длинный кусок рельса. Майя на него села, погладила ледяной металл.

— Ты неужто одна тут?

— Нет, с дядей Володей.

— Давай его сюда, погитарим.

Володе было велено сидеть в машине и не рыпаться. Он и не рыпался. Видел, как скрюченная Майя с каким-то ободраным дедом в засаленной телогрейке и ушанке прошли вдоль дороги, но сидел смирно. Потом они шли обратно, Майя — как будто на деревянных ногах. Володя не выдержал, пошел им навстречу. Поравнялись, дед взял его под руку.

— Пошли в дом, дядя Володя, надо все обсудить.

Сели за стол, покрытый старой клеенкой. Стул под Володей панически шатался, изо всех щелей несло холодом, почти могильным. Сторож кутался в ватное одеяло, из которого вата большей частью уже вывалилась.

— Условия нечеловеческие. Как вы тут живете?

— Молча в основном, — старик лукаво посмотрел на Вову в дубленке и прекрасной норковой шапке: с кем говорить-то! — А землю отогревать придется. Промерзла, лопата не возьмет...

— Сколько я вам должен?

— Мне — нисколько. А вот мужикам-копальщикам надо, конечно. Если двести тысяч дадите, то будет неплохо.

Вова вытащил из бумажника пятьсот. Положил на замызганный стол. Старик отодвинул.

— Не обсуждается, — Володя протянул деду руку.

— Игнат Палыч, — приосанился тот.

— Игнат Палыч, похороны тридцатого. Пусть все будет как надо.

— Будет.

Обратно ехали молча, тихо. Зато, когда приехали, стало громко.

Пришла Валя. Она стояла посреди кухни, пьяная в стельку, и надрывно вопила:

— Проститутки! Я порву им жопы! Где эти проститутки?!

Все «проститутки» были в доме, даже Майя подошла. Она еще не успела отойти от «концерта» в администрации, как стала зрителем очередного домашнего представления. Марина умоляюще посмотрела на Володю, он подошел к ней, обнял, прижал, насколько позволял живот.

— Володенька, — обессиленно прошептала Марина, — уйми свою пьяную сестру.



11.

Валя, Вова, Вася. Вот эти трое уж точно выросли не пойми как, вопреки обстоятельствам и условиям.

Рожать Феня начала в девятнадцать лет. Первой родилась девочка довольно неприятной наружности. Да страшная девочка была, чего уж там. Непонятно, честно говоря, в кого. Маленькая пучеглазая Валечка удалась ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Надо отдать должное отцу, его это не печалило. Впрочем, его вообще ничего не печалило. Сквозным, случайным человеком он оказался в Фениной жизни. Пришел без приглашения и ушел не попрощавшись. Феня, так же не печалась, сдала девочку в интернат. Загадочной она была женщиной. Чистоплотная до невозможности, изумительная хозяйка, но вот мать из нее вышла хуже кукушки.

В интернате к шестнадцати годам Валя прошла все возможные ужасы: голод, холод, избиения, изнасилования, скитания по канавам и далее по списку. Испытания не сделали ее ни затравленной, ни, напротив, сильной: она, скорее, приспособилась к среде обитания. Иногда Феня вспоминала, что у нее есть ребенок, забирала девочку домой на несколько дней, но при этом оставалась к ней безучастна. Мужиков не водила, пьянки не устраивала, но и сама дома почти не бывала. Где ее носило, одному Богу известно. Валя потом сама начала уходить от матери обратно в интернат. Там были все свои, а тут, как говорится, ни дома, ни диплома.

В свой первый запой Валя ушла прямо на собственной свадьбе. Восемнадцатилетнее чудовище, вопреки всем житейским законам, вышло замуж. Феня, не сказать чтобы обеспокоенно, все-таки временами интересовалась у дочери: чего так хлестко пьешь? Объяснение звучало неопровержимо:

— Я в пьющую семью попала. Че ты хошь?!

Семья была, действительно, пьющая, но Валюха с ее суперспособностями перещеголяла всех. Пила что придется, пьянела сразу и в этом зафиксированном пьяном состоянии пребывала до конца попойки, в то время как ее собутельники один за другим валялись под стол. В этом вечном угаре она жила, зачала, выносила и родила.

Саша рос, наблюдая из-под стола за пьяной матерью и ее мужиками, которые менялись как картинки в калейдоскопе. Родной отец к тому времени из дома сбежал. Даже его проспиртованный организм не выдержал такой вакханалии. Пьянки, а затем и пьяные случки происходили на глазах у ребенка и воспринимались как норма жизни. Саша, внешне походивший на мать, был замкнут исключительно на себе. Да и могло ли быть иначе? Отец его растворился в новой зазнобе, маменька пила не просыхая, а бабушка в их доме не появлялась.

В восемнадцать лет он ушел в армию, в двадцать демобилизовался и вернулся в знакомую колею. Мамину колею. Баба Нюра не без слезы вспоминала:

— Шурка, помню, пришел из армии бравый такой, симпатичный, — она патетически вскидывала руки и поднимала глаза к потолку. — А потом эта сволочь: «Выпей, Саша, выпей», и все красенького ему подливала. А он такой слабохарактерный! Спился на хрен...

Нельзя сказать, что Саша был совсем уж безвольным. Когда бабе Фене дали квартиру в новом кирпичном доме и ее конурка в деревянной двухэтажке освободилась, Саша незамедлительно въехал туда. Завел дружбу с Ниночкой, прекрасной женщиной, постарше его и с пятилетним ребенком. Уж как она его любила! Все «Санечка, солнышко...» Занавесочки повесила, половички постелила, жаркое готовила, яишенку с утра, белье стелила исключительной чистоты. Пацан ее к Сашке привязался. Но свекровь такого вопиющего безобразия стерпеть не могла. Налетела ураганом, вещи в окно, Ниночку мордой в стол, опорожненную бутылку о подоконник грохнула и «розочку» к горлу несчастной невестки приставила:

— Ишь, проститутку с вырождаком привел! Я те жизни все равно не дам, запомни! Мать в нищете мается, а он устроился!

Ор стоял иерихонский. Уж Валюха умела глотку драть. Сбежались соседи и вообще вся округа. Вызвали санитаров, потому что ураган приобрел по-настоящему опасные масштабы. В ход пошли ножи и поленья. Бешеная баба разнесла всю комнату, «розочку» воткнула одному из санитаров в руку, поленом сломала нос соседке.

После четвертого такого налета Нина не выдержала, ушла.

Потом Валю посадили за растрату. Бухгалтерия фабрики валяной обуви, где она работала, зорко следила за сотрудниками, и Вальку предупреждали. Но что ей те угрозы! Она и отсидела бодро, с музыкой и свистом, в камере всех держала в страхе, набила несколько татуировок в стиле «Гадом буду — не забуду» и вышла на волю через пять лет продолжать свое лихое шествие по жизни.

Сашу убили в две тысячи четвертом. К тому времени он был до крайней степени опустившимся, больным, никому не нужным алкашом. Работал то дворником, то сторожем, нигде не задерживаясь надолго, за гроши вскапывал огороды, помогал убирать картошку, колот дрова одиноким поселковым бабам. Получив плату деньгами или едой, благодарил и виновато улыбался беззубым ртом. В очередном запое, когда допекла трясушка, пришел взять в долг у местного «боярина». Так называли здешнего бизнесмена, который держал многочисленный скот. Саша и на него работал: навоз убирать, где чего прибить... «Боярин» в долг не дал — Сашка и расхреначил фару у его «мерса». Потом весь день метался по поселку с бешеными глазами, все убегал от кого-то. Марина встретила

его вечером, он сидел на крыльце магазина. Она опустилась на корточки рядом с ним.

— Сашенька, пойдём, я тебя домой отведу.

— Да все уже, Маришка. Все. Вот медведя голыми руками убью, и все.

«Белая горячка», — решила Марина.

Рано утром Сашу нашли на берегу Сугатки. Грудь фарша в синей куртке и драных штанах опознали не сразу. Его забили насмерть. Видно, «боярин» не простил разбитой фары.

Похороны взял на себя Володя, потому что у Вали в кошельке было только на опохмел. Марина и Майя, опухшие от слез, стояли возле гроба. Переломанные Сашины руки были кое-как собраны и лежали сложенные на груди — держали горящую свечку. На лицо было невозможно смотреть. На похороны пришел Сашин отец, вполне себе ничего мужик, держался достойно, на забулдыгу не походил, все время плакал, склоняясь над сыном, просил прощения. Мамаша, в привычном для нее состоянии, то заходилась воем, простирая руки вдаль, неведомо к кому, но почему-то не к сыну, то требовала немедленно подать ей «проституток», которые загубили ее Сашеньку. Ниночка, тихая и почти невидимая, пряталась за Майей: опасалась, что Валюха и ее уложит рядом с Сашей.

— Ты что, правда боишься эту срань господню? — Майя тянула Нину к гробу. — Простись с ним, кто его еще любил?

Поминали в столовой. Только банкетный зал, пожалуй, и мог вместить всю эту необъятную семью. Все расселись по интересам. Марина и Майя попали за один стол с Володей. Майя отрешенно ковырялась в котлете, дядя Вова печально смотрел на сестру, которая в экстазе носилась по залу и пила со всеми на брудершафт.

— Как работа, Майя? Как Тюмень? — молчание становилось невыносимым, и Вова попытался завязать разговор.

— Работа работается. Тюмень почти поднялась с колен, — Майя продолжала терзать котлету.

— Не пожалела, что переводчиком стала? — он тщетно искал подходящую тему.

— Нет.

— Ты в отпуске или отгул взяла? — Володя пошел красными пятнами. Сжал вилку в руке так, что побелели пальцы.

Марина и Фая уже готовились к «двойному удару»: племянница и дядя были максимально заряжены. У каждого свой камень за пазухой перекатывался. Не умела Майя прощать трусость, проявленную однажды, и забывать не умела. Многих в ней эта непримиримость бесила, в том числе и Володю. Сколько и чего еще он должен сделать, чтобы эта пигалица перестала нос воротить, поминать старое?!

— Отгул.

— Твою мать, дорогуша! — Вова грохнул приборами о стол. Все звякнуло, подпрыгнуло, бомкнуло. Вокруг затихли, даже Валюха остановила свой бенефис. — Десять лет прошло, а ты все униженную и оскорбленную строишь. Из минора своего не вылезает и думаешь, что это так здорово! Только чести тебе это не делает. Надоела эта кислая рожа, как только тебя мать терпит! Переводчица хренова! Полиглот! Сорок пять языков выучила, а человеческий так и не освоила!

Теперь уже Майя долбанула вилкой, а потом и тарелкой. У нее на языке вертелись слова, но скажи она их, завязалась бы настоящая драка. Уж больно много накипело и у того и у другого с момента провального визита в поссовет, когда Майя боролась за место на кладбище для деда Платона. И сейчас, когда в нее впились множество взглядов, ей хотелось сказать что-нибудь такое, чтобы разом смести всех присутствующих, но мамыны глаза просили ее заткнуться.

— Да пошли вы все... — и Майя вылетела в шумный август, напоследок грохнув дверью.

Марина аккуратно сложила приборы на тарелку. До дочери последние пять лет было трудно достучаться. Там и раньше-то с визитами случались проблемы, а теперь вообще все закрылось наглухо. Марина глянула на сестру, потом на брата — оба опустили глаза.

— Хоть бы одни поминки без концерта.

Неловкую тишину нарушила мать покойного:

— Ишь, проститутка выросла! Корчит из себя! — и Валентина вновь пустилась в свое поминальное плавание по залу.

(Продолжение следует.)



Александр ФРАНЦЕВ

В ПРИГОРОДЕ ТЕМНОМ

* * *

Травматический шок, медицинская нить,
подоконник в снегу, клочья ваты оконной.
Дал же памяти бог ничего не забыть:
ни сырой простыни, ни больницы районной,
ни палаты слепой, где сосед умирал
и ромашки цвели на гнилом одеяле —
так запомнились, будто на память нарвал,
собираясь до дому, где ждать перестали.

За вещами спустился в приемный покой;
после — время зачем-то терял в коридоре
и стоял на крыльце. «Виктор Цой мы с тобой» —
напоследок запомнил — на сером заборе.
И ушел. А сейчас там железная дверь,
на дорожке асфальт, и забор перекрашен
синей краской в три слоя, и с кем мы теперь —
больше негде узнать, да ответ и не важен.

* * *

В школьной подсобке пылица и темь,
память очнулась в вещах.
Даром расстаться не может ни с чем
сторож нетрезвый в дверях.

Мертвые лозунги бывшей страны
 свалены на пол, к стене.
 Вот, мол, и мы никому не нужны,
 в этой, бормочет, стране.
 Видишь, гнезда Горбачева птенцы
 нить размотали времен,
 и до сих пор не сойдутся концы
 у помраченных племен.

Жизнь простоявшие в очередях,
 что там они сберегли
 в кровных своих деревянных рублях?
 Где теперь эти рубли?

Лишь на обломке плаката слова,
 словно осадок в душе, —
 «Верной дорогой идете, това».
 Родина, хватит уже.

* * *

Памяти В. Янучковского

В надежде славы и бабла,
 бывало, в пригороде темном
 ты подходил из-за угла —
 кидала, с разговором стремным,
 с гнилым базаром, окромя
 понтов, не зная за собою
 на этом свете ни хрена.
 Теперь ты умер. Бог с тобою.

Душа бездомная, б/у,
 уже не ищет места в мире:
 ни в двадцать пятом ПТУ,
 ни в съемной, за гроши, квартире,
 ослепшей окнами во двор,
 где ты крутил с Кольцовой Светой —
 ей некого любить с тех пор,
 давясь дешевой сигаретой.



Теперь скажи мне, лишний рот,
язык без привязи, писака,
зачем тебя из года в год
терпела в клеточку бумага,
пространство тратилось легко
и жизнь сбывалась некрасиво
между Лафитом и Кликю
махачкалинского разлива?

* * *

Не придет с работы уже никто,
хмурый и поддатый.
Ведь теперь отец твой — «кобель в пальто»
и пропал с зарплатой.

Подождешь его еще пару лет
и узнаешь вскоре,
что вообще отцом твоим был сосед —
энварэшник в школе.

Вспомнишь, как конфетами угощал
и журил нестрого,
но в квартире Тонечку прописал
из Владивостока.

Там уж и захаживать перестал,
ну а тот, что после,
похмелившись, в прятки с тобой играл, —
не нашелся вовсе.

* * *

Прямо в детство — через проходную
на речном вокзале, в октябре,
когда листья падают вслепую
и редеют дни в календаре.

Лишь бы билетерша, как бывало,
попивая с сахаром чаек,

ненароком зайца проморгала,
пропустила в жизнь еще разок.

Да чего ты сам себя морочишь?
У закрытых намертво ворот
лишнего билетика не спросишь
на проезд в восьмидесятый год.

Вот и обретайся в настоящем,
дни считай да подводи часы.
Может, что-нибудь и в нем обрящем,
окромя дешевой колбасы.

* * *

Дождь кончается к переменам в царстве бешеного Числа.
Этот мир, погляди, зачем он? Красота его не спасла.
Привыкай же теперь, обманом приживайся в чужом доме —
здесь никто уже не родня нам, и не спрашивай почему.
Километры в шузах потертых вдруг наматывать стало лень.
Запиши меня в книгу мертвых, где, обживши вчерашний день,
всяк свое говорит: чем горше — тем понятнее: от и до.
Потому что отсюда больше выйти некуда по УДО.

* * *

Все, что было, оставь за спиною.
Через поле недолго пешком.
Мир кончается желтой травой
и прибрежным песком.

Ни державы не надо великой,
ни ее «славных дел».
Лишь бы краешек родины, дикий,
все травой шелестел

и баюкал нетрезвого сына
своего долгой рябью речной.
Да роняла бы листья осина
над его головой.

Александр РОМАНОВ

СЕВЕР

Р а с с к а з

Он стоял передо мной — маленький, хилый, с большой головой, тонкими ручками и жалкими, похожими на спички ножками. Я мог бы перешибить его одним ударом. Дал бы разок по уху — и все, прощай, маленький наглый пижон!

Его глупая баба стояла рядом, глаза ее были широко раскрыты, она что-то говорила, да я не слушал — только смотрел, как открывается ее рот, шевелится кончик конопатого носа и проступает пятнами румянец на щеках. Они у нее были разные. Щеки. В смысле — несимметричные: одна больше другой. И губы дурацкие: одна сторона выше другой. Сама еще ниже своего спутника, ростом как гном, голос высокий и резкий, и тараторит без умолку — за кавалера, значит, заступается.

Да нужен он мне, твой кавалер! Я лишь спросить хотел, где тут соцзащита. Вроде в каком-то подвале, а ни улицы, ни номера дома я не знаю. Два часа уже по дворам этим плутаю, и хоть бы кто подсказал. И этот хлыщ: от горшка два вершка, туфли блестящие нацепил, пиджачок фирменный, весь с иголочки одет и думает, что теперь ему все можно. И хамить, и посылать подальше, и вообще. Раз я в старье ношеное одет, меня теперь и за человека можно не считать — так, что ли?

Да меня в моем районе все знают. Знают и боятся. И там ни у кого никаких сомнений не возникает. А если и возникают, я их быстро растворяю, эти сомнения. Пару раз в бубен дам — он, сомневающийся, с земли встанет (если сможет, конечно) и ну давай прощения просить. Мол, извини, Север, бес попутал. Или: я думал, это не ты, спутал я тебя с Ванькой. Пьяный был, вот и спутал.

Ну да, ну да, нашел, тоже мне, причину. Меня с Ванькой спутать тяжело. Я тощий и высокий. Очень высокий. А Ваня большой и тяжелый. Жирный, короче. Нас при всем желании не перепутаешь. Ну да ладно, я не в обиде. Извинился — и ладно. По одной земле ходим, чего нам делить-то?

Вот и этому хлыщу говорю: чего ты, мол, возникаешь? Не знаешь, где собес ваш, так и скажи, а то пальцы вперед выставил, совсем как бог-мол свои тонкие лапки, голосок дрожит, и сам весь такой из себя храбрый. Перед девкой выпендривается. Понимаю. С такой, как она, и я бы пальцы выставил. Мало того что красивая, хоть и перекошенная вся, дак еще и смелая. Посмелее тебя, тощий хрен, будет. У нее вон ничего не дрожит и пальцы не трясутся. Хотя она — девушка, а девушек обычно не трогают. Небось знает это хорошо, вот и выступает. Я таких называю — жертвы иллюзий женской безопасности. Только у нас в районе такое не срабатывает. Там что девочка, что мальчик, не умеешь себя вести — тебя быстро воспитают. Приведут, так сказать, в чувство.

Короче, не стал я их воспитывать, развернулся и дальше двинул. Она мне еще вслед что-то долго кричала, обещала, что найдет и к ответу призовет. Найди, найди. Я не против буду. Только чтоб в другой раз без пижона своего была.

Я прошел в соседний двор, потом в следующий, перешел через улицу и снова нырнул между домами. Так проплутал примерно с час, спрашивая и интересуясь. Нарвался еще пару раз — от бабушек получил, вида моего испугавшихся.

Тут патруль меня остановил, спрашивает, кто такой да документики покажь. Я им спокойненько так говорю:

— А основания у вас какие документики спрашивать и почему не представляетесь?

А он мне, старший, значит:

— Ты меня не учи, я тебя сейчас сам поучу — в клетку посажу, и там будешь вопросы свои шибко умные задавать.

Ну ладно, думаю, мне-то что? Мне не сложно. Документы им показал. Они, как фамилию мою увидели, переглядываться стали, что-то глазами друг другу показывать.

— Ты, — говорит старший, — тот самый, что ли, Север, что недавно детишек двоих из дома горящего вытащил?

— Я, — говорю, — это был. Только с меня уже показания все сняли, и под протоколом я расписался. Не я поджег, — говорю, — тому и свидетели есть. Целый двор видел, как я с утра в гараже батиним возился — не мог я ничего поджечь.

Они молчат, переглядываются.

— Вы, — говорю, — лучше подскажите, где собес? Я уже полдня брожу, справку для матери взять надо.

Старший мне документы вернул, по плечу так осторожно похлопал и объяснил, как пройти. Вот хороший человек, дай бог ему здоровья, я сразу и подвал этот нашел, и справку получил. А подвал прямо тут оказался. Я, получается, вокруг него все это время ходил, и ни одна зараза сказать про него не могла. Ну что за люди такие странные?



Может, и правду Семен говорил — не стоило мне одному ходить? С моей рожей и комплекцией, как у Кощея Бессмертного, только людей в страх вводить. И голосище у меня грубый, низкий. Семен говорит, что какой-то он нереальный, голосище этот. Как будто у меня не горло, а целая цистерна, не может, говорит, обычное горло человеческое такой звук выдавать. По всем законам физики — не может. Умный он у меня. Хоть и младший брат. Настоящий сын своих родителей.

Они тоже умные. Интеллигентные. А еще красивые. Непонятно, в кого я такой уродился. Мной только детей пугать. Причем не обычных, изнеженных городских, которые сразу при виде меня в обморок брякаются, а детей бывалых, жизнью закаленных, каких-нибудь беспризорников. Ну или бандитов малолетних. Вот, мол, что с вами будет, если воровать не перестанете. Живой, так сказать, пример.

Хотя я в жизни ничего не украл. Даже не думал никогда об этом. А что носы ломал да руки выкручивал — так вины моей в этом нету. Они сами лезут. Как мухи на мед. Липнут да всё показать чего-то просят. То, говорят, покажи иголку, что в яйце у тебя хранится Кощеевом, то изобрази зайца и как уточка из него вылетает, а то и еще скабрзости всякие. Что я им, клоун, что ли — показывать? И ведь не уймутся никак. Только такой товарищ с травмпункта выйдет — опять его ко мне тянет. Семен говорит, что это мазохисты. Нравится им боль терпеть и по башке получать.

В общем, вышел я из подвала радостный. Улыбаюсь, по сторонам головой верчу, отмучился, думаю. Наконец-то. Сейчас, думаю, домой приду да с книжкой завалюсь. Семен мне Ремарка подсунул, «Три товарища». Ох и нравится мне! Да уж больно места там есть жалостливые, когда, например, героиня главная мучается, кровью каждый раз истекая.

— Зачем, — говорю, — Семен, ты мне такое дал, я же такое читать не могу, плакать хочется.

— Ничего, — говорит Семен, — сожми зубы и читай дальше. Я плохого не посоветую. Тебе полезно: все меньше голов разобьешь.

В общем, иду я, и мысли у меня такие благостные, и тишина, дело к вечеру, птицы поют, солнце уже не так печет. В крайний двор выворачиваю — кричат. Да жалобно так, голос девчачий. Еще и топот слышен, сопение и удары глухие. Ну, думаю, кого-то опять лупят.

Точно! Человек восемь их, не меньше. Ну, это я потом уже подсчитал, когда они на земле лежали. А поначалу просто вижу: много их и кого-то одного метелят. Это у нас умеют, у нас по-другому никак. Чтобы один на один или хотя бы двое на одного — это ни-ни. Обязательно толпой. Удовольствие, что ли, от этого получают?

Гляжу, а это девчонка кричит сегодняшняя, что с лицом красивым, но перекошенным. На земле она сидит, руками жижу по лицу размазывает и орет. Пока я ближе подошел, у нее голос уже охрип. Притихла вроде — так, потихоньку вякает себе под нос.



Я оглянулся напоследок: ну где же вы, товарищи в форме? Как документы проверять, так вы тут как тут, а как преступление совершается, так вас днем с огнем не найдешь. Никого. Народ только из окон выглядывает, телефоны повывести, снимают.

Ну а мне что делать-то? Стоять и смотреть, как этого малахольного пинают? Я крайнего за шкуру прихватил да в сторону отбросил. Он на асфальт приземлился и затих. Потом следующего. Пока они сообразили, что да как, их уже вполовину меньше стало. А с остальными разговор получился еще короче. Они на меня обернулись, руками-ногами замахали. Да у меня руки-то подлиннее будут и ноги что лыжи — я даже получить не успел ни разу.

Ну почти ни разу. Как последнего об детскую горку шандарахнул, пот со лба утер — чувствую, по спине кто-то лупит. Да быстро так, словно в барабан бьет. Смотрю, это девушка с земли поднялась и кулачками меня лупцует.

— Дура! — говорю. — Не того бьешь!

Она не слышит, глаза бешеные, под скулой синяк надувается, волосы растрепанные. Я аж загляделся на нее — такой красавицей вдруг показалась. Понимаю, истерика у нее и, пока она ее на меня не выплеснет, объяснять бесполезно.

Тут, на счастье, один из нападавших с земли встал и нет чтобы бежать сломя голову — башку наклонил, кулаки вперед выставил и на меня как ломанется! Я, значит, девушку эту в сторону легонько отодвинул да в лоб ему залепил. Аккуратно так, вполсилы. Тот упал.

Она увидела, вроде подуспокоилась, поняла, значит, кто есть кто, глаза вытерла и так исподлобья глянула, глазами сверкнув, что у меня внутри тут же все и зажглось. Будто пожар вспыхнул.

Стою, взгляда от нее не могу отвести. А она маленькая, чуть ли не по пояс мне, ручки крохотные в кулачки сжала и осторожно так в сторону товарища своего зыркает. Понимаю, страшно ей. Думает небось, что убили друга ее. Думать-то думает, а посмотреть боится.

А здесь надо не думать, не бояться, а в больницу его тащить. Она, кстати, недалеко. Я, может, в улицах и домах не очень разбираюсь, зато больницы в городе все знаю. И сам бывал, и товарищей, под мой кулак попавших, туда отводил. Кого отводил, а кого и относил. Кто сам идти не мог.

Вот и этот, пижон ее, идти сам, точно, не сможет. Он, пожалуй, теперь долго ходить не будет. Вон нога как вывернута. Неспроста это. Ну я палку какую-то подобрал, ремень с себя стянул, ногу выпрямил да к палке примотал. Он только мычал да башкой мотал, точно слепой. Глаза заплыли, как будто вторые щеки выросли, а вместо губ две лепешки синюшные. Хорошо его ребята отделали. Старались.

На себя я его взвалил, девушке головой мотнул, говорю, мол, в больницу ему надо, пойдём, и, не оглядываясь, зашагал в нужную сторону.

В больнице сразу сестрички забегали, смотрю, уже каталку катят. Это они меня, верно, издалека приметили: я тут не первый раз, почти всех в лицо знаю.

Врач знакомый вышел и, пока парня укладывали да одежду снимали, спрашивает укоризненно:

— Опять, Север, набедокурил?

— Не, — говорю, — помог я ему. Из кучи-малы выгацил. У меня и свидетель есть.

И на девочку эту показываю. А она молодец, головенкой кивает и смотрит на врача так умоляюще. Ну он от меня отцепился и вместе с каталкой умотылял по коридору.

А девочка меня спрашивает:

— Это имя у тебя такое — Север?

Я говорю:

— Имя у меня другое, и его мало кто знает. Называют все Севером.

Она выслушала, носом шмыгнула.

— Ты, — говорю, — родственникам парня своего позвони.

Она вдруг заплакала. И слезы из глаз такие крупные покатались, ну точно горошины. Я испугался, подумал: может, их и нет, родственников, может, погибли недавно, а я тут со своей тактичностью влез опять куда не просят. Совсем я запутался, хотел было сказать ей чего-нибудь ободряющее, потом плюнул, обошел ее осторожно да на улице выбрался.

Так и просидел-прождал на улице — все думал, выйдет она. Не вышла.

Стемнело уже, когда к больнице подъехала машина, из нее вышли пожилые мужчина и женщина и в приемный покой направились. Там, гляжу, у девушки что-то спрашивают, а она им отвечает.

Ну, думаю, помощь моя больше не понадобится, и домой двинул.

Спать я с тех пор перестал. Совсем.

Никогда раньше такого не было. Хоть били меня нещадно, хоть из-за птички какой мертвой или человека, несправедливо мной обиженного, весь вдрызг распереживаюсь, все равно: стоит моей голове подушки коснуться — сплю как убитый. И как бы поздно ни лег, рано поутру глаза сами открываются и лежать больше не могу. А если и полежу, бока потом ломит так, как будто били по ним железками.

А сейчас лягу, глаза закрою — и лицо ее передо мной стоит. То заплаканное — когда мы в больнице были, то сердитое — когда она первый раз прогнать меня пыталась.

Семен сказал, что это влюбился я. И само это теперь долго не пройдет. Так и буду мучиться, пока совсем не иссохну.

— Что же делать? — спрашиваю.

Он мне, гад, заявляет:

— С таким, как у тебя, лицом, ну и вообще наружностью, сделать ничего нельзя. Шансов у тебя нет. К тебе только девки с притона липнут. Те, которых ты по клиентам позапрошлым летом развозил. Надо же, когда это было, а до сих пор тебя, Кощеюшку, помнят. И не только помнят, но и вниманием своим не обходят.

Тут я засмутился и разговор этот прекратил. Понятно ведь, что девицы эти за время работы на такое насмотрелись, что им мое лицо просто одно из многих. Ни тепло им от него, ни холодно. А то что внимание — куда ж без него, нормальные-то бабы от меня шарахаются. Притом и знакомые бабы — тоже. Как будто я когда обижал кого.

В общем, решил я Семена бестактного больше не спрашивать, а найти ее и спросить напрямую. Не для того спросить, чтобы ответ узнать — какой он, этот ответ, ясно заранее, — а чтобы самому убедиться. Окончательно, так сказать, поставить на себе крест. Раньше на всем этом, женщин касающемся, я его уже поставил и тему любовную за пять километров обходил. Все больше птичкам да зверушкам умилялся.

Дотопал я до той больницы, адрес девушки у доктора спросил. Он сначала давать не хотел, да я ему объяснил, что вещь она ценную обронила, вернуть бы надо. Ну он поломался для виду, потом говорит: приходили, мол, люди официальные, с органов, спрашивали про случившееся и про меня. Сказали, что я тут ни при чем, даже, наоборот, вроде как благодарность мне полагается. Ну про благодарность это он загнул. Меня сроду никто, кроме родителей да брата родного, не благодарил. Все рожи кривили, сплевывали да сквозь зубы разговаривали.

Короче, получил я адрес, выслушал от доктора много всякой ерунды, типа, внешность не главное, что девушки не это любят, и все в таком духе. Я подумал: какое ему дело? Как будто я его о чем таком спрашивал? Ну этот хоть не кривится, когда на меня смотрит. И все они, врачи и медсестры, всегда на меня спокойно смотрели. Семен объяснял почему.

— Потому что, — говорит, — в институте их прямо на первом занятии в морг ведут. Чтобы привыкали, значит. И там они, в морге этом, за все годы обучения такого насмотрятся, что им потом ничего не страшно. Даже твоей, — говорит, — рожей их не испугать. Она для них, может, наоборот — как пособие по анатомии. Образец для кунсткамеры.

Что такое кунсткамера, я толком не знал, помнил, что это навряд ли музея, но слова Семена в голову запали. Вот, думаю, хоть для какой-то там камеры я образец. Надо же! Пойти попроситься — может, меня туда возьмут?

В общем, нашел я ее дом и квартиру. Нашел, к кнопке около двери палец поднес да так и замер с поднятой рукой. Стою и думаю: что я сейчас говорить буду? А главное, зачем я приперся? Ясно ведь, что выпрут меня. Она же не извращенка какая-нибудь, а со мной даже поговорить не о чем.

Футбол я по телевизору не смотрю и любой спорт не смотрю. Сериалы не для меня. Я вообще телевизор терпеть не могу. Интернет как-то тоже мимо идет: там одни брехуны и хамы сидят (так Семен говорит), а этого мне и в реальности хватает выше крыши. Книги люблю. Это да. Но только кто их сейчас любит? Не знаю таких. Кроме моих домашних, получается, что никто.

Выходит, что общих интересов у нас нет. А Семен говорит, что общие интересы в этом деле главное.

Стоял я так не знаю точно сколько времени. И совсем было уже собрался уйти, как дверь вдруг распахнулась и вышла... она. Я назад резко отступил и стою затылком подъездную лампу подпираю. А девушка сначала, видать, меня не заметила: я в темное был одет и в подъезде не очень светло было. Она ключ в замке повернула и потом только меня увидела.

Я весь сжался — приготовился, что она кричать опять будет. А она спокойненько на меня глянула, руки в бока уперла и таким возмущенным голосом спрашивает:

— Ты где был, а?

Я обалдело на нее смотрю и молчу.

— Мы, — она говорит, — тебя возле больницы целый час искали. Подождать, что ли, не мог? Родители мои спасибо хотели тебе сказать да в гости пригласить — за то что брата моего спас.

Она еще что-то говорила, а я как услышал «брат» — у меня внутри опять все загорелось. Прямо снова пожаром зажглось. Как будто она надежду какую дала. Я-то думал, что это ее парень был и, значит, мне ничего не светит, а раз не парень он ей, значит, у меня вроде как шанс появляется. И вот я этот шанс стою и поглубже в себя запихиваю. Потому как знаю, что на самом-то деле его нет. Это я его только что выдумал.

Тут чувствую, тормозит она меня. Я из себя вынырнул и соображаю: чего ей надо?

— Здесь подождешь или со мной сходишь? — спрашивает.

Я кивнул. Она со страдальческим видом подкатила глаза.

— Ну? — говорит.

— Пойду, — выдавил я.

И еще думаю: да хоть бы ты спросила сейчас — пойдешь со мной на Северный полюс? — я бы согласился. Я бы на все согласился. Лишь бы с тобой.

Она всех этих моих мыслей, конечно, не слышала, дернула меня за руку и вперед пошла. А я следом шагаю и на шею ее тонкую смотрю, плечи открытые, веснушками обсыпанные, да ладонь свою щупаю — то место, где она дотронулась, так оно огнем вдруг взялось. Только не сжигающим, а как будто кожу с руки содрали и по нервам оголенным штуковой, которая приятно делает, водят. Туда-сюда. Туда-сюда.



У меня аж ноги затряслись, и я пригнуться забыл, когда из подъезда выходили. Так лбом об косяк долбанулся, что искры из глаз посыпались. Но это и к лучшему: мозги сразу на место встали и рука уже не так сильно горит — просто приятно.

Она оглянулась, головкой покачала и спрашивает: в кого, мол, я такой высоченный уродился да невнимательный? Я говорю, хрипло так:

— Отец у меня высокий. И брат такой же. А невнимательный — это я от другого.

Так мы по улице и пошли, куда — я не знал, а переспрашивать не хотелось. Она до этого объясняла, и что же я теперь — признаюсь, что не слушал?

Поначалу все нормально было: район относительно чужой, меня тут мало кто знал, народ только в стороны шарахался да глаза в ужасе выпучивал. А еще в ее сторону недобро зыркал. Ну мне-то не привыкать, я всю жизнь так живу, а ей, думаю, каково? Смотрю — а ей даже нравится! И чем дальше мы идем, тем выше нос она свой курносый задирает. Я лишь потом понял, что это в ней дух противоречия взыграл. Мол, не ваше это дело: с кем хочу, с тем и иду. А тогда я даже погордиться успел. Недолго, правда, потому как скоро мы в моем районе оказались.

Ну, думаю, сейчас начнется! Вот меня увидят и полезут, как тараканы, изо всех щелей. Сейчас она гордиться быстро перестанет. До первой зуботычины. Ну зато я вам всем дам! Привыкли, что меня долго доводить надо, что можно полчаса гадости говорить, пока я наконец не выдержу и головы не начну разбивать. Теперь же у меня стимул есть. Вон он какой! Рядом шагает. Маленький, рыжий и конопатый. Попробуйте только рыла свои хоть чуть-чуть перекосить. Или глазками косо стрельнуть. Север вам рыла эти набок быстро посворачивает. Не задумываясь.

Но странное дело: никто ниоткуда вылезать не торопился и косо на нас не глядел. Наоборот, люди вроде улыбались и даже смотрели как-то по-другому, с одобрением, что ли. А один даже подмигнул и, показав на девушку, поднял большой палец вверх. Пока я соображал, догнать его и уронить на асфальт или это он мне такой комплимент отвалил, мы уже прошли весь район насквозь и вышли к Дворцу культуры.

Оказалось, что ей нужно было передать какой-то абонемент. Так она сказала.

Она достала телефон. Поговорила. Мы подождали немного. На крыльцо ДК вышел расфуфыренный мальчик. Он был одет в невозможное черное обтягивающее трико и майку на два размера меньше, чем нужно. Мальчик схватил ее за руки, назвал Танечкой и принялся за что-то благодарить.

Меня он сразу не заметил. Или не счит нужным заметить. Ну мне-то что? Я привык. Всегда проще сделать вид, что этого, то есть меня, нет.

В противном случае придется себя успокаивать, придумывать причины, по которым такого, как я, выпустили оттуда, где таких обычно держат.

Короче, этот хлыщ напросился к ней в гости и сказал, что сейчас на машине нас отвезет. Щелкнул брелоком, стоявшая рядом белая иномарка пискнула и помигала огнями, а сам он со словами: «Садитесь, я только переоденусь» — умчался обратно.

Вот, ей-богу, лучше бы он не переодевался. Обтягивающие черные штаны сменили цвет на ярко-красные, а поверх майки он накинул какую-то невообразимую хрень. Она вся состояла из блесток, клочков меха и обрывков серпантина. Я с облегчением подумал: хорошо, что нам с ним не идти пешком, да еще через мой район.

Он запрыгнул в машину, и вскоре мы были в Танином дворе.

Отец у Тани оказался мировым мужиком. Он внимательно осмотрел меня с ног до головы, и лицо его ни разу не скривилось, выражение его так и осталось благожелательным. Я даже испытал к нему что-то вроде благодарности и подумал: вот что значит воспитанный человек. Видит, кого привела дочь, но понимает, что выхода у него нет, поблагодарить меня придется. И в любом случае придется какое-то время улыбаться и делать вид, что все так и должно быть.

Мы познакомились. Он поблагодарил за сына. Я смущенно покивал и сказал, что, дескать, просто проходил мимо.

Привезший нас пижон чувствовал себя как дома, называл Таню исключительно Танечкой, ее папу — Романом Олеговичем, а маму — «моя будущая теща».

Мама, стоически выдержав процедуру знакомства со мной, сообщила, что с их маленьким Эдуардом все нормально и его скоро выпишут. После чего убежала на кухню, где зазвенела чашками и зашумела водой.

Дочь под каким-то предлогом выпорхнула из комнаты.

Пижона звали Жориком. Они уселись с Романом Олеговичем на диван и принялись разговаривать. Я подумал, что мне с ними неинтересно. Я, конечно, в гостях и вроде как обязан соблюдать правила, но никто не сказал мне, что нельзя ходить по квартире, более того, никто даже пригласить не предложил. Они дружно сделали вид, что меня как будто нет, и я пошел бродить по комнатам.

Таню я нашел в угловой комнате. Она стояла у одного из окон. Я подумал: какая она красивая! В том числе и со спины. Она уже успела собрать волосы в пучок и переодеться. Я еле поборол желание погладить ее по открытой голой спине, глотнул.

Вдруг понял, что мне здесь не нравится, в этом доме мне неудобно, все раздражает, и самое главное, хочется почему-то сказать об этом Тане. А особенно хочется сказать про этого хлыща, который называет Танину

маму тещей. Тут она как будто почувствовала, обернулась и вопросительно посмотрела на меня. Я набрал в грудь воздуха и выложил все, о чем думал.

Она не обиделась и даже не разозлилась. Сказала, что про тещу — это шутка: они сюда переехали недавно, а Жорик переехал вслед за ними. Он сказал, что ему предложили здесь работу. Только мама думает, что он переехал из-за Тани. Все знают, что она так думает, и Жорик в том числе. И все знают, что он знает. Это такая игра. Только Жорик Тани не нравится. И никогда не нравился. У нее теперь есть другой. И она хочет Жорику об этом сказать, но никак не наберется смелости.

Я проглотил этого «другого», решил, что подумаю об этом после, когда выйду отсюда. Она взяла меня за руку, и мы вернулись в зал. Роман Олегович заметил ее руку в моей, лицо его вытянулось. Жорик заерзал, стал заикаться и, по-моему, резко поглупел. Он даже не смог вспомнить, как называется то, что стоит у стола, пока я не подсказал ему, что оно предназначено для сидения и называется — венский стул.

Состояние у меня сделалось странным, внутри как будто дрожала и вибрировала струна, касаться ее было больно и неприятно, избавиться я от нее не мог, и мне почему-то хотелось поговорить и поспорить. А лучше дать кому-нибудь в морду. Подходящей морды поблизости не оказалось, и я послушно сел за стол.

За столом все были вежливы, вилки мягко позвякивали о фарфор, негромко шкрябали по тарелкам ножи. Я сказал Жорику, что для этого блюда, что у него, используют специальный рыбный нож — вон его рядом специально положили.

— Хотя, — говорю, — не все умеют им пользоваться. Меня, например, учил Семен, мой брат. Ну как учил — отобрал все приборы, кроме этого ножа, и стоял надо мной с молотком в руках, пока я не сожрал рыбину целиком.

Я посмотрел на их застывшие лица и разинутые рты, подумал и на всякий случай извинился за слово «сожрал». Они немного расслабились, Таня толкнула меня локтем и заговорщицки подмигнула. Я подмигнул в ответ и спросил, часто ли они с братом в детстве дрались. Мама Тани уронила вилку на пол, отец засуетился и полез под стол ее поднимать. Жорик сделал вид, что это я так пошутил, он даже вежливо, прикладывая ко рту платок, похихикал. Я же заявил, что мы с братом только и делали, что дрались. И мебель ломали. А еще посуду били.

Таня хрюкнула.

Я сказал, что вот у них нет спиртного на столе — и это хорошо. Моя мама тоже не одобряет. А мне вообще пить нельзя: я сразу начинаю шалить и потом ничего не помню. Правда, это всего один раз было, но во дворе до сих пор его вспоминают и бутылки при моем появлении прячут.

Роман Олегович вылез из-за стола и принялся кашлять. Я с готовностью предложил постучать по спине. Он замахал руками и закашлялся еще больше.

Жорик спросил у мамы, как они съездили в последний раз на море, при этом опять назвав ее тещей. Я подумал, что зря он так сделал, планка у меня упала совсем, и принялся громко ему объяснять, кого и в каких случаях называют тещей. Что, вообще-то, сначала нужно у девушки спросить: согласна ли она? И если он желает спросить, точнее, если он не побоится спросить ее об этом здесь и сейчас, а она ему ответит согласием, вот тогда он может называть маму тещей. Слабо ему спросить?

Во время моей громовой речи он сначала покраснел, затем побледнел, позеленел и вообще менял цвета один за другим. Я сказал, что мне вот не слабо. И ради такой девушки я готов на все. Тем более на такую ерунду, как что-то там спросить.

Тут я сообразил, что несу какую-то чушь, внутри меня всего колотит, и самое страшное: у меня появилось стойкое желание выкинуть Жорика из окна. Сначала его, а потом найти того, про кого Таня собиралась ему сказать, и свернуть тому шею. Я резко заткнулся, пытаясь все это переварить, и пропустил часть разговора за столом. Разговор, видимо, вышел интересным, потому что Таня объясняла что-то маме на повышенных тонах, Жорик сидел ни жив ни мертв, а Роман Олегович сурово хмурил брови.

Я встал. Таня ухватила меня за руку и попыталась вернуть на место. Ага, как же. Да я могу вас всех сейчас взять, зажать под мышкой и вынести во двор. И даже не запыхаюсь при этом. Я осторожно убрал ее руку.

Сказал:

— Спасибо.

Увидел потерянный взгляд Жорика, мне стало его жалко, и я решил его подбодрить. Сказал, что у Тани есть другой и пусть он, Жорик, не надеется.

Жорика как будто ударили по лицу. Он дернулся, щеки его словно облили красной краской.

Танина мама вскинула руки и прижала их ко рту, с ужасом глядя на меня.

Я успокоил ее, сказав, что для меня это тоже оказалось сюрпризом. Подумал, что все-таки веду себя странно — так, как никогда в жизни до этого не вел. Решил, что дело совсем плохо и мне, видать, подмешали чего-то в салат. Наверное, спиртное. Подумал, что не стоит усугублять, отодвинул стул, развернулся и не заметил, как очутился на улице.

После Семен рассказывал, что домой я пришел будто пьяный — шатался, хватался руками за мебель и вообще он никогда еще меня таким не видел. То, что ладони у меня были в крови, — это дело привычное. И рожа разбитая — обычный случай. Но то, что я упал на кровать и так

и пролежал на ней до утра — с открытыми глазами и не отвечая на вопросы, — такое первый раз...

Провалился я целых три дня. Смотрел в потолок, на расспросы домашних отвечал, что это я так размышляю. Готовлюсь. К чему — не объяснял, я и сам этого не знал. Перед глазами все время было Танино лицо, было ужасно тоскливо, и время от времени я развлекал себя тем, что мысленно скидывал Жорика с крыши и потом удовлетворенно наблюдал, как он летит вниз, сквозь листья, ломая ветки, наматывая на себя висящее на балконах белье, и распугивает своим падением клюющих хлебные крошки голубей.

Семен сказал, что я веду себя как ребенок. Страшный, огромный, костлявый детина. С вот такусеньким мозгом (он свернул пальцы в дулю, показав с каким). Сказал, что Таня моя молодец. Много ли я знаю баб, которые рискнули бы пройти со мной по улице? А она не просто прошла — через весь наш район прошагала с высоко поднятой головой. Через район, где, как известно, живут одни идиоты. Ну кроме нас троих. Семена, мамы и папы. Я тоже не в счет, потому что я дебил. И вместо того чтобы лежать, лучше пошел бы и сам у нее все спросил.

Я посоветовал, в какую сторону пойти ему. Семен ответил, что далеко ходить не надо: он прямо в этом месте и живет.

В общем, когда мне надоело лежать, пререкаться с Семеном и швырять бедного Жорика на асфальт, я выполз на улицу. Во дворе стоял привычный вечерний гвалт, ругались на лавочках алкаши, шумели бегающие стайками дети и из открытых окон бубнили телевизоры.

Все наши мужики были на старом месте. Стояли кучкой около торчащих из земли пеньков и сосредоточенно разглядывали чей-то телефон.

Я подошел к ним и неожиданно для себя заявил:

— Чего вы каждый вечер тут стоите? Делать вам, что ли, больше нечего? Лет вам уже сколько? Все детство здесь провели и всю молодость. Вам детей надо рожать да делом заниматься.

Они разом замолкли и вылупились на меня, разинув пасти.

— Чего, — говорю, — уставились? Первый раз видите? Так первый, — говорю, — и последний. Я ваши рожи видеть не могу, так они мне опостытели. Хари ваши мерзкие. Стоите сопли пережевываете. Ну, кто желает возразить?

Желающих не нашлось.

— Тогда, — говорю, — валите все отсюда к такой-то матери. Пойдите и сделайте что-нибудь. Хватит уже здесь стоять. Бабу себе найдите. Да не такую, от которой отвернуться после этого дела хочется или послать куда подальше, а нормальную — чтобы любила вас, уродов, и вы ее тоже любили.

Ванька из ступора вышел и спрашивает:



— Ты чего, Север, с дуба рухнул? Ты че несешь? Какую такую бабу? Ты рожу свою видел, а? Да на такую рожу даже обезьяна не посмотрит. Сбежит, сверкая розовыми ягодицами.

Вот тут он погорячился. Я бы и обезьяну эту стерпел, и все что угодно. Так бы стоял и слушал его еще долго. Но на этих «розовых ягодицах» что-то у меня в голове щелкнуло, я подхватил с земли дрын и без предупреждения залепил Ваньке промеж глаз. У него сразу сделалось удивленное лицо, он на землю задом плюхнулся и замер, глазами хлопая. А остальные дунули в разные стороны, точно мальки в воде.

Я поорал еще какое-то время, палкой помахал, сказал: еще раз здесь увижу — головы поотшибаю. Они меня знают. Они все меня знают. Я могу. И головы могу, и все остальное тоже. Теперь тут никто сидеть и стоять не будет. Пока я не разрешу. Вот детьми обзаведетесь — пожалуйста, приходите, поставим вместо пеньков нормальную лавочку, соорудим козырек, качели, карусели: сам я все и сделаю. А без детей только попробуйте вернуться. Зарою. И песочницу сверху поставлю. Как памятник.

Все последнее я высказал сидящему на земле Ваньке. По лбу у него текла кровь.

Я опомнился:

— Давай домой отведу или в больницу.

Он говорит:

— Ты, Север, в следующий раз предупреждай, когда про детей поговорить захочешь. Мы сразу знать будем — не в духе ты — и сами уйдем. А палкой не надо. Мне же теперь, — говорит, — на работе нужно будет объяснение придумать. Почему у меня башка разбита и копчик болит.

Я ему сказал, что могу еще добавить. Тогда сейчас придумывать ничего не придется. Потом придумает. Время будет. Из больницы-то его так сразу после моей добавки не выпустят.

Ванька посмотрел на меня как бы осуждающе.

— Дурак ты, — говорит, — Север. Вот всю жизнь тебя знаю, ты вроде умный мужик, а дурак. Жалко тебя. И бабы у тебя нет. И не будет.

Глянул — не обиделся ли я? Я не обиделся. Я и без него знаю. Они все это знают. Вот и Таня такого же мнения.

А с чего я взял, что именно такого? Не знаю. Пойду спрошу. И идти недалеко. Главное, решимость по пути не растерять.

Я повернулся и понял, что идти никуда не надо. Она стояла, оказывается, прямо за спиной — маленькая, хрупкая, с огромными глазами на несимметричном конопатом лице.

Внутри меня все всколыхнулось. Зачем, думаю, она пришла? Не просто так же она здесь стоит и на меня смотрит. Да еще как смотрит — без ужаса и содрогания, как обычно на меня глядят. А так... выжидательно, что ли? С какой-то словно надеждой. И глаза светятся. Неужели из-за меня?

Я услышал, как крякнул недоверчиво Ванька, и бросил ему через плечо этак небрежно:

— Только попробуй еще раз при мне мою Таню бабой назвать — убью.

И смотрю, как она на это отреагирует. На «мою Таню». Нормально отреагировала.

— Тебя как зовут? — спрашивает.

— Север зовут. Ты же знаешь.

Тут до меня дошло. И я поправился:

— То есть Сергей.

Подошел к ней, развернулся, встал рядом, толкнул локтем.

Она взяла меня под руку, и я сразу забыл о том, что хотел спросить, забыл про сидящего на земле Ваньку. Мы пошагали с ней через двор, а я все думал: как это она с таким чудовищем идти не стесняется?

А наши изо всех щелей выглядывают — как тараканы, ей-богу. А рожи-то у всех, рожи! Глаза выпучивали, и вон аж языки торчат. Дикари, как есть дикари. Обезьяны. И как я раньше этого не замечал? Неужели я и сам такой же?

Мы вышли за дома.

— Жорик уехал, — сказала Таня.

— Умгу... — нечленораздельно пробурчал я. Помолчал и спросил: — А этот... другой? Из-за которого ты этого Жорика... того...

Она непонимающе посмотрела на меня. Вид, наверное, был смешной, потому что она неожиданно прыснула, прижалась плечом и сказала:

— Другой остался. Никуда не делся. — Прижалась еще сильнее, обхватила мою руку обеими ладошками и добавила: — И теперь я его никуда от себя не отпущу.



Михаил ЛЕВАНТОВСКИЙ

В ИГРУШЕЧНОМ АВТОБУСЕ

* * *

Весь день отгоняя детей от забора
И мух от расчесанных ух,
Во двор не впустив ни бандита, ни вора,
Проверив прохожих на нюх,

В холодные сумерки мордой уткнувшись,
В периметре будки своей,
Дугой изогнувшись, улиткой свернувшись,
Глядит, как ползет муравей.

А в небе рождается знак зодиака,
И день себе ищет ночлег,
Глаза закрывает и шепчет собака:
«Устала я, как человек...»

Буква «л»

Кто не выговаривает
Букву «уэ», того
Ею жизнь одаривает
Щедро и тепло.
Ярче светит уапочка,
Соунце — тоже, чтоб
Чеовек быу уапочка
И не морщиу уоб.
Обуака пушистее,
Уасковой суова,



Ябуоки душистее
 И вкусней хаува.
 Буква «уэ» — как уожечка,
 Ёгкий поцеуй,
 И еше немножечко —
 Ето и июй.

* * *

В игрушечном автобусе куда-то
 Везут продолговатого солдата:
 Торчат из лобового сапоги,
 А голова из заднего окна —
 Ему оттуда родина видна
 В морозном перевернутом тумане
 С комком кутьи и ножиком в кармане,
 И не видать за родиной ни зги,
 И голова побита и порвата —
 В ней ковыряли скальпелем медаль.
 Шофера нет, никто не жмет педаль,
 Лишь тихо за веревочку куда-то
 Везут вдвоем родители солдата
 Автобус, будто саночки, во тьму,
 И мама дышит в зиму корвалолом,
 Продолговатым кашляя глаголом,
 За шаль хватаясь: «Холодно ему».

* * *

Пролетел самолет —
 И над кладбищем снова тихо.
 Только ветер в траве.
 Только жарко и ветер в траве.
 А за полем — канал.
 И у самой воды — облепиха.
 Искупаешься и
 Обсыхаешь — песок в голове.

А бывает, нырнешь —
 И выныриваешь паршиво:
 Как закрутит тебя,
 Ничего не понять, кто где,

Руки, ноги, вода и небо,
И Леха — Шива
Со змеей на руке.
Ну, с такой, что живет в воде.

Пролетел самолет —
И выныриваешь в кабинете.
Понедельник, работа,
Все зыбко и на весу.
Аспирин, кофеин
И зачем-то стихи о лете.
Как песок в голове.
Или будто вода в носу.

* * *

Кафе «У реки» проводит поминки.
Можно свои продукты.
Бабки едят лапшу, затянув косынки,
На кухне кипят сухофрукты.

Женщина в черном вдруг начинает петь:
«Empty spaces, what are we living for» —
Ей от ужаса хочется умереть,
А от громкого голоса трескается фарфор,

С вешалки грохается пальто —
Ее, похоже.
Английский не знает толком почти никто,
Женщина — тоже.

Ее ведут подышать, приоткрыв окно.
Не до этого недоразумения:
У столов суетятся работницы районо,
Умер учитель пения.

* * *

Нам давали цветы на лето.
У меня был всегда декабрист.
Не похожий совсем на поэта.
Неказист.

И несешь вот его до дома —
 Как беременная жена!
 Что пока еще не знакома
 И одна.

И дрожишь, как над первым чадом,
 Тоже будущим, в сонме лет.
 Как проснешься с ним ночью рядом —
 Дышит, нет?

Ну конечно, на самом деле
 Так никто и не представлял.
 Лето выдержит — еле-еле.
 Слаб и вял.

И не в детях-то, в общем, дело,
 И не в женах, и не в мужьях.
 И не в лете, что нас пропело.
 Не в друзьях.

Велика ли была забота?
 И не то чтоб цветок был плох.
 А во всем этом было что-то.
 Видит Бог.

* * *

Уставшая сама от всех наук,
 Оглядывая классную обитель,
 Учительница говорит: «Лесрук».
 А кто это? Лесной руководитель?

Причем здесь он и где он вообще?
 За вешалкой? Под партами? В портфеле?
 Нет лесрука среди моих вещей,
 Как в дневнике — седьмого дня недели.

Должно быть, это выдуманный друг
 Учительницы, мы его не видим,
 И потому не поднимаем рук.
 А то обидим.

* * *

Пока шипит таблетка мукалтина,
Бежит ребенок рассказать на кухню,
Что он вулкан и что во рту лавина,
А может, лава (ну же, щас потухнет!).

Но все уже полдня как на работе,
Но все уже полжизни как не дети,
И самый грустный кратер на планете
Закроет рот и мукалтин проглотит.

И снег пойдет, как пепел, незаметно,
И холодильник, весь трясясь от жара,
Вдруг пробормочет: «Этна, Этна, Этна» —
И замолчит, чихнув: «Килиманджаро!»

* * *

Один человек говорил «номер»,
Другой говорил — «номер».
Один человек однажды помер,
Другой человек — умер.

К ним приходили на 9, на 40,
Переступали порог.
Одни говорили, что в блинчиках творог,
Другие — что в них творог.

Жизнь — это «лестница» с трудной согласной,
Это июнь-июль.
«Смерть» — это слово с ударной гласной.

Ноль.
Нуль.

* * *

когда отец работал на дробилке
чихал и кашлял в злачные опилки
молот зерно за сущие копейки
за что-нибудь на ложке или вилке

а портмоне вздувалось от иконки
пылилось лето на усах котейки
и плакали на огороде лейки
кормили зиму вспаханные сотки
и распускались в сумерках обмылки
на илистом бетоне у колонки —
политы грядки и помыты пятки —
в то время расцветали незабудки
мы уходили заперев калитки
мы уплывали на закатной лодке
в тепло дворов и уличные шутки
и мама на пружинной жаркой плитке
варила суп из голубиной грудки
и месяц сам с собой играя в прятки
дрожал в окне как знак в тетрадной клетке
похожий на рогатину из ветки
подставленной под ржавое корыто —
вот налетели голуби поесть
ячмень пшеница зернышек не счесть.
то было раз
но детям было сыто.
кто б ни снимал и покупал тот дом
пусть птица мира греет их крылом
и шито-крыто круто чито гврито
и вмятины от ножек под столом.



Надя ДЕЛАЛАНД

ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

* * *

как же мне выжить если она смертельна
жизнь на минуту раньше меня с запасом
смелости умирают во мне растенья
но постепенно чтобы не вся и сразу
первыми с красноватой резной бравадой
как оловянный солдатик нет деревянный
так одного сдержанными дровами
огненно очень прямо
и остается мелкая живность вроде
мышки-полевки белки заблудшей кошки
эти боятся смотрят так и уходят
глядя с испугом можно конечно можно
можно идти остается вода и рыба
но и они замерзают и воздух с гулом
выдохнув поднимается голем глыба
памяти возвратилась ура проснулась
все что я знала до вспоминаю после
соединяю если менять местами
если вдохнуть обратно весь этот воздух
все оживут но снова меня не станет

Колыбельная

Спи, мой хороший! Целую висок,
глажу по сердцу, внимаю прыг-скок-
у его ада и рая,
быть невесомой стараюсь.

Ласточкой, веткой, прозрачным крылом
 трогаю веки, и там, где светло
 судорожно сновиденье,
 всходят подсолнухи детства.
 Пыль, паутина, заброшенный дом,
 велосипедом несом и ведом,
 в синь кислорода влетая,
 длишься, и нить золотая
 памяти долгой заходит за тот
 угол, и лишь совершив поворот,
 в бабочках весь и стрекозах
 наземь спускаешься, оземь
 ахово стукнувшись, всходишь ростком,
 смотришь мне в губы зеленым виском,
 тянешься под поцелуи
 листьями, просишь и любишь.
 Свесившись с выступа бедным лучом,
 грусть прижимается ночью плечом
 теплым во тьме бестелесной,
 смотрит волчливо из леса.
 Вот и подумай, куда ей идти,
 если на каждом шагу коротит
 нежность преступно и жарко,
 если ей жизни не жалко.

* * *

росток горизонтальный световой
 ползет прижаться теплой головой
 к плечу груди лопатке шее глазу
 и замереть на вдохе парафразом
 любви живой животной дождевой
 нам скоро осень выпад ножевой
 из-за угла кривляются осадки
 и ветер в метрах маленький и гадкий
 ложится на дорогу на живот
 и ждет меня как кот сторожевой
 не потому что я люблю сентябрь
 а потому что смерть моя светясь
 всегда похожа и куда ни глянешь
 гламур листвы лиловой лужи глянец
 выходят за пределы становясь
 и рвется связь



* * *

бычат быки и пчелы над травой
бычатятся на немоте счастливой
сложив четыре лапки на живот
ромашка ждет полива терпеливо
и нет войны а есть один лишь мир
никто не мертв все безмятежно живы
сияет май над вечными людьми
растет олива

Где твое жало

1.

Вот я и вышла в сад
утренний, неземной —
пчелы в лучах висят
солнца, гудящий рой
света пронзил и, вдруг
медленно подхватив,
в небо поднял и, круг
сделав, не опустил.

2.

Смерть прекрасна, когда выходишь,
оставляя. И видишь яркость.
Точен легкий рисунок пульса
возрастания всех травинок,
донной рыбы уловлен выдох,
и лицо мотылька подробно.

3.

входишь в руки свои как в перчатки
в ноги в голову чтобы сидело
хорошо но ведь знаешь сначала
я не тело

тело только скафандр и не больше
дальше чувствуешь новое чудо

как бы ни было сладко и больно
 я не чувства

я не гнев и не радость и даже
 я не знания мысли не голос
 говорящий во мне я не разум
 я другое

* * *

волглый свет дождевой сквозь ресницы ветвей
 протекает в глазах изумленных стволов
 поцелуешь тебя по молчанье в листве
 сопредельно входя в ее дом нежилой
 прилипает к вискам на щеках застает
 бирюзовые бисеринки у рта
 занывает слезой и находит проем
 где царит дождевая его немота
 там его поцелуи удел голубей
 на мансарде с окошком лица слуховым
 тишина начинаясь руками в тебе
 отворачивается спиною на вы
 ты в окошко выходишь а дождь улетел
 наследив перламутрами трепетных слез
 тронешь ветром травинку в густой темноте
 и вспорхнешь

* * *

Ребенок с возрастом перестает нудить,
 требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,
 понимает, что мамы нету, что он один,
 что она умерла, что какие шутки.
 Вот он едет растерянный и седой,
 в старом тертом пальто, с незастегнутой сумкой,
 совершенно такой же уже, как до
 обретения им рассудка.

Трафареты для жизни

1.

Дождь, любивший меня по дороге к метро
(говорила ему: если любишь — женись!),
расплескал под ногами прозрачную кровь,
серебрящуюся детородную слизь.
Был и голубь под аркой, и ангел в окне
с немигающим нимбом сырых фонарей,
вот и я понесла, вот и зреют во мне
подорожник, чабрец, зверобой и кипрей.
Водяные от мужа скрываю глаза,
засыпаю под утро и вижу во сне:
стебельки и листочки ползут прорезать
трафареты для жизни сквозь смерть.

2.

Из правой руки на пригорке вырастет мак,
из левой лодыжки — подснежник, из-под ключицы —
одуванчик, чтобы дышать учиться
высоко, а возле бровей — гамак
паука с сияющим конденсатом,
на ветру дрожащим, из глаз — вьюнок,
из рта — подсолнух, а между ног —
«Мосводоканал» и «Росатом».
Впрочем, скорее всего — трава.
Так и буду цвести до заморозков, а после
окончания — снова начну. И тогда ты присядешь возле
меня и поймешь, что за птица моя голова.

* * *

подошвами предчувствую траву
она весна и в то же время осень
зимартовские иды так зовут
апрель в чужой системе кровеносной
рассеянные легкие мальки
плывут промеж домов и колоколен
ложатся в рот и в горсточку руки
стекают по щеке и беспокойно
возносятся пылающей змеей
в холодный небосвод копировальный
и больше ничего не настает
и ничего уже почти нормально

Владимир СЕМЕНОВ

ИЗ ДНЕВНИКА ПРИСЯЖНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ

* * *

Дебютировать в столичном «журнале первого ряда» (их самоаттестация) меня сподобило утлым опусом о судебных нравах Петербурга (от очевидца уз-наным: соседа слепой жребий вызвал баллотироваться в присяжные). Завершался он завистливым всхлипом: «Какие шикарные очерки “из зала суда” выдавал бы я, не наври глупая машина...»

Не прошло и семи лет, как моя закамуфлированная под художественный текст челобитная достигла самой верхотуры, где распределяется воздаяние, и была уважена: в почтовом ящике конверт со штампом питерского городского суда. Многолетне человек без поступков, я настолько криминально стерилен, что мгновенная догадка безошибочна: меня хотят присяжным! Казенная бумага (удачный баланс между грозностью и корректностью) назначает испытать лучшую из частей — незаинтересованное созерцание за скромную мзду.

Однако для этого еще предстоит пройти кастинг, берут далеко не всех, а меньшинство. Из чужого опыта знаю, что там все вершится за один присест — и смотрины, и помолвка, и свадьба. И потому нельзя промахнуться с обликом в эти судьбоносные часы: повторного захода на диковинную цель не предвидится.

Определяющий стиль сегодня — доминирование исполнительных посредственностей. Скоро смеаю: надобно преобразиться в дюжинного бюргера — чтобы ни толики асоциальности не проступило, никакого редкого слова не вырвалось.

Скептически разглядываю себя в зеркало. Впервые могут пригодиться и выраженное поседение, и лобные морщины. Но свербит травматичное воспоминание.

...Будучи студентом, вознамерился подработать в массовке на съемках фильма «Анна Павлова», там «Кровавое воскресенье» полагалось фоном. Подвернулся на глаза главному.

— Девочки, это что за фигура?! — вскипел Лотяну на подсобниц. — У нас же ра-бо-ча-я демонстрация!

— Это передовая интеллигенция, — заступилась ассистентка, с которой мы успели слегка задрожиться.

— Откуда в пятом году дымчатые очки? Уберите в задний ряд, — приговорил зоркий режиссер.

Меня изгнали в тыл колонны, строго-настрого наказав не приближаться к хоругвям, иконам и прочим атрибутам лояльности...

Беспокоит также, что я безработный. Принимают ли безработных в присяжные? С одной стороны, безусловное удобство, что люди свободны, явку обеспечат. А с другой стороны, такие вызывают сомнения: ущербные как бы. Отколебавшись положенное, решаю не выдавать себя за трудящегося, дабы не запустить возможную цепочку последующих лжей.

Эталоном одеяния определяю опрятную неприметность, надежнее всего выглядеть наподобие родственника средней дальности на похоронах. (Галстук, загвоздка всей жизни! Об уместности этого сатанинского аксессуара так и не выучился знать. Отвергаю.)

Перед сном, вживаясь в образ безынтеллектуальной благонамеренности, штудирую рецепты Молчалина (да и Фамусов не без пользы).

День 1

Далеко не для каждой намеченной девицы я брился столь истово, как для горсуда СПб...

Не представляя, чем бы еще умаслить судьбу, на пороге даю зарок провести самый трезвый год с наступления совершеннолетия.

В пути избегаю привычно самоуглубляться, пряча взгляд, но, напротив, стараюсь взирать на других пассажиров приветливо, открыто и простодушно, аки Швейк, стремясь заявиться в суд во всеоружии собственной ординарности.

Цитадель законности расположена по адресу Бассейная, 6 — у второго перекрестка от станции метро «Парк Победы». При виде предмета вожделий воскресает позабытое предэкзаменационное настроение.

Следуя веяниям времени, государственное учреждение начинается не патриархально — с вешалки, а с металлодетектора (доберись еще до той вешалки). Пристраиваюсь в затылок к последнему соискателю на прохождение прибора, символизирующего эпоху. Позади стремительно нарастает рой таких же новичков. Поскольку перед досмотром необходимо предъявить паспорт (дежурный парень старательно заносит данные в выдавший виды grossбух), возникает совершенно старорежимная очередь с перспективой скорой давки. Вызванный по рации старший секьюрити разрешает проблему радикально:

— Кандидаты в присяжные проходят мимо рамки с письмами в руках!

Разоблачившись в гардеробе, скапливаемся в просторном холле, отведенном под биржу присяжных. Сидений много, но народу больше — и стены облеплены по периметру. Из недр памяти всплывает картина советской танцплощадки перед зачином гульбища, когда еще почти никто не на взводе.

Появляются кураторши — две явно искушенные в госслужбе матроны и девушка, буквально лучащаяся расположением к миру, что заметно контрастирует с заданной чинностью заведения. Через минуту всем известно, что ее зовут Наташа.

Нам велено малыми партиями заходить в канцелярию и заполнять анкеты. Не до конца уверенный в своей правоте, вывожу в соответствующей графе «временно неработающий».

Выбираю покурить на претенциозное крылечко, имея побочной задачей прощупать режим безопасности объекта. Целенаправленно возвращаюсь, ми-

ную рамку, — и вторично за утро меня пропускают в горсуд без досмотра! Благодарные охраны (четыре вооруженных лба на вахте) несколько смущает: в свое время в приличное казино не попасть было так запросто, а тут пронос компактного предмета на себе нисколько не затруднен — лафа для злоумышленников.

Ожидаемо значительному количеству призывников отяготительно участвовать в судебном процессе. Головастые уклонисты сочиняют отмазки на дальних подступах к исполнению гражданского долга (я сижу вблизи начальственного стола и внимательно подслушиваю).

Одна барышня вкрадчиво гонит, что со дня на день поступает на службу в полицию и, соответственно, обратится в балласт (хотя ясно, что из вопросника выудила запретность такого совмещения). Это беспроектный вариант, ее отпускают с миром: не проверишь.

Кряжистый бородатый дед (готовый профессор Челленджер) путано докладывает, что из-за приступов мизантропии подолгу отшельничает в лесу и не может быть полезен Отечеству в рамках какого бы то ни было расписания. Он получает вольную как «фактически проживающий в другом субъекте Российской Федерации».

Более других доставляет хлопот краля, обремененная тьмой личных дел и негодной нервной системой («Прекрати меня перебивать!» — только что визжала она в телефон, молотя каблучком в пол). Всем видно, что это не присяжный, но сбегать ее по-легкому не получается: блондинушка начисто лишена связной речи и фантазии. Наконец, нехотя попирая основы здравого смысла, маститая начальница привлекает козырный аргумент и шепчет: «Напишите, что вы не можете исполнять обязанности присяжного по религиозным соображениям». Ничуть не важно, какую экзотику наплетешь (манихейство, зороастризм или старообрядчество), ибо ты уже инвалид, раз имеешь за душой формализованные этические приоритеты. «Ч-чего писать?» — не въезжает обворожительный тормоз. Изнываю: пройдя в советском вузе курс «История религиозных учений», я в состоянии заделать экспромтом хоть пяток текстов по данной тематике, однако не смею умничать здесь и сейчас. В итоге дурочке едва ли не по буквам диктуют оправдательный документ и к общему облегчению сбывают это сокровище обратно в реальную жизнь.

Регистрация завершена. «Ура, ура, ура», — напевает Наташа, пританцовывая. Перед нами будто щенок сенбернара — сытый, здоровый, уверенный в любви хозяина и нескончаемости счастья. (Клеркши низшего звена — одно из жутких проявлений русской действительности. Тем отраднее именно в этом развращенном слое повстречать такую степень безадресной бескорыстной доброжелательности.)

После предварительного процеживания образовалось ровно полсотни претендентов на отправление должности вершителя чьей-то участи. Нас собирают в помещении без окон, и, пока принтер вышвыривает экземпляры окончательного списка, начинается раздача одежных номерков, под которыми будем выступать.

Авария! — одного нет. Канцелярия шумно вставляет млеющим от безделья фланерам — судебным приставам (черной формой они напоминают киношных танкистов). Объявляется авральная облава на блудную присяжную душу. Но улизнувший плохиш (с подходящей фамилией Лисёнкин) уже далеко, старшая вынуждена констатировать фальстарт. Прежде чем начать формирование спи-

ска с нуля, приглашают приставского начальника (по четыре звездочки на плечах). По коридорам первого этажа гремит команда: «Кандидатов в присяжные выпускать только в сторону туалета!» Дюжий детина тут же блокирует собою дверь, ведущую к гардеробу. Мы поймались.

Многие женщины взвинчены, Лисёнкину и его родительнице посулено порядочно невзгод. Признаться, понимаю их: не линиялось паршивцу вовремя, протелился до регистрации, а мы теперь торчи тут бок о бок, словно овцы в загоне!

Откуда-то сверху, где давно уж в сборе судья, подсудимый, прокурор, адвокат и охрана, нас шпыняют по телефону. Наташа жалобно отбрехивается, прижав трубку к плечу (пальцы барабают по клавиатуре, корректируя список). Похожим образом, думаю, идут переговоры ходовой рубки с машинным отделением при поломке.

Нас осталось сорок девять, переключка подтверждает. Национальный состав неправдоподобно однороден: сорок восемь русских фамилий плюс гражданин Фрумкин. Правда, у одной женщины имя и отчество тюркские, а у другой имя польское. Предполагаю, что Фрумкин стопудово пройдет из соображений политкорректности, так что на кону можно числить одиннадцать мест.

На пятом часу предсудебного марафона мы переходим на следующий уровень игры в чистилище, где будем окончательно рассортированы на годных и не годных.

— Только пешком! — надрывает связки Наташа. Объясняет своей свите (в которой и я): давеча полколлегии застряло в лифте, заседание скомкалось, чуть совсем не сорвалось. Хлопочет, бедная, как мурка над первым пометом, — никому не доверяет и неустанно следит, чтобы ни один шалопаёв не потерялся в большом незнакомом доме. И до чего же к месту был бы зычный возглас, памятный по детскому саду: «Разобрались по парам, взялись за руки!» Но до этого, увы, не доходит.

Взволакивая родную стенокардию на третий этаж, замеряю высотность места пребывания. На строительство денег не жалели: ко второму этажу ведут тридцать две ступени, к следующему — двадцать четыре.

Канцелярские наконец-то могут выдохнуть: весь табун потенциальных присяжных вдворен в зал заседаний на места для публики (благо ее нет и не предвидится).

Суть предстоящего дела, которую излагает судья (пышущая достоинством дама моих лет), выглядит довольно плоской: одиночное убийство (двумя выстрелами из обрезка) с корыстной подкладкой (иномарка б/у, бабло эквивалентом в 5 тысяч долларов, мобильник) с тривиальным обрамлением из хранения оружия и наркотиков.

Подсудимых двое — русский в главной роли и грузин в качестве присяжного. «Как со знаменем на Рейхстаге...» — проносится в голове. Обидно за такой рефлекс, а ничего не поделаешь: что угодно можно изжить, но с татуированным совковыми штампами подсознанием нам вековать до последнего дня: школа эпохи развитого социализма клеймила прочно.

Приступаем к наиглавнейшей процедуре — представлению кандидатов в присяжные. Церемониал заключается в том, что нас выкликают по случайно присвоенным номерам, дабы мы представляли перед сторонами процесса в пол-

ный рост. В эти краткие секунды разлуки седалища со стулом определяется все. Адвокаты, подсудимые, обвинитель, потерпевшая и ее представитель имеют право на немотивированный отвод любого из нас — и на что же им опираться в решении? Каждый располагает списком фамилий с указанием года рождения, образования, рода занятий и может соотносить эти сведения с наружностью претендента. Никаких иных вводных не предусмотрено, т. е. как встречают, так и провожают (отсеивают) здесь сугубо по одежке.

Следует заранее понимать, что понравиться всем в состязательном процессе нельзя, а сильно приглянуться кому-либо одному — особенно глупо, ибо оппонирующая сторона такого срежет. Посему задача не стараться понравиться, а стараться не запомниться. И вот ради этих-то шести секунд я, точно записной пижон, долгие часы ломал голову над туалетом и вертелся перед трельяжем, репетируя гримасу попроще.

Удивительно, но подсудимые совершенно индифферентны: ближний к нам русский, предполагаемый стрелок (статью и черепом схожий с актером Балуховым, лишь не той дородности), скользит по встающим рыбьим взглядом, не удосуживаясь повернуть голову в нужную сторону, грузин вообще отворотил морду и любитесь завершившим восход светилом. Разве не по их заявке нас сюда собрали?

Зато профессиональные участники стартовавшего действия вперяются в нас придиричиво, прокурор в погонах о двух звездах так просто вылитый плантатор на невольничьем рынке. С таким мастером негоже встречаться взором (выделит из массы, шельмец!), и, когда очередь доходит до меня, я любовно ем глазами судью, воображая для достоверности, что это мой тридцатилетней давности сержант, распределяющий наряды на льготные работы (тогда ты весь одна молитва: выбери меня!).

По завершении презентации следуют общие ритуальные вопросы о нахождении под следствием, судимостях у близкой родни, знакомстве с кем-либо из присутствующих, соответствии цензу оседлости (были ли в списках избирателей на последних выборах) и прочей положенной канители. Поскольку мы все оказываемся примерными обывателями, то отвечаем на сие полнейшим беззвучием.

Разбавляет унылую атмосферу адвокат грузинского фигуранта, предлагая тем из нас, «кто испытывает предубеждение к лицам грузинской национальности», сознаться в этом факте. Вновь тишина, только мужской полупшепот за спиной: «Жесть, а не защита». Откуда бы у нас взяться подобному предубеждению? Живого грузина в Питере встретишь реже, чем любого другого южанина, даже реже китайца, а что они у себя в начальство уже четверть века выбирают каких-то межееумков — так не они одни, этак на полпланеты можно предубеждение простереть. Но внимание! — вопрос этот есть неубиенный шанс для желающих устраниваться от исполнения гражданской повинности. А таковых изрядное количество, ибо нам еще внизу предрекли, что дельце ожидается мешкотное — подряжаемся месяцев на пять.

Но никто (кроме настороженно внимающего всем нюансам меня) не проникся сокровенной сущностью адвокатского вопроса — и дар судьбы единодушно отринут! А когда вскоре поступает разрешение подавать самоотводы, добрая половина контингента образует у барьера толчею. С одной стороны, мне не-

сказанно импонируют доверчивость и честность этих людей, готовых представить судье свои путевки, командировки, сложные рабочие графики, расписанные наперед детские мероприятия и прочие земные заботы, коим несть числа. С другой стороны, мне претит их ханжество: какого дьявола было корчить пресловутую толерантность перед незнакомцами?! Если тебе действительно недосуг возжаться с этим мутным убийством — налги что-нибудь бесхитростное (ну хотя бы: не люблю Грузию за устремленность в НАТО), не привлекут. А теперь кому-то получать от судьбы отвод на самоотвод: нельзя же ей в самом деле формировать коллегия из одних желающих, словно клуб по интересам, таковой состав проигравшая сторона опротестует — и правильно сделает. Ну вот, так и есть: некоторые гордые зайцы, пренебрегшие дедом Мазаем в лице адвоката, возвращаются от судейской кафедры несолоно хлебавши.

В результате: пятнадцать человек смогли ушатать судью освободить их, перед финальным туром нас остается тридцать четыре. Получаем распоряжение удалиться в комнату присяжных.

А там — сюрприз! Здание функционирует с весны 2013 г., спроектировано и воздвигнуто раньше, до того как государство ополчилось на курящих подданных, и в нем по старинке предусмотрены курительные комнаты — для присяжных тоже. Согласно букве новейшего законодательства их следовало бы замуровать, но на такое выдающееся посягательство на здравомыслие, видимо, не решились. Мы набиваемся в бокс водиннадцатером и устраиваем газовую камеру. Дамская часть озабоченно гадает: муж или сын погиб у потерпевшей? Я наслаждаюсь фактом легального потребления табака в «храме правосудия».

Шабаш, селекция завершена, извольте пожаловать на оглашение лауреатов. Волнуюсь ли? Да нисколечко, в душе я уже месяц как присяжный заседатель.

Voilà: чистая победа — я выбран под № 1, вроде как хит-парад возглавил (чемпион по безликости?). Шествую получать нагрудный пропуск № 1 и далее в свое теперь кресло (тоже № 1), понунив голову, ибо рот все-таки предательски расплывается по физиономии, а здесь наглядное торжество никак не к месту. Минутные именины сердца: справедливость хотя и не повсеместна, но далеко не такая химера, как настойчиво убеждает нас сонмище нытиков. Теперь черед выполнять обет про очерк из зала суда, брошенный на бумагу семь лет назад, я обречен на ведение дневника.

В вольере присяжных двадцать одно нумерованное кресло, и судья пошла на аншлаг, назначив в коллегия девять запасных (так понимаю, что это оставляет на судейское усмотрение). Основную дюжину изгоняют обратно в закуток — избирать себе старшину коллегии. Строгая интеллигентная девушка, у которой не проканал самоотвод, машинально стелет перед собой лист и заносит над ним авторучку. Фрумкин понимающе усмехается: офисные ухватки неистребимы. И все, не перезнакомившись еще толком, отчетливо осознают: вот она, наша вожатая. Оперативно, единогласно, без лишних прений мы обзаводимся старшиной.

Наскоро проходим обряд присяги, поочередно выдавая «клянусь» по зачетной судье мантры (проще и удобнее воинской, когда все сам). На чем первое заседание и закрывается.

На посошок судья наставляет нас не совать нос в Интернет касательно данного уголовного дела и вообще не трепаться о нем с кем попало. Разумно. Однако народ пока больше обеспокоен меркантильной стороной. Получаем

разъяснения, что оправдательные документы на транспортные расходы для бухгалтерии обязательны, бензин для личного автотранспорта не оплачивается, судейской автостоянкой пользоваться дозволяется, сроки компенсационных выплат никому неведомы и т. п.

Удовлетворен днем сверх ожиданий. Рассмотрев пятерых работников суда (судья, помощник судьи, заведующая и две сотрудницы канцелярии), не заметил никого похожего на тот вульгарный типаж госслужащих, каковым нас потчует ТВ. В горсуде пока все люди нормальные, с явным наличием служебного опыта и грамотно изъясняются по-русски. Если бы я имел, к примеру, редакционное задание обличить современное судопроизводство, то, положив руку на сердце, обличать в первый день пришлось бы исключительно систему вентиляции — давящая духота.

Марширую по Бассейной с единственной связанной мыслью: теперь лишь бы не заболеть! Да, и еще: не подгадал бы кто из знакомых помереть на выходных, т. к. урочным днем заседаний провозглашен вторник.

День 2

Прибыв в район сильно загодя, совершил моцион по окрестностям (столь же неказистым, как и мое Колпино), а вот прошвырнуться по зданию на манер обзорной экскурсии обломилось: повсюдные приставы (деликатные до невозможности) не просто регулируют движение пришедших граждан, но и не ленятся сопроводить до поворота или лестницы, блюдя декорум.

К началу заседания обозначился первый затык: присяжная № 17 объявилась больной, но не накануне и не спозаранку, а лишь в одиннадцатом часу, когда уже поздно переносить заседание (якобы до последнего надеялась, что проболелет, лгунья). Начинаются консультации сторон о том, можно ли при таком раскладе приниматься за рассмотрение дела. После того как очевидный консенсус достигнут, нас запускают в зал и все основные участники процесса — по очереди и внятно — подтверждают согласие на исключение № 17 и начало работы при двадцати присяжных. Процедура возведена в подлинный культ, она царит в любой мелочи, в этом отношении нам вряд ли есть чему поучиться и у китайского императорского двора.

В результате прокурор переходит к содержательной части только в 11:32. Надо отдать должное: он не испытывает нашу выносливость чтением объемного обвинительного заключения, а сжато вводит в курс дела. Дескать, один подсудимый (буду именовать его Грузин) заманил потерпевшего в гараж затариться кокаином, а другой (а этого — Русак) дважды стрельнул тому в спину из обрезав ружья 16 калибра. Все это пара мазуриков проделала из соображений личного обогащения, разжившись таким образом примерно 1,3 млн рублей, включая имущество по экспертной оценке.

Вслед за тем выступают подсудимые. Грузин признает похищение документов погибшего, по остальным пунктам отказ огулом. Русак подкупающе прост: оружие имел, «убить убил», а больше ничего не знаю.

Когда доходит до адвокатов, один из них пытается порассуждать на общие темы, обращаясь к присяжным в игривом тоне. Судья моментально затыкает ему рот.

Последовательно вызываются трое свидетелей обвинения — подруга убиенного (30 лет) и два его корефана (41 и 32 года). Заслушиваем три однообразных рассказа: однажды (около года назад) потерпевший перестал отвечать на звонки, через сутки хватились и пустились разыскивать, вскоре обнаружили его авто в Купчино (откуда он в последний раз выходил на связь) и еще через пару суток узнали о его насильственной смерти. О чем призваны свидетельствовать эти показания, не постигаю.

Зато проясняется, в каком социальном слое мы очутились. Это зажиточное мещанство, благообразия ради нареченное «средним классом», — излюбленный персонаж и целевая аудитория рекламных роликов («семейные, состоявшиеся люди», как трижды (!) подчеркивает один из свидетелей). Погибший — двухдетный вдовец, «топ-менеджер» питерского филиала общеизвестной заграничной фирмы — много и результативно трудился. Характерно, что все свидетели более или менее путаются в датах роковых событий, но дни недели называют уверенно (четкий признак, что перед нами регулярные труженики), так что скоро я уже совершенно свободно ориентировался в сроках, слыша, к примеру, «а во вторник...». Названия близких улиц Бухарестской и Будапештской (на ней обнаружен автомобиль убитого) перевираются через раз — раздававшие названия советские лохи на славу обеспечили потомков проблемами. Но в целом свидетели мне по нраву: изъясняются связными фразами (пусть и щедро пересыпанными медиаштампами), к месту употребляют не самые ходовые слова...

А вот адвокаты — какие-то сгустки душевной гнилости! Все их вопросы к свидетелям вертятся вокруг наркотемы (по-видимому, обоснованно) либо носят откровенно личный характер. Мне-то это на руку (так или иначе проступают личности через ответы), но просветлению сути дела отнюдь не способствует. Форма же допроса свидетелей попросту обескураживает — перед нами стилистика низкопробного бабьего препирательства: цепляются к словам, недобросовестно обыгрывая оттенки их значений, при малейшей паузе в речи свидетеля делают провокационные вставки, всякий вопрос содержит намек, не проистекающий из контекста произнесенного прежде; все это богато сдобрено ерничеством самого убогого пошиба и соответствующими ужимками.

Типичный фрагмент этой части слушаний (из числа самых безобидных).

Адвокат (поэтапно оглядывая свидетельницу, рельефную красотку):

— С какой целью вы были в ночном клубе, когда познакомились с потерпевшим?

Судья (резко):

— Вопрос снят!

Адвокат (машет рукой, сально ухмыляясь):

— Ладно, ответ понятен...

Судья (повернувшись в нашу сторону):

— Господа присяжные, вы не должны учитывать подобные реплики.

Прокурор также оставляет желать лучшего. Он то просит излагать «в режиме свободного рассказа», то внезапно требует отвечать на вопрос с предельной четкостью. Формально все гладко, а на проверку нечестно: человек с улицы, хотя бы и нацеленный добросовестно отработать на установление истины, но вовсе не привычный к роли свидетеля, неизбежно сбивается с мысли, теряется, может

поставить не те акценты, а ценное упустить. Наверняка так и происходит. Хорошо еще, что речь идет покамест сугубо о пустяках.

Мысленно ставлю себя на место свидетелей. Я более их поднаторел в словесных баталиях, так что парировать колкость не затруднюсь, но если бы заранее не настроился на недружелюбный характер допроса, тоже стушевался бы раз-другой — ведь не с чего вроде предугадать, что тебя станут третировать ни за что ни про что.

Адвокат потерпевших малословен, отбивает номер. Зато судья — конфета! Она спасает шоу, жестко пресекая наиболее откровенные отклонения от существа дела, за каковые один из адвокатов дважды получил натуральную нахлобучку, точно малолетка.

Антураж разворачивающегося мероприятия соответствует тому, что нам известно как телезрителям, оттого не нервирует. Что, конечно, не делает его приемлемым и не избавляет от порицающей ремарки.

Обязанность подсудимых и свидетелей высказываться исключительно стоя может отрицательно отражаться на точности показаний и убедительности доводов: свобода телесной позиции при общении важна для многих людей. К тому же в отношении обвиняемых это необоснованная (в отличие от содержания в клетке) психологическая дискриминация, идущая вразрез с декларируемым равенством шансов. Здесь мы уступаем западным стандартам правосудия, хотя обратная крайность — рукопожатие судьи и подсудимого перед началом слушаний — едва ли может быть рекомендована (вспомним эпизод с милашкой Брейвиком — несравненно по комичности). Элементарные представления о справедливости требуют отказаться от действующей практики.

Наличие же аляповатого балахона на судье («мантии» — ну как если бы пижамку величать «спальным вицмундиром») и императивное обращение «Ваша честь» (дурацкая калька с английского «your honour») не придают процессу ни грана весомости, наоборот — от эдакого комплекта веет чем-то сериальным, если не балаганным. Все сделано очень по-русски: вместо того чтобы устранить сервильную советскую архаику («прошедшего життя подлейшие черты», по Чацкому), мы дополнили ее чужеродными понтами.

Полуторачасовая вольнка с допросом свидетелей завершена, мы узнали: никому из них погибший наркосредств не предлагал, никто не видел его с признаками наркоопьянения, даже самокруток в портсигаре не наблюдалось — сплошь фабричного изготовления сигареты.

Переходим к ознакомлению с фотоальбомом, где множество изображений авто потерпевшего. Интересностей на снимках никаких (машина как машина), передаю соседке (№ 2) и предаюсь разглядыванию двух декоративных участников процесса. Переводчик тупо скучает, ибо у него ноль работы: Грузин владеет русским уверенно (и выговор имеет до того чистый, что можно усомниться, грузин ли). Но гонорар переводчика — абсолютно легальный способ обнести казну, почему бы не воспользоваться? Еще дальше, совсем особняком, располагается эффектная томная брюнетка, погруженная в свои грезы. Предположу, что это наблюдатель от консульства или от правозащитников. Жаль, что ей нельзя выгуливаться и разговаривать.

Около половины второго один из адвокатов приносит обществу первую пользу, выразив пожелание заявить суду ходатайство. Это их процессуальные

секретики, причастность к коим якобы способна нарушить нашу присяжную непорочность, поэтому нам предлагается выйти вон. Радостно перетекаем в свое уже обжитое депо на предмет покурить и оправиться.

В зал нас возвращают лишь для того, чтобы объявить заседание закрытым. Средняя по рангу канцелярская дама напутствует нас в том смысле, чтобы не озорничали с транспортными расходами. Рассказывает: в бытность горсуда на Фонтанке один излишне предприимчивый господин из числа присяжных, проживавший на ул. Декабристов, имел настойчивое притязание втюхать к оплате по три билета в одну сторону: ему-де так удобнее добираться. С удовлетворением знакомлюсь с финалом: шаромыжник не получил вообще ни шиша.

Расходимся. У соседнего зала гомозятся телегруппы — там, похоже, кульминация. А наше дело еще вполне темное, не многое удалось узнать за сегодня.

Но это не конец. Наше появление в гардеробе служит причиной форменного переполоха: безалаберно раздевшись вместе с обыкновенными людьми, мы оказываемся в одной очереди со свидетелями. Подбегают два ближайших пристава и — во избежание нежелательного контакта — проворно разделяют нас на чистых и нечистых. (Надо полагать, такие действия основаны на учете некоего печального опыта, но выглядит слишком уж театрально.) Не сразу дается обвычка, что присяжный — некто наподобие обитателя гетто или зачумленного поселка.

День 3

Охрана сегодня в зимних шапках с кокардами.

Мы предупреждены, что будем «смотреть кино» (представление видеодокзательств). Некоторая мебель переставлена для удобства обзора двух свисающих с потолка экранов. Соответственно, и мизансцена иная: пара от обвинения (прокурор и адвокат потерпевших), пара защитников и пара тунеядцев (переводчик и чернявая дива) сидят за одним длиннющим столом лицами к нам и затылками к подсудимым.

Но сперва проходят допросы двух свидетелей — начальника охраны предприятия, которым заведовал убитый, и начальника охраны коллективной автостоянки (гаражного кооператива), где все и случилось. С первого ничего не добились, а второй малость развлек.

Гаражное урочище это расположено на самом краю города (возле КАД) и питается электроэнергией от близлежащей железной дороги, в силу чего частенько остается без электричества, так что все записи с камер видеонаблюдения носят характер довольно абстрактный — могут совпадать с реальностью, а могут и различаться на сколько угодно.

— Нам не дано знать, когда появится мастер, чтоб настроить систему заново после обрыва света, — с таким проникновенным фатализмом заключил свое сообщение босс по сторожевой части.

Новая смена охраны в бейсболках.

Мы тщательно таращимся на загадочные маневры двух машин — чьего-то джипа и предположительно авто потерпевшего. Камера на автостоянке, камера на бензоколонке, две камеры на Софийской улице чуть южнее бензоколонки зафиксировали, как в течение часа-полутора эти транспортные средства перемещались с места на место и как некие граждане пересаживались из одного из них

в другое либо топтались около. Что скрывается за этими внешне сумбурными проявлениями активности, уяснить невозможно. Что подразумевает прокурор, крутя кино и раз за разом маркируя на экранах нужное авто, тоже не взять в толк. Решаю так: должно быть, это прелюдия, вскоре воспоследует и сам обличающий акт.

Однако вместо этого мы смотрим очередной фотоальбом с цветными снимками окровавленного трупа и зачем-то рентгенограмму его грудной клетки, обращенной в суицее решето. Отлюбовавшись, как всегда, первым, переключаю внимание на красу процесса — брюнетку (сегодня она расположена строго анфас ко мне). Брюнетка имеет соседом адвоката потерпевших и, пока кровавые снимки гуляют по рядам, рьяно кокетничает с ним, нашептывая что-то явно не относящееся к делу. Однако мы порядком надышали, и в один такой интимный миг она картинно прерывается, дабы подавить столь некстати нагрянувший зевок. Вперяет расширившиеся от усилия лицевых мышц обольстительные очи прямо в меня, я непроизвольно проверяю, застегнута ли верхняя пуговица рубашки, и досаду на себя за во всех отношениях бессмысленный жест.

Прокурор разочарованно доводит до сведения судьи, что остальные свидетели не явились.

— Ну а что вы хотели? Все как обычно, — бесстрастно изрекает та и объявляет об окончании заседания. Видимо, залучить свидетеля — какое-то особое искусство, это вам не покорный присяжный.

Я совершенно потерял: что тут напишешь? Никакой завалющейся интриги, незатейливое корыстное убийство, каких на Руси десятки на дню (одно из двух с половиной сотен питерских убийств того года). Неужели вся помпа с присяжными затеяна из-за высокого общественного статуса потерпевшего?

Одна присяжная коза все-таки снова накосячила в гардеробе. На сей раз ей выговаривают уже по полной программе.

Местные вечерние новости сокрушают мою меланхолию молниеносно: оба подсудимых заявили, что завинили их напрасно, а все признания добыты пытками. Адвокат Грузина повествует об истязаниях бумажным мешком. Адвокат потерпевших разоблачает стремление убийц уйти от ответственности. Процесс оживает на глазах.

День 4

Выбравшись из метро на Московский проспект, трачу до получаса на осмысленный променад: поскольку неотвратимо близится время пребывания в духотице и неподвижности, есть резон надышаться и находиться.

Выгулявшись вдоволь, появляюсь первым, даже пристав, отпирающий наш зал, еще досиживает последние вольные минуты в своей вахтерке.

Все часы в суде замерли на 2:02. Не только в гаражном кооперативе электроэнергия пропадает!

Наконец подгробает № 3 (старший среди нас и тоже очень пунктуальный человек) и заводит базар о недельной давности сюжете на ТВ. Он настроен скептически по отношению к правоохранителям («знаем мы их, подбросили наркоту»), я доволен, что выяснил это настолько заранее.

Выходя на арену, отмечаю замену переводчика. Но главное изменение, конечно, другое — удвоенная охрана, в том числе один офицер. Настораживаюсь: что-то будет?..

Ничего не будет, та же зеленая тоска. Сегодня на лобном месте женщина русского подсудимого. Выматывающий допрос ее неоднократно прерывается оглашением протоколов обысков квартиры и гаража, хождением по рядам подтверждающих фотографий. Свидетельница располагает к себе безмерной простотой, хотя подчас и выглядит забавно. Пошла было в отказ насчет показаний про собственного мужика, подученно сославшись на ст. 51, но домашняя заготовка была преодолена играючи: прокурор задал пяток незначущих вопросов касательно Грузина (а здесь нельзя не отвечать), вогнал ее в темп, а дальше — по нужной теме как по рельсам. И вот уже честную тетку деловито разделявают, адвокаты, как ни странно, в доле (и сама не заметила, как ответила на все, на что не хотела). Затруднения с вербализацией ощущений тоже немалые. (Вопрос: «Как относился обвиняемый к распространителям наркотиков?» Ответ: «К распространителям наркотиков он относился категорически!»)

Обстановка заседания пробуждает в памяти соответствующие сюжеты из золотого века русской прозы. Соседка (№ 2) смежила веки и склонила голову. Лопухий охранник стоит с закрытыми глазами, по-лошадиному (и навряд ли медитирует, судя по отсутствию признаков одухотворенности). Полицейская толстуха преет и обмахивается меховой ушанкой. Переводчик — единственный, кто дрыхнет не таясь.

Что же привелось узнать нам за сегодня? Грузин (по роду деятельности этакий DJ-кочевник широкого профиля, организатор празднеств в кабаках) нанял Русака (а этот судимый, в прошлом наркозависимый) в качестве шофера со своей тачкой возить музыкальную аппаратуру, изредка они выпивали в гостях у бабы русского, однажды и с ночевкой. При обыске в гараже Русака обнаружены труп и обрез ружья (1958 г. выпуска). При обыске в квартире (его ли, бабы ли его) изъяты предметы одежды убитого со следами от применения огнестрельного оружия. В один из вечеров около даты совершения преступления гостевавший Грузин попросил хозяйку вызвать ему такси, хотя имел с собой мобильник.

Честно говоря, не ахти. Но меня все более смущает постоянно витающий над этим делом наркотический аспект, он вспыхивает и гаснет как-то вдруг, без всякой видимой привязки к прочим фактам. Такое неприятное состояние бывает, когда пропустишь завязку сериала, где заложен фундамент дальнейших конфликтов, а потом долго силичишься разгадать мотивы действий героев. Вот я ни на секунду не выключаюсь из слушаний, а вникнуть в смысл многого пока не могу — сплошь какие-то недоговорки и туманные аллюзии. Стороны и судья, изучившие дело (в нем с десяток полновесных томов, на судейском столе лежат), понимают, что к чему, но согласно держат нас в неведении, не торопясь развувать коренные коллизии, повлекшие летальный исход.

Слегка развеивает атмосферу сшибка перед закрытием. Прокурор, мужичок явно забиячливый (представляю, как он машину водит), презрительно отпускает адвокату Грузина: «Вас недоучили, что ли?» Тот возвращает в стиле, что, мол, сам такой. Судья выносит обоюдное замечание и — по случаю при-

вычной уже неяви прочих свидетелей — отпускает всех — кого по домам, кого по камерам.

Присяжных подмывает перекинуться парой слов об увиденном, но в большой комнате как-то неловко высказываться во всеулышание, поэтому шушукуются по двое-трое. Зато в курилке — натуральный форум, наша дымящая шестерка дебатрует вовсю. Мне, разумеется, ценнее слушать и наблюдать, но, дабы предстать своим в доску, делаю значительную мину и вставляю пару ба-нальностей.

На выходе встречаем несколько телекамер. Значит, вечером опять придется узнавать о собственном (да, уже так!) процессе из телевизора.

Вечер. Лоснистый адвокат потерпевших победоносно докладывает на камеру, что были предъявлены неотразимые доказательства виновности подсудимых (это какие же?). Рановато он торжествует, мы в курилке еще ничего не решили. Да и не такой он дурак, чтобы в самом деле торжествовать. Скорее всего, перед нами лишь жалкая самореклама. Но вообще создается впечатление, что процесс ведет двойную жизнь (как герой «Осеннего марафона» на другом канале): убаюкивающая рутина заседаний и яркая экранная суета вослед — вопиющее эмоциональное несоответствие.

День 5

Подводная часть процесса продолжала бурление — уже на нескольких каналах я наблюдал комментарии, «свидетельства» и тому подобную муру. Неужто это массированное суесловие есть покушение на наше юридическое целомудрие? Любопытно, смогут ли коллеги не поддаться (законному) чувству противоречия и остаться в границах беспристрастности? За себя не тревожусь: 30 лет прожил в СССР и не тронулся рассудком.

Ряд заграничных терактов разнервировал власти: второй день в СПб режим, соответствующий теругрозе, радио предупреждает об усиленном патрулировании. Моя физиономия с выраженной азиатчинкой — не самый выгодный облик при таком раскладе.

Вообще-то, презиридное число хлопот у исправного присяжного. Опаздывать нельзя (и думай ни свет ни заря о состоянии дорог при текущей погоде, о вероятности акции протеста дальнобойщиков), заболеть нельзя (заботливо подбери облачение) — отчислят к чертовой матери, как малоценного младшекурсника. Восемь запасных дамочным мечом нависают надо мной (в зале сидят за моей спиной во втором ряду).

А с другой стороны, мы становимся если и не коллективом, то в известной мере обособленной общностью. Утро мое прошедшим гладко не назвать: поломка молнии на куртке, сорокаминутная пробка (а ехал стоя), нервное ожидание уличной проверки документов, вовсе неуместной при образовавшемся дефиците времени. Но вот нагоняет меня на Бассейной гражданочка под № 8, делится своими дорожными печальками, нахваливает погоду в противовес человечьему бардаку (искренно поддакиваю по всем пунктам) — и мы поднимаемся на свое рабочее место в возвратившемся душевном равновесии.

Опять стопроцентная явка, опять опоздавших нет. Таким уровнем дисциплины поражена сама начальница канцелярии. Желая поощрить нас, она ро-

няет между делом: «Вам не душно?» Комната оглашается скулением, что скоро начнется падеж личного состава от духоты. Заведующая окончательно пленена нашей безропотной стойкостью — таких героических присяжных она, похоже, еще не встречала. Нам включают кондиционер и вручают пульт от него. Месяца не прошло, а проблема решена!

В итоге открытие заседания задерживается на час с лишним: сперва нас извещают, что «доставка опаздывает» (чарующий сленг), потом скрежет запоров за дверью — но по-прежнему ничего не происходит. Офисные работницы привычно кофейничают, другие играют с гаджетами (№ 18 рядом со мной весь час безотрывно изучает каталог маникюров). Старик № 3 сегодня с закатанными рукавами рубашки, и я на каждом перекуре тщуь прочитывать содержание татуировки на его правой руке, но целиком она так и не предъявляется, сохраняя интригу.

По ходу нудной паузы нас запрашивают из зала суда, готовы ли мы на следующей неделе прийти не во вторник, а в четверг? В недоумении переглядываемся: да когда прикажете, тогда и потусим. Ан нет, все хитрее: оказывается, если хотя бы один из двадцати объявил о своей занятости в четверг, заседание перенесли бы на неделю... Общество в неподдельном изумлении: чего ради с нами так чикаются? Впрочем, все изъявляют согласие на четверг. А занятно было бы посмотреть на того одного, кто рискнул бы пойти поперек...

В зале узнаем, что свидетели в этот раз не пришли совсем, поэтому долго дискутировалось: заседать ли вообще? Эх, вот где поприсутствовать бы! Однако и надежды нет на такое: табу на участие присяжных в процедурных вопросах тотальное. Постановили все-таки позаседать сколько получится, а к свидетелям применить меры воздействия.

Зачитаны пустейшие показания свидетеля на предварительном следствии, в доме которого (в деревне Гатчинского района) на пятый день после убийства был отловлен Грузин. Один за другим распечатываются пакеты с вещдоками (всего их пять). У Грузина изъяты (согласно протоколу) вещи убитого: паспорт, водительское удостоверение, талон техосмотра, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис, телефон, электронный ключ зажигания с «брелком» (так прокурор настырно склоняет это слово) и гора всяческого мелкого мусора, обременяющего наши карманы. В портмоне и причиндалы самого Грузина: водительское удостоверение, миграционная карта с патентом на работу (ненароком узнаем, что он является подданным Азербайджана), копия паспорта. Так выясняется, что толмач-то наш не с грузинского вовсе: он подходит к столу (наконец-то смог блеснуть тщательной недобритостью), вертит в руках бумажулю и веско подтверждает, что на ней по-азербайджански начертано слово «паспорт». Далее бодяга с изъятым на квартире Русака: пропуск, квитанция, чек и т. п. Что-то из этого набора пускается по рядам (например, включенный смартфон потерпевшего с его фотографиями), что-то демонстрируется только мне и № 2 (стол с вещдоками, которыми оперирует обвинитель, установлен возле нашего края огады сектора присяжных). Действие протекает не просто бесконфликтно, а подчас даже как-то идилично: прокурор — сама обходительность, обменивается с Грузином дружелюбными подколами, не испросив на то разрешения судьи. (Что уместилось в один абзац при описании,

потребовало более полутора часов напряженного внимания с параллельной записью существенного.)

В свободные секунды наблюдаю томящихся в бездействии адвокатов. Защитник Грузина имеет сходство с птицей марабу — выдающийся нос, вечно втянутая в плечи голова, слегка принаряжен посредством галстука. Так и стану его величать. Адвокат Русака — кругленький, румяный. Колобок?.. Не, пусть будет Пончик из «Незнайки на Луне».

Драматургия процесса представляется совершенно таинственной. Будучи довольно наивным подростком, я некоторое время предполагал пойти по юридической стезе и захаживал в суды поглазеть на уголовные процессы для ознакомления с повседневностью намеченного поприща. Последовательность всегда соблюдалась следующая: прокурор оглашал обвинительное заключение (т. е. развернутую версию следствия о характере и развитии во времени подсудного деяния), после чего предъявлялись доказательства в обоснование заявленного. На этом же процессе все пока навыворот: мы понятия не имеем, что именно нам доказывают, никакого связного обзора происшествия не представлено даже косвенно, обиняки и недомолвки на каждом шагу. Известно, что прокурор имеет право структурировать обвинение по своему усмотрению. Но в чем он видит выгоды, устраивая подобное темнилово, угадать не получается. Впрочем, дело-то наше телячье: сиди и смотри.

По завершении заседания к нам заходит судья и спрашивает, есть ли вопросы. Старшина и № 12 наперебой бросаются доложить, что прокурор однажды оговорился, читая протокол обыска (всего-то: вместо «двенадцатого» — о месяце действия — сказал «десятого»; но кольнуло и меня, и сразу же зашелестели языками адвокаты — вся наша свора на стреме). Судья оглядывает нас с исполненной гордыни материнской улыбкой: ей достались образцово-показательные присяжные, что-то вроде школьных отличников — кроткие, послушные, ничему не мешают и всему внемлют. Украшение заведения, короче. Жалковато, что пока не додумались учредить почетное звание «Коллегия высокой культуры процессуального обслуживания» или какую-нибудь аналогичную фенечку типа «Лучший по профессии». (И никуда не деться от того, чтобы вознести хвалу уровню человековедения правоохранителей: наш однородный концентрат вычленен был в первый день из случайно подвернувшейся породы без кропотливых собеседований, по скудному набору анкетных данных. Положительно, они знают о нас что-то такое, что нам самим неизвестно.)

Судья призывает не стесняться и подавать записки с вопросами, если что. (Кстати, она стоит, мы сидим, кто и развалясь, — это ничем не дискредитирует авторитет правосудия.) Но вопрос один (уверен, не у меня только): когда нам перестанут морочить головы? А такой не подашь.

На выходе все стандартно: на сей раз перед телекамерой выкобенивается Пончик. Я готов биться об заклад, что у них согласован график выходов в эфир.

Вечер. Отрадно заметить: в отличие от собратьев по ремеслу, Пончик не порожняк гонял, а посетовал, что ценные свидетели увивают, поскольку на предварительном следствии намолотили неправды. Ну-ну...

День 6

Появляюсь вторым. Вынужденно отслушиваю, как № 20 калякает с нашим приставом Миронычем о зарплатах их детей (тот не спешит наверх ради двух ранних пташек, мы кантуемся в пустынном пространстве первого этажа).

Вдоль дальней стены протопала фигура с портфелем, и я не сразу опознал в ней прокурора. Как же он невзрачен вне зала — сущий мышонок! Партикулярная куртейка, облезлый портфель (не советского ли производства?), непоправимо невнушительная походка... Стороннему человеку вообразить нельзя, что спустя полчаса он обратится в языкастого громовержца. Пробую представить его в домашней обстановке — и ничего выгодного не получается.

Проникаюсь чем-то, смутно напоминающим участие. Человек проводит земной срок в незримых оковах госслужбы. У него всегда было, есть и будет начальство. В отличие от самого затруханного конторского служащего он лишен возможности перейти к другому барину (конкурирующей прокуратуры нет) — тогда пропадут бережно собранные бонусы более или менее беспорочной службы. Он состоятельнее меня минимум на порядок, но я — последний раз бывший в работниках у государства в 1989 г. — не нахожу оснований позавидовать ему...

Содержательную часть заседания предваряет грандиозный втык от судьи, который получают стороны процесса за свою медийную гиперактивность. Присяжным дается наказ воспринимать все балясы на TV не иначе как «враждебную информацию».

Далее первым делом исправляется недоразумение предыдущего дня: прокурор повторно (полностью!) зачитывает документ, где допустил оговорку.

Допрос старшей сестры убитого. Показывает, что на четвертый день пропажи брата ей позвонили из Москвы на предмет того, действительно ли его автомобиль продается. Она тут же донесла куда следует (тачка-то уже сутки как обнаружена в Питере), и полиция вышла на след.

Зачитываются показания гражданина из Химкинского района Москвы, который встречался в окрестностях аэропорта Шереметьево с двумя продавцами авто с целью удостовериться в чистоте происхождения объекта торговли и убедился, что товарец с душком. По протоколу он опознал по фото наших подсудимых (они были задержаны в Питере через день после переговоров). Вся операция по сбыту автодобычи организована до того топорно, что сразу как-то и не верится в такой чудовищный дилетантизм.

Зачитывается выдержка из протокола обыска злополучного гаража, согласного которому был обнаружен пакетик, содержащий 0,78 грамма вещества белого цвета (последовавшая вскоре экспертиза идентифицировала его как кокаин). Когда прокурор протягивает мне том дела с фотографией этой улики, я, не вполне избавившись от остатков утренних раздумий о нелегкой доле служивых, впервые галантно привстаю, предупреждая его от лишнего шага. Неправ, конечно. Мысленно выговариваю себе в подражание Чичикову: «Веди себя вперед хорошо!»

А далее — шокирующее сообщение судьи, что представление доказательств близится к завершению, в силу чего стороне защиты надлежит быть готовой к выходу на авансцену в одно из ближайших заседаний. Самый короткий рабочий день (полтора часа) объявлен окончанным. А развернутая картина преступления? А хоть допросы подсудимых?



На форуме в курилке царит открытый ропот, сменивший тихое недоумение. Все так растеряны («Он же ничего не доказал!»), что одновременно говорят по два или три человека, плодотворно встрять немислимо. Вызревающее совокупное настроение — проявить активность, раз уж сами не справляются, решительно вмешаться в течение процесса подачей вопросов.

Просуммирую наш бедлам с добавлением собственных невысказанных соображений.

У Русака, понятно, дело дрянь — неясно, на чем он рассчитывает отползти. Мы еще готовы с пониманием отнестись к возможному рассказу, что наркота, документы и телефон — следствие провокации. И даже обрез — не совсем убойная улика (по дробинам нет однозначного заключения, что стреляли из него). Но тот факт, что в твоём гараже найден промерзший труп с огнестрельными ранениями (на следующий день после того, как послал свою бабу погасить застарелый долг за этот же гараж), будь любезен объяснить, здесь никакой презумпции невинности не хватит. Скорее поверится в самую тухлую конспирологическую телебурду, нежели в то, что злокозненная уголовка столь своевременно подбросила тебе в гараж постороннего жмурика.

А Грузин непосредственно по убийству чист, как агнец божий. Ребенку доступно, что потерпевший и предполагаемый стрелок не могли быть в контакте, до того различны они во всем (социальное положение, культурный уровень, круг интересов). Грузина же — тороватого малого с обаятельным лицом мошенника — легко представить в знакомстве с кем угодно. Психологически он очень тянет на идейного вдохновителя и организатора. Но из этих ощущений обвинительный вердикт не сошьешь, нужна опора попрочнее, каковой пока что и близко нет. Положение предурадное: мы практически уверены, что этот гастролер обустроил убийство, и мы же вскорости обязаны будем выписать ему оправдание. Разумеется, здоровое естество бунтует против подобной кукольной роли. Да и то, что дуэт гиен от адвокатуры будет торжествовать, палец о палец не ударив для того, крайне неприятно.

В коридоре безлюдно, TV отлучено от процесса. Напрасно, этот соус блюду не мешал.

Не отойдя от общей взбудораженности, по дороге к метро вырабатываю перечень вопросов, какие целесообразно заготовить к следующему заседанию, дабы подкорректировать ход процесса. Большой опыт в деле формулирования мыслей и большой досуг как бы обязывают меня к этому — не сомневаюсь, что справлюсь с общей задачей лучше всех.

И лишь в дилижансе производства Павловского автобусного завода возвращается верное понимание избранной миссии — отстраненное скрупулезное наблюдение. Я вроде оператора, снимающего дикую природу во всех ее трогательных и омерзительных проявлениях: заботься о выгоднейшем ракурсе, как можно больше фиксируй и ни во что не вмешивайся. Последнее подчас с трудом дается. Нестерпимо, должно быть, смотреть на последние секунды блаженно замечтавшейся косульки, располагая возможностью спасти ее от крадущегося плотоядного гада. Но тогда и не берись.

Провожу вечер в попытках примирить в себе чувство долга художника с чувством долга гражданина. Или хотя бы сбалансировать их. В итоге оставляю

малый зазор для вмешательства в самом критическом случае, т. е. при явном попрании справедливости на финальной стадии. Удержусь ли? Не факт, годы не весь темперамент выветрили.

Еще беспокойство: быть может, мы какие-то неправильные присяжные, раз недовольны, что нас держат за полудурков? Никогда не смотрел постановочные телепроцессы, но делать нечего — надо познакомиться с шаблоном, диктуемым ящиком. Размечаю программу подступающей недели, она у нас выходная — у судьи образовались важные дела.

День 7

Всю каникулярную неделю добросовестно полоскался в кромешной пошлости инсценировок судебных процессов. Соображение следующее: кто-то из моих соратников по коллегии является зрителем этих передач (женщины-то точно) и невольно моделирует свое поведение по увиденному, лучше быть готовым ко всякой левизне.

Небесхлопотно, но настроил себя на строгое невмешательство, соглашательство и прочий коллаборационизм. Допускаю, что такая пассивность отрицательно скажется на престиже среди коллег — за ненадобностью я больше не кошу под простака, от меня имеют право ожидать. Что ж, как говаривал мой бывший будущий тесть, ведешь хозяйство — терпи убытки.

Сегодня приехал совсем рано — у нас день первой выплаты, предстоит подготовить оправдательные документы для компенсации транспортных расходов. На пару со средней канцелярской дамой выбираем из собранного мною вороха билеты на маршрутку номиналом в 1, 10, 25, 45 и 50 рублей, компонуем их группами по 55 рублей (текущая цена проезда с моих выселок) и наклеиваем на справки о приобретении жетонов от метрополитена.

Со стороны это выглядит, конечно, умирительно. Четверть века назад я подвизался главбухом в советской лавочке и сам принимал сходным образом оформленные авансовые отчеты от командированных. Едва ли не целиком преобразился стиль жизни с той затхлоЙ поры, но кое-какие особо цепкие осколки прошлого удержались: анкеты, которые заполняешь при заселении в гостиницах уездных городов, или вот недоверчивая, как дикая кошка, бухгалтерия, над которой не властно время.

Единственный на всю коллегия представитель пригорода, я, соответственно, и единственный, кто обречен на столь громоздкое общение с бухгалтерией, и наверняка представляюсь товарищам таким сельским куркулем с лентами рублевых билетов.

Местом проживания имею Колпино. Это такая населенная местность (в направлении Москвы) с плавающим статусом. По БСЭ — мы есть город в Ленобласти. Но возжелалось властям — и мы уже Колпинский район СПб. Административных удобств уйма. Расселяешь, к примеру, дом в дорогой зоне Петербурга — обязан выдать расселенцам городские же ордера. А нате вам колпинские, зайки! И не придерешься, по закону чисто (таких случаев сотни). А заблагорассудилось президенту под День Победы удостоить нас титулом «Город воинской славы» — так на здоровье, вот мы и снова город, даже подтверждающий монумент тут же спроворили. (Для себя же здесь все испокон

веков определено: когда у нас произносят «поехать в город», подразумевается Питер.) Колпино — что дышло. И жаловаться некуда, ибо в роли отца-основателя располагаем не кем иным, как светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым. Бюст сего достославного деятеля украшает одну из местных набережных. Знаточи уверяют, что размышления у подножия этой скульптуры способствуют постижению меры вещей в целом и понятия «первородный грех» в частности.

Но Колпино — и одно из самых нужных мест города, типа домашних антресолей: сюда можно сплавлять все, что режет глаз, но зачем-то необходимо. Когда при незабвенном женском градоправлении, превзошедшем все кошмарные фантазии Салтыкова-Щедрина вместе взятые, Петербургу пытались всучить высоченное здание, полезность нашей слободы проступила четче всего. Иззаботивший общественность вопрос, куда бы приткнуть бивень газпромовского небоскреба, имел оптимальное решение — в Колпино: вроде и в Питере, а ниоткуда не виден. С другой стороны, тут чего ни построй, панораму не осквернишь. И жаль, что не дошло до претворения: пускай бы миллионеры любовались нашими видами и время от времени сигналы с сотого этажа от их необоримого очарования.

Зато благополучно реализуется другое решение: прославленная на всю страну тюрьма «Кресты», нахально оккупирующая бесценные гектары в центре, целиком перебазируется в Колпино. Собственно, сам комплекс зданий и сооружений уже возведен и года с два как освящен по заведенному стандарту (с попами и ТВ), но вскоре вскрылись некоторые важные недоделки на почве воровства, так что переезд перенесли на попозже.

Эта новостройка в недалеком времени великолепно дополнит исправительно-трудовое учреждение в поселке Металлострой — одно из крупнейших в России (наиболее патриотичные здешние краеведы настаивают, что крупнейшее). Поселок Металлострой (тоже административный мираж, подразделение Колпинского района) — это наше внутреннее Колпино, Гарлем в Гарлеме.

В новых «Крестах» предусмотрены и залы судебных заседаний, не без чванства сообщало ТВ. Это исключительно прозорливый подход. Потому что если на тракте фура завалится поперек (отнюдь не невидаль, я не раз так попадал), то никакого способа быстро преодолеть такую препону в природе нет, автозаку куковать вместе со всеми до прибытия крана, т. е. заседание в такой день отправляется прямым ходом коту под хвост. А судейскому персоналу и присяжным можно попасть в Колпино на электричке. И я прямо-таки предвкушаю, как присяжные ближайших лет массово клеят билеты на манер меня нынешнего. Оттого рукодельничаю с невозмутимостью обладателя истинного знания. Венцом трудов является заявление на имя моей любимой судьи с просьбой оплатить все это хозяйство (непреренно с пространной идиотической мотивировкой, почему я не путешествую обычным автобусом).

Присяжная братия подтягивается. Главной темой светских разговоров служит внушительный шторм, заглянувший в Питер накануне. Работяга № 3 провел ночь на автовышке, разбираясь с деревом, рухнувшим на линию электропередачи. Поносит глупых подчиненных-узбеков, за которыми требовалось присматривать, чтобы их не поубивало.

Начать по графику не получается.

— Совсем развинтилась доставка, — ворчит канцелярия по завершении переключки.

Предусмотрительных среди нас не так уж много: № 16 достает вязание, № 8 — устиновский детектив, остальные пялятся в гаджеты или окунаются в безмыслие. № 2, внимательно пересмотрев свои объемистые записи, сочиняет вопрос, заполняет предназначенный для этого бланк и вручает его старшине для дальнейшей передачи судье (через пристава) с целью последующего оглашения в зале — такова процедурная цепочка для активного участия присяжного заседателя в процессе. Заинтригованно ждем результатов первого опыта.

И опять ни хрена не дожидаемся (просидев полтора часа баранами). Обвинение приготовило в качестве вишенки на торте допрос матери жертвы. Ей нечем помочь разбирательству: рассказывает, как сын пропал, как искали, в положенные моменты всхлипывает. На дежурные приставаания Пончика отвечает, что о наркотиках ничего знать не знает. Марабу упражняется в ссылках из дела о каких-то мелочах, прокурор ловит его на недобросовестном цитировании (что позволяет обоим привычно перебоднуться). Но тот не может уgomониться и наконец выводит судью из себя. Впервые слышим, как она повышает голос:

— Никогда обвинительное заключение не было доказательством и у нас не будет — это технический документ. Даже не спорьте со мной!

Не стоило, конечно, срывать (а Марабу аж просветлел от довольства: не зря день прожил). Эх, почитать бы тот технический документ, но нам нельзя, нам почти ничего нельзя.

Возвращаемся к себе. Заходит судья, разъясняет, почему не задала вопрос от № 2 — это, дескать, уместнее будет при допросе подсудимых.

Кто-то спрашивает у старшины, что содержал вопрос. Та в смущении отказывается отвечать:

— Я не знаю, имею ли право разглашать.

Действительно, для нас столько всяких «нельзя», что уже не знаем, что и можно.

Всю присяжную бригаду отводят в буфет на первом этаже, который специально ради этого визита открывает рабочий день. Меньшинство от тоски начинает кормиться, остальные тупо сидят группками или поодиночке, поскольку поползновение предпринять прогулку по зданию (мое) пресечено на корню — целых три пристава плюс опекушка из канцелярии намертво изолируют нас от внешнего мира и строго доглядывают, чтобы ни одна присяжная единица не выскользнула из установленной последовательности действий. Звучит команда получить верхнюю одежду и следовать в кассу на втором этаже, Мироныч распоряжается: «Первая лестница за гардеробом!» (Чем не пионерский лагерь моего регламентированного детства: общая побудка, поотрядное построение на линейке, шествие с песней на завтрак и так далее до отбоя.)

Гожу вставать в очередь, обзираю патио с семиметровой статуей флегматичной Фемиды, которую обвивают застекленные галереи пяти этажей. Заплавтавшая в здешних лабиринтах дамочка подходит ко мне с намерением сориентироваться.

— Гражданка, проходите — с ними нельзя общаться! — вежливо, но и категорично реагирует ближайший цербер.

Неугасимое женское любопытство немедля дает вспышку в заговорщическом шепоте:

— А вы кто?!

Сокрушенно развожу руками со вздохом пожизненного кандальника:

— Присяжные мы...

№ 2 тоже не рвется в очередь, спрашиваю ее о содержании вопроса. Весьма словоохотливо она начинает пояснять, но все ясно с первых слов тирады. Она захотела узнать, каким образом познакомились убитый и Грузин. Это ключевой момент дела, но вопрос был адресован как бы в космос — и судья не могла прояснить его в процедурных рамках.

Получаю гонорар. Я обошелся казне в 4824 руб. 58 коп. (в т. ч. 1072 руб. за проезд).

День 8

Затяжной проезд через место автоаварии не способствует умиротворенному состоянию духа. А оно-то как раз и нужно: сегодня важный день — мы должны выбраться из обвинительного болота посредством допроса подсудимых. Ожидаю смены вектора в течении процесса, потому что будет на чем подключиться судье, замещая усилия состязующихся импотентов. Окрыленный ожидаемым (а также первым серьезным температурным минусом в сезоне), добираюсь до щедро прогретой обители правосудия вприпрыжку.

Озадаченно взираю на № 2 — она в ботфортах, короткой юбке и обтягивающей блузке. Она самая прилежная из нас, записывает все мало-мальски значимое (иногда запускаю взгляд в ее конспект), так что я стал позволять себе пунктирную фиксацию событийной части. В моей молодости такой человек в студенческой группе почитался за клад. Неужто вырядилась под предстоящее оживление процесса? Пока она появлялась исключительно в изношенных почти до ветоши джинсах и таком балахонистом свитере, что непонятно было, сколько ее самой содержится внутри.

Ба, да нынче половине дам приспичило покрасоваться — яркие цвета (от лимонного до лазоревоего) со всех сторон. Впечатление, что в стране какой-то престольный праздник, о котором меня упустили предупредить. Одетые повседневно, как и я, отчасти растеряны.

После проверки наличия списочного состава мы погружаемся в анабиоз, повторяя предыдущий присутственный день. Та же Устинова в руках № 8; те же спицы с шерстяной заготовкой в руках № 16; те же руководящие наставления сотрудникам от начальницы № 19 («давальческое сырье», «валютный контроль», «техническое задание» и тому подобное вполголоса — как жужжание трудящейся пчелы). Я уже точно знаю, что трое из нас брезгают пользоваться казенными авторучками и приносят свои. Я уже прочно выучил, кто что предпочитает пить по утрам — кофе, сок или йогурт. И оттого отдаюсь рассматриванию мерно меняющегося куска зимнего неба над Московским проспектом — окна нашей светелки на восток, атмосферное давление высокое, этакий замедленный баюкающий калейдоскоп перед взором.

Не всем, однако, дано безмятежно сносить бездействие. Никто никуда не опаздывает, но сбитый до нуля темп жизни невыносимее современному горожа-

нину, нежели подлинная проблема. Как мирнейший семьянин сатанеет за рулем и подчас распоясывается в пробке (чего никогда не позволил бы себе вне автомобиля — в очереди, например), так и кое-кому из нас неведомо от отсутствия экшена. Быстродействующие технические устройства диктуют ритм нашей психике, усидчивость стала диковиной. Поэтому не удивляюсь, когда пенсионерка № 8, схлопнув детектив, посылает миру:

— Это невозможно!

Выхожу в курительный салон. Там откровенно бунтует № 5 (по виду ему лет тридцать):

— Как на вокзале сидим! — произносит он и с чувством пинает блок из четырех сидений.

Мы не удерживаем смех — мебель-то, действительно, вокзальная.

— Чтоб я еще когда повелся на «гражданский долг»... — грозно зарекается № 11. Это серьезный корректный мужчина под сорок, всегда готовый слушать и не спешащий высказаться. Добавляет разочарованно: — Собрали двадцать ответственных людей...

— По наивности попали! Они там все без нас обделяют! — продолжает бушевать № 5, уже с матерщиной. — Почему их не могут рассадить по клеткам до нашего прихода? Им же здесь лучше, чем в камерах.

Этому человеку место на трибуне митинга или заксобрания, такие типы зажигают мятежи.

Возвращаюсь в свое кресло, в нем можно немножко качаться. Пышная блондинка № 12 (лет 45?) жеманно протягивает:

— Хоть бы настольные игры выдавали...

Дело говоришь, голубушка, захвачу на следующие посиделки колоду карт и посмотрю на реакцию. А пока корю себя за то, что не увел с прокурорского стола УПК сразу после запуска в помещение, когда мы еще не закупорены с двух сторон. (Нас — участников судебного следствия по убийству, причем не примитивной пьяной резни, где все ясно изначально, — не считают нужным снабдить действующими кодексами!)

И все-таки разродились — в 12:30 раздается вожденное «Прошу садиться». Но это фальшивка, ложный вызов! Узнаем, что не явились не только все вызванные свидетели, но даже эксперт по оценке автомобиля потерпевшего нашел дела поважнее. Для блезира Марабу зачитывает пару фраз из какого-то протокола осмотра какого-то места, его никто (кроме № 2) не слушает. Прокурор вне себя, водит скулами. Когда нас отпускают, вновь взывая к пониманию, на часах значится 12:35.

Едва последний закрывает за собой дверь, комната буквально сотрясается от хохота — ржем всем кагалом. Обидно, должно быть, судье (слышно же), но ведь и она должна проявить понимание: народ имеет право на разрядку. Поток беспорядочных комментариев, гомон в несколько ртов сразу, все будто дубиной огреты. Никогда еще наша коллегия не была так единодушно весела. Никогда еще нам не удавалось зарабатывать по сто с лишком рублей на рыло за каждую минуту бездельного нахождения в зале заседаний.

— Рекорд! — победно итожит № 16, более других довольная краткостью фарса: на службе ее выперли в отпуск, досадно париться тут в личное время.

День 9

Одиноко сижу в холле и слушаю грохот каблучков проходящих по выстланному плиткой полу дам. Однажды пересекаются сразу трое, и удается уловить нечто кавалерийское.

Появляется № 16 и с ходу делает мне замечание:

— Здесь нельзя в бейджике ходить, чтобы не выпасли, кто вы и что вы.

Втуне пропадают ее постоянная включенность в жизнь и бойкий язычок. Кабы писать диалоги с ее участием — и править не надо, только фильтровать.

После того как отпирают наши покои, забираю из пустого зала УПК и просматриваю сколько-то десятков статей. Увы, среди них есть и ст. 257, в которой предписывается отвечать суду сугубо стоя и обращаться к судье «Ваша честь». Растаяла надежда, что это раболепие не столь жестко узаконено.

Эксперт по автомобилям удостоил суд своим появлением, начинаем согласно регламенту. Без намека на увертюру раздражается натуральная вакханалия, поскольку адвокаты сочли оценку в примерно 1,2 млн руб. резко завышенной для четырехгодовалой BMW и решили атаковать эксперта. Последующие два часа незачем описывать в последовательности, это было сплошное непотребство.

Всякому из нас приводилось сталкиваться с собеседником, вся цель которого заключается в том, чтобы оспорить самое что ни на есть очевидное. Рано или поздно такой разговор сводится к более или менее явному постулированию невозможности доподлинно знать вообще хоть что-нибудь. Добродушные люди зовут типов этого рода занудами, я полагаю такое определение слабоватым при обширном ругательном арсенале нашего языка.

И вот адвокаты взялись за ту же задачу — доказать принципиальную несостоятельность самой идеи объективной оценки транспортного средства. Они не критикуют методические указания бюро судебной экспертизы (и сомнительно, что удосужились с ними ознакомиться), не сопоставляют их с действиями эксперта — допрос вовсе не касается точности определения среднерыночной цены автомобиля погибшего. Они задают наипустейшие вопросы, лишь бы только прицепиться к слову. Если вас раскручивал на показания профессиональный дознаватель, то без труда представите происходившее. Впрочем, основательного опыта ссор с женщинами также может хватить для верного впечатления.

Зачинщиком выступил Марабу. Он разнуздан более обычного. Его вопросы содержат заведомо ложные утверждения, ответы эксперта злонамеренно переинтерпретируются в предисловиях к следующим вопросам («Вы утверждаете, что...» — а и близко к тому не предполагалось), выставляются фантастические допущения в качестве основы дальнейших рассуждений и незаконные требования ответа в режиме «да или нет» — весь полемический потенциал пущен в ход, чтобы словить вопрошаемого хоть на формальном противоречии. Но эксперт — тертый калач (ему седьмой десяток, стаж работы 21 год), он вразумительно отражает безмазовые наскоки Марабу и стоически сносит, как тот постоянно перебивает в самом начале ответа в расчете устроить шумную склоку.

Рядовой образец вопроса (их многие, многие десятки): «В заключении утверждается, что на автомобиле краска многослойная. Вы что, ее отколупывали?» Или: «Система самодиагностики не может показать трещину в поршне на ранней стадии ее появления. Почему же вы пишете, что моторная группа в исправности?»



Содержательно проявить язвительность в такой специфической теме не просто, потому эксплуатируются интонации. Марабу избрал амплу ревизора, который методично мотает душу подотчетному лицу. В свою очередь эксперт предпочел близкую (но не идентичную) позицию бывшего наставника, терпеливо разъясняющего недорослю азы жизнеустройства. Каждый из седовласых джентльменов старательно держится за принятые тональности, однако искорки взаимного раздражения сверкают поминутно.

Прокурор с места предлагает «прекратить надругательство над правосудием», но судья встречает идею тормозящим жестом: адвокатствующие негодяи в своем праве, в рамках закона сделать ничего нельзя, а замечания они игнорируют. (Упоительно, должно быть, публично предаваться свинству, зная, что не выщется!) Судье остается только снимать вопросы или переформулировать их под достойную человека речь.

И тут свежую струю вносит Пончик.

Зачастую единственное слово воскрешает в памяти приманчивый образ, а иное слово способно вывести из равновесия само по себе. В нашем случае таковым оказалось с виду нейтральное слово «штангенциркуль». Услышав, что эксперт пользовался этим инструментом для некоторых обмеров, Пончик откровенно возбудился. Более получаса он насильно аудиторией вопросами, в каждом из которых сладострастно проговаривалось заветное слово «штангенциркуль», причем восемь раз (я ставил палочки на служебном листе) начинал так (сочно причмокнув): «И последний вопрос...».

Заседание окончательно оборотилось в подобие завершения застолья. На «допрос» свидетеля никто не обращает внимания. Переводчик достал из сумки книгу и углубился в ее изучение; № 10 и № 11, несмотря на требуемое от присяжных безмолвие, ведут оживленный диалог на автомобильные темы; непоседа прокурор перебрасывается репликами с ближайшим к нему приставом и с Грузином; подсудимые периодически перебирают бумаги, и микрофоны в клетках разносят шелест по всему залу; брюнетка с неизвестным статусом напропалую любезничает с адвокатом потерпевших; притязанная на импозантность менеджерша № 19 сладко всхрапывает над моим правым ухом...

Марабу изъявляет желание заявить суду ходатайство. Получает от судьи пистон за нарушение порядка работы (мог бы и до начала подсуетиться). Тем не менее нас выпроваживают. Мы настолько обжились в своем мирке, что считается допустимым общаться без экивоков. № 2:

— Кто объяснит мне, ради какого хрена эта байда?!

Единственное предположение в том, выдвигаю я, что размер похищенного имущества может влиять на срок, адвокаты сбивают ценник с семизначного на шестизначный.

Возвратившись, получаем на руки по листу интернетовской распечатки с предложением похожей машины за 0,5 млн руб. Марабу полный пень: он предполагает, что мы примем эту бумаженцию за доказательство предвзятости экспертизы (кто-то сзади: «Небось сам же и тиснул эту объяву»).

Грузин заскучал и решил блеснуть автомобильной эрудицией. Но судья уже взяла курс на прекращение балагана: дважды он пытается завязать диспут с экспертом и дважды же получает повеление сесть на лавку из-за отсутствия

сформулированного вопроса. В промежутке Пончик лезет с еще одним «последним вопросом».

— У вас вопрос по делу или для пополнения багажа знаний? — издевательски, но и строго осведомляется судья.

— По делу, по делу, — лопочет Пончик и выдает очередную околесицу. Вопрос снимается, больше слова ему не дают.

После раздачи замечаний за некорректное поведение (заодно и прокурору — ему, естественно, не молчалось) шабаш прикладного релятивизма объявляется закрытым. Все это могло бы быть занятным, если было бы хоть на йоту осмысленным. Подбивая бабки в курилке, № 5 выражает общее мнение:

— Они сделали все, чтобы перед нами опозориться.

Так, да, хотя разочарованы мы напрасно. Вот почему: привнесенные (ложные) стереотипы предписывают нам считать красноречие профессиональной принадлежностью адвокатов, из коих кандидатов в цидероны на самом деле единицы. Данному процессу достались даже не подмастерья, а чернорабочие адвокатского цеха: готовились (видно), а язык обоих скуден, неуклюж — явное свидетельство умеренности ума. Подумалось раз: вот выпустить бы сейчас на ристалище № 16 — она показала бы им класс русского устного.

Расклад, конечно, нестандартный: защитники из кожи вон лезут, поганя участь своих клиентов. Одной из главных забот присяжных становится преодоление чувства гадливости по отношению к адвокатам, дабы оно не распространилось на их подзащитных. Могло ли такое быть предсказано до начала слушаний?

Распускают нас не сразу, судья намерена высказаться. Впервые видим ее без обычной плащ-палатки — и мое недоумение в отношении этого аксессуара улетучивается. Она в футболке мышинного цвета и простецких штанах — обыкновенно такой прикид женщины выбирают для сеанса борьбы с домашней пылью. Теперь и ежу понятно: «мантия» не прищеголье, а должностное удобство.

Во-первых, кормчая нашего процесса мотивирует объявленный трехнедельный перерыв:

— Опыт показывает, что под Новый год никакой надежды на конвой быть не может.

Во-вторых, с недоверчивым к своей удаче изумлением констатирует, что таких благонадежных присяжных за всю долгую карьеру не встречала. Действительно, сплошь покрытый плюсами табель посещаемости навеки останется памятником беспрецедентному прилежанию нашего состава жюри и наверняка займет почетное место в будущем музее горсуда СПб в качестве назидательного примера для присяжных дальнейших призывов.

В-третьих, сообщает, что половину дела мы отработали (а по-нашему, конь не валялся) и поздравляет с наступающим Новым годом, завершая совсем уж неофициально:

— Можно бы, конечно, и шампанского выпить, но это будет дискриминацией по отношению к автомобилистам, что в нашем заведении не приветствуется.

Вечно добродушная № 12 отвечает за нас наилучшими пожеланиями. Разбредаемся. Карты брал зря.

День 10

Метель. Тонизирующий слалом на бомбиле по гололеду.

Займствую из зала УПК и утверждаюсь в верности догадки: с 1 млн руб. начинается «особо крупный размер» (инфляция старше кодекса, однако). Соответственно: за разбой до 1 млн наказание от 7 до 12, за разбой с 1 млн — от 8 до 15. Именно из-за этого нюанса нас отымели в особо извращенной форме в прошлый раз.

Заодно прочитал и ст. 282, этот стыд страны. Дубина универсальная, факт.

Зайдя в курилку, обнаруживаю в пепельнице бычок от дамской сигареты, но без помады на фильтре. Такое было уже. Кто же к нам шастает по утрам? Очень понимаю трех медведей из сказки, когда их навестили без спроса. Магометанские уборщицы вне подозрений — они лучатся от счастья, что сюда устроились. Остаются судья (она не красится) и моя пригожая визави (если через мундштук).

Что вся двадцатка в сборе, никого не удивляет, хотя после новогоднего загула все несколько обалдевшие. И за собой замечаю: чтобы вспомнить номера товарищей, требуется головное усилие. Многие открыто жаждут холостого дня, желая конвойной машине угодить в сугроб.

№ 3 уверенно вещает:

— Доедут. Но нескоро. Из Колпино же переть...

Усомняюсь:

— Надежно знаете?

— Надежнее некуда — из первых рук.

Естественно, учтиво потрошу.

Все просто: дочь недавно замуж вышла, сестра зятя служит в горсуде.

А не так-то и просто. Смеется, прищурившись:

— Меня уже в канцелярию присяжных вызывали: почему про родственницу не донес сразу? Какая, говорю, она мне, на хрен, родственница — даже названия не знаю, кем приходится. Но вот как дознались-то?

Да, тут фирма, тут клювом щелкать не моги. А нью-«Кресты», значит, заработали потихоньку. (Впоследствии не подтвердилось.)

Ожидание укладывается в 80 минут. Судья начинает с разбора полетов, объясняя нам, что следует «абстрагироваться» от обвинений эксперта в некомпетентности, звучавших намеренно, так как это вопрос сугубо процессуальный (говоря по-русски, не ваше собачье дело).

А далее — с места в карьер: объявляется бенефис русского подсудимого, предполагаемого убийцы. Ставим ушки на макушки — дождались!

Гражданин собирается зачитать нам собственную версию событий, изложенную на листах довольно пухлой пачки. Судья дважды увещательно спрашивает: «Может быть, своими словами расскажете?» Оба раза отказ, оба раза он сопровождается просьбой приобщить письменные показания к делу — опасается человек отойти от инструкции, тогда вся тренировка насмарку. Что ж, читай, болезный.

Мы прослушиваем следующую фантазмагорию (хронометраж монолога: 23 минуты).

За полторы недели до события нанялся он к Грузину в качестве водителя со своим авто. Вскоре новый хозяин пожалился мимоходом, что некто домогается

от него и от его сожительницы поставок кокаина, угрожая в противном случае «натравить на них Госнаркконтроль». «Кто он?» — спросил наш герой. «Барыга, живущий с шалавой», — разъяснил Грузин. Решил защитить командира, а заодно и проучить наркодилера, поскольку подобные же люди испортили жизнь любимой дочери и ему самому, очень это вредоносные люди. Убивать не собирался, «хотел причинить боль». Для чего взял обрез («найденный» три года назад в Новгородской обл.), испытал его под путепроводом кольцевой автодороги, зарядил дробью и поехал с шефом на АЗС, где забили стрелку. Будущий убитый пересел в их машину, чтобы ехать в гараж за кокаином, из разговора в пути подсудимый убедился, что тот по наркотической части не последний человек в городе. По приезде на место без предисловий выстрелил со стороны спины в правое плечо жертвы. Грузин возмутился, так как уговора на пальбу не было, но вышел из гаража по просьбе стрелка, предоставив им поговорить наедине. Примерно 15 минут втолковывал раненому, истекавшему кровью на полу, что торговать наркотиками нехорошо, это доставляет много страданий окружающим. Барыга в целом соглашался, только жаловался, что «мерзнут ноги». Уже собирался сделать перевязку, посадить в машину, «подрезать первую попавшуюся скорую и погрузить в нее» потерпевшего, но тот неосторожно сказал, что «за кокаин девочки на все готовы». «Тут меня пережкнуло, вспомнил красавицу дочь», перевернул его на живот и выстрелил в упор.

Когда после операции и перегона авто покойного в другое (недалекое) место «снимали стресс» дома у стрелка, Грузин «подарил» ему дорогой телефон и оставил сумку неизвестно с чем, сказав, что заберет ее позже. Договорились о расторжении трудовых отношений, разочались, однако через пару дней Грузин попросил свезти его в Москву на предмет продажи добычи, посулив за то 30 тыс. руб. Сгоняли туда и обратно, в переговорах о сбыте авто не участвовал. А как вернулся, так тут же в ментовку и забрали. Короче, вот такая фигня получилась ни с того ни с сего.

Резюме этой дикой новеллы понятно: разбойного нападения по предварительному сговору и в помине не было, просто понервничал и укокошил гнилого кента «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» (та же расхожая абстракция, что и извечное «не справился с управлением»), а барахло его оприходовали, чтобы не пропадало зря.

Меня нимало не задевает, что этот троглодит заливаает во всю ивановскую. Стараюсь постичь, какие частицы его рассказа соответствуют истине. (Мы все лжем более или менее одинаково, обкладывая излагаемый вымысел гарниром из правдивых деталей, дабы потребителя лжи запутать побольше, а самим запутаться поменьше.) Это важно, потому что версия обвинения (как я ее понимаю) о тупом разбое тоже никуда не годится (люди целенаправленно идут на мокрую ради подержанного авто; абсолютно не беспокоятся об утилизации трупа, беспечно оставив его у себя; реализуют трофей в форме бездарнейшей импровизации, даже не озаботившись припрятать его). Подозреваю, что угрохали мажора совсем не ради тачки и тем паче не в романтическом аффекте, а из-за более серьезных трений. Но узнать интимные подробности финального толковища — кто что предъявлял и кто чем угрожал — неоткуда, подсудимым нет смысла открываться перед нами. Разве что у живчика прокурора есть что-нибудь в загашнике. Иначе придется удовольствоваться преподнесенной ахинеей.

Не стоит и пытаться записывать ее. Скашиваю глаз в листок аккуратистики № 2: что интересного в ее стенограмме? А там всего лишь одна фраза, любовно обведенная в рамочку, начальное слово которой (написанное крупно, целиком, с разрядкой между буквами) этикет письменной речи запрещает воспроизводить: «...КАК СИВЫЙ МЕРЕН». Такого написания последнего слова я отродясь не встречал, тихо тащусь.

По характеру оглашения показаний русским (запинки, повторные зачитания целых словосочетаний) сразу видно, что текст не его. Последующее четырехкратное употребление слова «евонный» в ходе ответов на вопросы укрепляет в этом бесповоротно. А сам допрос являет собой жалкое зрелище. Его ничемность отчасти сглаживается пафосными проклятиями наркосообществу, которые обильно рассыпает центральная фигура сегодняшнего заседания.

Отбарабанив обязаловку, Русак с облегчением просовывает бумажную кипу в амбразуру аквариума Пончику (тот относит секретарю) и видимо раскрепощается. Иногда переигрывает, неловко и слушать («Я вообще за здоровый образ жизни, как и наш президент!»). Однажды срывается на эпитет «сранный», позабыв, что мы в присутственном месте, а не в телестудии. Спohватившись, трогательно дезавуирует себя, прижав ладонь к сердцу и приговаривая: «Извините, Ваша честь. Извините, господа присяжные». Забавно слышать такое от сознавшегося душегуба, особенно «господам присяжным», которые в кулуарах и в своих записях и похлеще загибают.

Прокурор потешается:

— Если вы считали потерпевшего барыгой, то, соответственно, и вашего бывшего работодателя следует называть так же?

Грузин вскидывается в клетке на прокурора:

— С чего это я барыга?!

Констебль укрошающе выставляет руку перед его носом.

— Получается, что и он барыга, — раздумчиво соглашается убивец, покорствуя логике. — Но тогда я этого не знал. А теперь его презираю.

На вопрос, как же ты, дятел, пуля с двух метров, попал вместо плеча в грудную клетку, следует заготовленная отмазка: обрез был завернут в пару полиэтиленовых пакетов, стрельнул с одной руки — вот и отклонение.

Адвокаты (Марабу и метросексуал от потерпевшей стороны) устраивают вялое препирательство о том, каким образом Грузин ввел в заблуждение своего бывшего водилу — сообщив об отсутствии детей у «барыги» или же утаив наличие оных? На оба их казуистически выверенных вопроса простодушный Русак отвечает положительно. После этого абсурдность дальнейшего допроса становится вопиющей, судья кладет конец горевому заседанию.

Просматривается обидная перспектива: ст. 62 (разбой) никак не шьется почестному, дребедень, каковой нас попотчевали сегодня, равна по достоверности следственной версии, а мы обязаны (и готовы) трактовать сомнения в пользу обвиняемых.

Привычно уношу с собой конспект, но уже на лестнице задаю себе выволочку: если в суде народ действительно начеку, как поведал № 3 о своей родне, то запросто могут и меня ущучить в нарушении (мы обязаны сдавать записи старшине, они запираются в один из сейфов комнаты присяжных). Больше так делать нельзя, придется напрягать память на полную катушку.

Следую в гардероб за парой наших: № 14 убеждает № 13, что зря изгнали TV — «пусть бы все узнали, чем занимается наша элита». Это он об убитом. Кампания по шельмованию потерпевшего приносит некоторые плоды. А без TV, действительно, как-то пресновато.

День 11

Произошла недельная пауза. В прошлый понедельник позвонила наша пе-
 стунья Наташа и жизнерадостно прощебетала о переносе слушаний.

В разгаре эпидемия гриппа — телевизор надрывается, запугивая жителей
 СПб, в отношении меня ему сопутствует полный успех: в обычной жизни такая
 хворь пустяк — поболел и поправился, а если присяжный свалится на неделю —
 хана карьере, там обратно не берут.

Вчерашним вечером конструировал вопрос убийце — очень уж вызывающе
 он нам арапа заправляет. Оказалось непростым делом, это не манерными фра-
 зочками дневник униживать.

Он уверяет, что нашел обрез, три с лишним года держал его на даче без
 употребления, а как привез в Питер — сразу появился случай применить. Столь
 же правдоподобно, сколь и сомнительно. И бесполезняк спрашивать его, зачем
 хранил там или зачем привез сюда, прикинется шлангом — мол, от неприятно-
 стей отбиваться при выездах на природу. А схватить за язык и задать уточняю-
 щий вопрос, как судья или прокурор, я не могу: присяжный не имеет права даже
 пискнуть. Это резонно, конечно: если предоставить и нам волю участвовать в
 допросах, то и за год не закружимся. Но и неудобство не малое, коли не готов
 довольствоваться долей истукана, когда на твоих глазах халтурят. Присяжным,
 пожалуй, потруднее, чем журналистам, вопрошающим президента во время мас-
 сового декабрьского ритуала: тем-то главное щегольнуть гражданской позицией
 или ее отсутствием, а что уж там со сцены будет наговорено — чужая забота.
 Здесь не так, здесь вопрос — ради ответа.

Не справился я с толковой компоновкой вопроса и остановился на корявом,
 умышленно безграмотном варианте: «По каким причинам вы, нуждаясь в обре-
 зе при частых выездах на природу, продолжительное время хранили его на даче,
 а впоследствии перевезли в Петербург?» Идея такая: дать простор судье для
 уточняющих вопросов, поскольку нормально ответить на вздор нельзя.

Мало верю, что удастся зацепить. Но вдруг поостережется совсем уж борзо
 лгать присяжным, которых сам и затребовал? А что предстану дураком перед
 судьей и старшиной (она может ознакомиться с содержанием вопроса до пере-
 дачи приставу) — не волнует, не за лаврами туда хожу.

Канцелярия открывает рабочий день сообщением о «больших потерях» в
 наших рядах: язвительный № 3 заболел (жалко), бесцветная № 20 поступила
 на должность с выездами из Питера (нисколько не).

Дальше все происходит в темпе блиц: переключка, раздача папок и — ша-
 гом марш. Я просто не успеваю протянуть старшине листок с вопросом, а мою
 соседку (№ 2) мы и вовсе забываем извлечь из курилки, что обеспечивает не-
 сколько сумбурное начало.

Прежде всего оглашается и формально согласовывается убьель двух присяж-
 ных. Любопытно и неожиданно: № 13 переименован в № 3, ему приказано

пересесть в освободившееся кресло первого ряда и обещана замена нагрудного знака.

И — многожданное выступление Грузина, человека с развитой речью и словоохотливого.

Начинает с теоретизирования о вменяемом ему, но судья в зародыше подавляет попытку покрасоваться:

— Вам будет предоставлена возможность аналитики обвинения, а сейчас расскажите нам только факты.

Не сбивается Грузин (молодец) и излагает нам историю, позволяя себе пространные лирические отступления от состряпанной адвокатской легенды (с которой, однако, временами сверяется).

Он «не какой-нибудь там гастарбайтер», а «квалифицированный трудовой мигрант», легализованный ворохом бумажек до ста процентов возможного. Весной того рокового года сошелся с девушкой Аней с Загребского бульвара (у «девушки Ани» старшая дочь замужем), которая имела регулярные телефонные контакты с разными мужчинами, что ввергало его в мучительные сомнения. Летом Аня была жестоко искутана собакой и вела дела с больничной койки. По ее просьбам он дважды передавал пакеты будущему потерпевшему, при второй встрече поинтересовался их содержимым и узнал от того, что в них кокаин. Попытался было выйти из чужой игры, но вскоре его на улице схватили люди «с корочками ФСКН» и потребовали один миллион рублей: «работаешь — плати», а не то вот он (показали номер телефона получателя порошка) на тебя покажет. Аня незамедлительно прислала 180 тыс. руб., те люди отлипли, но приставания «топ-менеджера» про поставки кокаина не утихали. Тогда-то обижаемый иностранец и обратился к своему «более опытному и мудрому» водителю (которого знал менее двух недель) в поисках доброго совета... Дальнейшие показания (со дня убийства до дня задержания) идентичны слышанному нами в прошлый раз — они творение одного автора (ни в слоге, ни в деталях различий нет).

Защитники хором (!) отказываются от допроса Грузина — их позиция железная, а лучшее, как известно, враг хорошего. Полировка предложенной версии доверена убийце: он зачитывает со шпаргалки с десятков вопросов (комично обращаясь к подельнику на «вы»), тот на все отвечает в масть.

Первое действие окончено, но у нас антрактов не положено, режим нон-стоп. Что остается делать обвинению? Только сшибать Грузина с вызубренного материала пустячными вопросами, поймать на противоречии и обнажить тем ложность сочиненных показаний. Но посланец солнечного Азербайджана — парень ушлый, такого в живой беседе тяжело загарпунить. Он и не думает отвечать коротко и ясно, наоборот — при всяком подходящем случае пускается в отвлеченные рассуждения, время от времени бравирюя кавказским акцентом, который включает и выключает произвольно (будто бы от волнения). Качественно владея русским языком, систематически делает вид, что не понимает вложенных в слова значений, и вдохновенно толкует о постороннем. При этом он безупречно корректен (ни резкости, ни повышения тона, хотя его целенаправленно дразнят) и готов на легкую шутку.

Обвинитель:

— Почему потерпевший согласился поехать с вами в гаражи?

— Гражданин прокурор, я вам не цыган, чтоб в чужих головах читать.

Или каламбурит. О своей бедовой подружке:

— Думал, будет семья, а получилась скамья.

Лишь раз всплывает, что язык все-таки не родной. Прокурору:

— Зачем вы меня тупите? Не надо меня тупить.

В какой-то момент судья вмешивается:

— Если не желаете отвечать, то так и скажите.

— Я в пятьдесят первой не нуждаюсь! Всю правду говорю.

Это о ст. 51, позволяющей отказ от дачи показаний против себя. Пожалуй, что и да, не нуждается — отчего бы не порезвиться, если пронять нечем?

Два с половиной часа тянется дубовое противостояние. Вымотанные бесплодной долбежкой, прокурор и адвокат потерпевших сдаются — где сели, там и слезли.

Никогда еще не видел я своих сотоварищей такими удрученными — в курилке не было издано ни единого звука. Доказанного подстрекательства нет, доказанного разбоя нет — хоть шаром покати у обвинения. Да и кража-то (ее Грузин сдуру признает) разве есть? В чем, собственно, состоял сам акт кражи? В том, что он забрал сумку покойного? Или в том, что перегнал его автомобиль с одного места на другое? Это ли тайное похищение имущества, то бишь кража? А покушение на сбыт чужого авто скорее мошенничество. Но это я в юридических терминах стараюсь изъясняться. А по нормам русского языка человек, обобравший труп, однозначно именуется мародером, на чем можно и утереться. Действующему уголовному законодательству России такое преступное деяние неизвестно.

Невиновен?!

В раздевалке впервые сталкиваемся с другой коллегией (синхронно закончили) и образуем хвост в 40 душ. У них, напротив, весело. Их женщины взахлеб обсуждают рецепты — одновременно медицинские и кулинарные (причудливая полифония получается). Их вертлявый чабан (пардон, пристав) судачит с нашим величественным Миронычем в стиле «А у нас на кухне газ. А у вас?» А у нас дела — атас...

Исполинский затор на шоссе. Где-то позади перебирает колесами и автозак с моими персонажами (отнодье не шальная гипотеза: наш путь лежит в одно и то же предместье). Наверное, они довольны прожитым днем, имеют право. Заполняю паузу раздумьями о приотставшем попутчике.

Наш герой дня — личность нравственно безнадежная. Даже если мы безоговорочно примем на веру его версию событий, аттестовать данного господина иначе как скотом не получается.

У него на глазах образовался незапланированный и непредусмотренный криминальный труп — и какова же была реакция? Испуг, в считанные минуты преобразившийся в надежду пожить как бы выморочным имуществом. Он может легко выйти из ужасной ситуации чистым — на нем нет ни крови, ни наркоты, ни оружия! — но у таких людей алчность старше инстинкта самосохранения. Ровно так же акуле не удастся проплыть с сомкнутой пастью мимо подходящего по размеру предмета. И человек деловито садится за руль автомобиля, в котором менее часа назад ехал пассажиром. Перебрав бесхозное барахлишко, документы на транспортное средство оставляет себе (с прицелом на реализа-

цию), а навороченный телефон любезно дарит стрелку. Я не клевету и не утрирую, оба подсудимых употребляют именно слово «подарил». Ну чем не офицер в с бою взятом вражеском блиндаже? Победу сделали солдаты, но распорядитель трофеям — он. (Сколько мерзости способно сгустить одно невинное слово!)

Но как акула подчас попадает впросак с непригодной к перевариванию железью, так и здесь: не в коня пошел корм. С азиатским хладнокровием и с азиатской же наивностью он барышничает в среде московских сородичей — и родословную машины шутя раскрывает первый же эксперт, вызванный на куплю, ментам остается лишь брать готовое. Лопухий джигит! Тебе сколько-то фартило — и ты ощутил себя в России конкистадором среди темных индейцев... И теперь будешь обеспечен изрядным досугом для размышления: подходящую ли страну выбрал для приложения своего темперамента?

Конечно, соблазнительно упаковать гадюку на как можно подольше (Русаку-то уже не отъюлить — рецидивист) — если и не издохнет в наших пенитенциарных заведениях, весьма для того приспособленных, то, может, хоть здоровья лишится и через то обезвредится. Ведь этому благообразному и не лишённому шарма дикарю всего-навсего 29 лет (а смотрится на сороковник, подоблез от шакалей жизни), сколько он еще успеет напакостить с такими доминирующими признаками природы... Идти ли на неправосудное решение ради целесообразности? Но совесть-то своя, не дядина — с ней вековать. Вот кабы мы от себя работали или, положим, в Питере случилось военное положение — и веревку охотно прописали бы такому молодчику. Однако люди мы приказанные, военного положения не ожидается, так что оправдательный вердикт ничуть не исключен.

Вспоминается либеральный (по лексике судя) лепет № 14. Его духовные наставники горазды пожевать мочало на тему интеграции инокультурных пришельцев. Сегодня перед нами от души митинговал великолепный образчик воплощенной мечты — можно сказать, эталонное завершение лакомого интеграционного процесса. Сей «квалифицированный трудовой мигрант» на равных ведет лингвистический диспут с прокурором и вполне освоил местный жаргон («У Ани знакомый на “Металке” сидит» — о зоне в Металлострое). Он ни во что не ставит закон, добыть желанное (пусть и со свежего жмурика содрать) — для него вопрос удачи, а не морали. Жизненные ориентиры предельно материалистичны, «больше» суть чистый синоним «лучше» (так нас и телевизор учит). И чем же он не современный русский — из тех, кого не надо искать, кто всегда перед глазами? Что рожа южноватая — не беда, у меня, к примеру, так почти пакистанская, не мешает. Он неотлично наш, хоть русский паспорт завтра выдавай, интегрироваться дальше ему некуда (ну разве насобачится убивать лично).

Это в пасторальных кабинетных конструкциях интеграция граждан из прилегающих республик представляется как взаимообогащение культур. В реальной жизни нынешней России мы сплошь и рядом можем наблюдать интеграцию как взаимопроникновение, соединение и качественное приращение пороков — не с чего быть по-другому в текущих условиях бытия. И я мысленно вопрошаю своих падких до либеральных предрассудков приятелей (не меньшинство, Петербург как-никак): в России собственной сволочи девать некуда, какой нужды ради нам надо массово интегрировать импортную?

(Окончание следует.)

Дмитрий МЕТЕЛИЦА

ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Про медведей и людей

...Бывает, встанешь на обочине трассы, вытянешь руку с задраным большим пальцем: дорогой водитель, дескать, я не прочь стать вашим пассажиром, бесплатным, но, по возможности, небесполезным — скоротаем время за беседой, разрушив однообразие поездки! Остановится фура, заберешься на сиденье, примешься говорить (а шофер хранит безмолвие, не кивнет, не поддакнет, никак не поддержит) и спросишь: не надоел ли я, мол, своей трепотней? А он и ответит: напротив-де, только устал я сильно — ремонтировался, теперь надо ночью ехать, чтобы успеть в срок на разгрузку, и ты, пожалуйста, поведай что-нибудь, не то усну... Что ж, автостоп — разговорная специальность! Здесь молчуны вырастают в краснобаев и, если не получается диалога, могут выступить сольно.

* * *

Свое тридцатилетие я встретил на сахалинском пароме, следующем через Татарский пролив. Это был десятый день рождения, проведенный в пути. Хорошие числа — круглые, как дураки, один из которых, наверное, я. Когда мне было восемнадцать, я хотел объехать всю Россию, однако добрался до Сахалина лишь к тридцати. Но дюжину лет, регулярно мотаясь по стране из края в край с труднообъяснимыми целями, пользуясь попутками, электричками, товарняками, собственными ногами и прочими видами безденежного транзита, не обзаведясь ни семьей, ни трудовым стажем, не строя планов на будущее, — я был совершенно счастлив.

Как сказал про автостопщиков один дальнбой, стоя в очереди за пельменями: «Я называю их просто: шизанутые!» На что второй водила аккуратно возразил: а другие, мол, так называют нас, дальнбойщиков. «Почему это?» — «Сам посуди: ездим черт-те где, месяцами дома не бываем, живем в кабине — ну не шизанутые?» — «Вообще-то, верно...»

Немало людей, выражая мнение, схожее с озвученным, убеждали, что путешествовать таким образом глупо, ибо тяжело и опасно. Какой же это, мол, отдых? То ли дело — из санатория в кемпинг да из гостиницы в отель! А сколько, мол, убийств происходит, маньяки везде бродят, в Москве вон и среди бела дня зарезать могут!

А я живу в Москве, что ж теперь, из дома не выходить?



Сталкиваясь с такими доводами, первоначально я приводил мрачное сравнение. Вот как встарь было: дожил до тридцати кое-как, больной, хромой (нога неправильно срослась), половины зубов нет, жуешь деснами, лицо от оспы ноздреватое, как хлеб, на сборе урожая попал под борону, всего разодрало, лежишь в кровихе, пока врач из села едет на лошадях, и, не дождавшись, помираешь радостный, со вздохом облегчения: отмучился, слава тебе господи! А теперь — путешествовать опасно, ежегодная диспансеризация, импланты какие-то, тьфу... Но позже понял, как надо отвечать.

Когда видно, что человек свидетельствует о незнакомых людях, принято одергивать, мол, не судите по себе. Но если он утверждает то, о чем не знает по собственному опыту, ясно же, что сам как раз поступает по-другому. Поэтому я прошу: судите только по себе! И если вы зарабатываете не тем, что приносите беды беспечным туристам, то незачем напраслину возводить: люди лучше, чем то, что они думают о людях. Как-никак земную жизнь я прошел до половины, а рискованных ситуаций повидал всего ничего. Две из таковых выпали на пеший поход по берегу Белого моря. Причем обе оказались не связаны ни с людьми, ни с медведями, хотя именно этот зверь вызывал опасения при подготовке.

А с медведями все было просто... Первые дни маршрут тянулся непосредственно вдоль моря и мы брели по грязному вязкому песку, усыпанному галькой, валунами, кучами гниющих, источающих компостную вонь водорослей и мелкими раковинами мидий. Во второй половине дня эти раковины чудесным образом оказывались расколотыми: птицы ли бросали ракушки на камни, добираясь до мякоти, или медведи лузгали их, как семечки, сплевывая шелуху, — осталось для меня загадкой. Может, мидии сами, отжав створки, отклеивались от перламутровых стенок и чвякали ложноножками к воде? Малосведущий в вопросах жизни моллюсков, я готов поверить и в это.

Вдоволь нанюхавшись прибрежных ароматов, а главное, набив ноги об острые камни, мы решили поступиться хорошим обзором и пойти по звериной тропе у самой кромки леса, не зная, что ждет за поворотом, — и встретили первого медведя.

Ветер дул исключительно в нашу сторону, а мишка увлеченно рылся в пахучих грудах морских даров, находясь от нас в какой-то полусотне метров. Если верить большинству инструкций о действиях при встрече с медведем, пятьдесят метров — та дистанция сближения, когда нужно начинать беспокоиться, поэтому первым делом мы увеличили это расстояние на треть. Надо заметить, что довольно трудно с рюкзаком на плечах пятиться по камням, скромно потупившись, чтобы не сверлить косолапого взглядом, но стараясь не упустить его из виду и не запнуться. Отойдя, мы воспользовались советом местных и принялись стучать ложками по котелкам: медведь, мол, металлических звуков не любит (наверное, с охотниками соотносит). Привлечь внимание зверя удалось не сразу, но наконец он обернулся и — верно пишут, что медведи подслеповаты, — встал на задние лапы, потянувшись носом вверх. Впервые я узрел это вживую, и косолапый вырос в моих глазах во всех смыслах: устроился в росте и превратился из мишки в Михаила Потапыча. Перед нами стоял взрослый, крупный хищник, но в следующий миг он взметнулся в длинном прыжке, покрыв за раз десяток метров, и скрылся в лесу.

Следующего зверя не удалось увидеть целиком — напарник сказал: «Смотри, медведь!», я вскинул глаза, но успел заметить лишь бурую мохнатую задницу, исчезающую за деревьями. А вот третий заставил нас понервничать:

сначала он совсем не реагировал на посудное брэнчание, затем долго рассматривал двух дураков без чувства ритма, решивших сыграть на котелках и кружках, а потом направился в нашу сторону. Неторопливо, переваливаясь с боку на бок, замирая, словно задумываясь, и вновь приходя в движение, медведь прокосолапил шагов пятнадцать, а я за это время сделал две вещи: зарядил «сигнал охотника» и очень отчетливо понял, что больше заготовочек нет. Ракетница была однозарядной, но если даже удалось бы ввинтить новый патрон и взвести пусковой механизм, совершенно не факт, что второй выстрел (в небо, разумеется) произвел бы на животное большее впечатление. А бежать некуда: справа — море, полтора километра ледяного мелководья, слева — скудный северный лес, тонкие невысокие деревья и густые кусты с переплетенными ветвями, будто специально предназначенные для того, чтобы не пропускать путников вглубь. И всё.

Такие мысли рождались в голове, но жути не было. Возможно, потому, что к встречам с медведями я готовился и первые из них завершились мирно. Жуть — это когда заново осмысливаешь выражение «жизнь пронеслась перед глазами»: она, действительно, проносится, но чередой самых глупых эпизодов, причем заключительным слайдом высвечивается картинка последней дурости. Обычно в путешествии, попав в историю с потенциально печальным исходом, я автоматически представляю соответствующий заголовок в местном издании. Как, например, однажды какой-нибудь «Омский вестник» мог бы тиснуть заметку «Турист из Москвы умудрился насмерть замерзнуть в рождественскую ночь», а заголовок «Стая собак загрызла незадачливого москвича в пригороде Екатеринбургa» украсил бы выпуск «Свердловской правды», так и теперь сообщение «Столичные туристы накормили медведя» развлекло бы десяток читателей таблоида «Кандалакшский звонарь».

И потом походникам из столицы регулярно будут сочувствовать: «А, москвичи! Ходили тут двое по заливу. Съедены...» В такие моменты остро ощущаешь ответственность за репутацию малой родины, и без того всеми нелюбимой и проклинаемой.

Начиная практиковать автостоп, я каждый раз с замиранием сердца ждал вопроса водителя: ты, мол, откуда? И со вздохом отвечал: из Москвы, мол. И тут начиналось: из Москвы-ы-ы! Вот, дескать, москвичи все скупили, все продали, все пожрали! Лишь единожды я сталкивался с реакцией собеседника, подобной моей. Пермский водила, у которого я полюбопытствовал о месте работы, тяжело вздохнул: «Нас никто не любит...» — «Гаишник?» — предположил я. «Хуже, — заинтриговал тот, — фээсбэшник». Я не нашелся, чем его утешить.

Что же касается московской темы, то со временем удалось найти вариант ответа, снимающий претензии к уроженцам столицы: я принимался объяснять, что москвичей, по сути, не существует. Ведь кто такой настоящий москвич, петербуржец или, скажем, тоболяк? Это коренной житель, горожанин в третьем поколении, родители которого появились на свет в этом городе, как и их родители. А я лично не был знаком ни с одним коренным москвичом, более того — не знал никого, кому был бы известен хоть один таковой: настоящих москвичей не бывает, а есть только краснодарцы, орловчане, туляки, чувашаи, астраханцы, буряты и все остальные, приехавшие в Белокаменную, чтобы, прожив в ней месяц, именовать себя москвичами... Оппонировать критикам столицы приходилось постоянно, что было всегда тяжело, потому что родной город я, вообще-то, терпеть не могу. Но раскрыть сердце так глубоко можно было, конечно, лишь

таким же аборигенам мегаполиса — или косолапому хищнику, вздумай он покопаться в грудной клетке.

Там, на берегу, я наконец осознал рекомендацию притворяться мертвым при нападении медведя. Осознал и проникся: дома-то при прочтении никак не получилось представить, что можно неподвижно и безмолвно лежать, когда зверь тебя обнюхивает и, может быть, для уверенности немножко дерет когтями. А близ Кандалакшского залива, глядя на приближающегося косолапого, чертовски реалистично представил. И уверился — можно! Элементарно, потому что иных вариантов нет. Вот если не поверит — тогда появится куча вариантов, тогда только выбирай, куда и чем вдарить, пока он тебя на вкус пробует...

Но до этого мы, к счастью, не дошли, даже сигналкой жажнуть не довелись: мишка повернулся и неторопливо ушел в лес. Хотя позже он появился чуть дальше (или это был другой, кто их, потапычей, различит?), покрутился в поле зрения, но тоже свалил. Для себя мы решили, что наблюдали трех с половиной медведей, а в дальнейшем привязывали к рюкзакам кружки-ложки так, чтобы они звенели при ходьбе — и больше не встретили никого, ни одного зверя! Только сами, как лоси, ломались сквозь кусты, всех распугивая, да глупые птицы выныривали из-под ног и с воплями уносились ввысь.

Правда, мы постоянно натыкались на разнообразный помет, свидетельствующий о том, что местность все же обитаема, поэтому по крайней мере в его сортах разбираться наострились — но лишь в ранневесенних, когда со жратвой за Полярным кругом туговато. Не в курсе, чем мишки в то время набивали брюхо кроме водорослей и муравьев (разворошенные муравейники попадались часто), но гадили жидко. Медвежий помет похож на коровий, только обнаруживался он в таких местах, где буренка могла бы оказаться лишь при ужасном невезении.

Майская тундра тоже не щедра на угощение: за неполный месяц из подножного корма нами был найден только щавель и прошлогодняя клюква. Зато мох произрастал в изобилии, питались бы им — горя б не знали! Красный, зеленый и белый цвета мельтешили перед глазами и стелились под ноги немалую часть пути. Белый «мох» был, вероятно, лишайником, но прочитал я об этом значительно позже. Видимо, именно его упоминал Варлам Шаламов в строфе:

Всюду мох, сухой, как порох,
 Хрупкий ягельвый мох,
 И конические горы
 Вулканических эпох.

Про Кольму, конечно, он писал, а не про Кольский полуостров, но похоже. Только сопки — полусферические. Есть у Шаламова и еще подходящие строки, которые часто вспоминались мне в походе:

Иду, дорогу пробивая
 Во мгле, к мерцающей скале,
 Кусты ольховые ломая
 И пригибая их к земле.

Эти слова, кстати, могут служить предисловием к первой из тех жутковатых ситуаций, рассказать о которых я собирался поначалу.

Примерно на половине пути от Лувеньги до Умбы привычным манером, с треском сучьев и звоном посуды, мы пробирались через бурелом звериной тропой по-над крутым скалистым обрывом, уходящим прямо в море. Хотя весна, по словам местных, выдалась теплой, житель средней полосы вряд ли согласился бы, что в майский день 10—12 градусов выше нуля — тепло. Неласковое солнышко едва выглядывало из облачной серости, глаза щипало от пота, обильно выступавшего под накомарником. Мошка еще не вошла в силу, но комары уже оклемались и всюду искали повода познакомиться поближе. Пока мы находились в движении, старания кровососов были малозаметны, но на привале любая неплотная ткань, прикоснувшаяся к телу дольше чем на секунду, прокусывалась, и накомарник тоже. В отношении антимоскитки у крылатых кровопийц была своя тактика, изученная мною на ночевках в немеркнущем свете полярного дня: привлеченные теплом, насекомые садятся на сетку, перелетая с места на место в поисках точки соприкосновения с кожей, и находят ее на кончике носа, если лежу на спине, или на краешке уха, если на боку. Но антимоскитка не прилегает впритирку, как заурядная ткань, до тех пор, пока на нее не взгромоздится стая комаров, притиснув общим весом сетку к коже, после чего несколько счастливых, оказавшихся в правильном секторе, дружно жалят. Я, привыкший спать без палатки, под открытым небом, здесь, на Кольском полуострове, спал под комарами. Единственным спасением было завернуться в спальник с головой и слушать зудящую полифонию кровососущего племени.

Тропа была истинно звериной — проходима, но максимум на метр с четвертью в высоту. Карлик, пожалуй, чувствовал бы себя вольготно, но для людей обычного роста, привыкших ходить вертикально, дорога не казалась легкой. Приходилось постоянно нагибаться, пролезая под покосившимися деревьями, перешагивать через упавшие стволы, раздвигать торчащие ветки, осторожно отгибая особо колючие и цепляющие, или тупо ломиться вперед, пока не встретится серьезная преграда, вынуждающая совершить обходной маневр. Во второй половине дня накопившаяся усталость навалилась на плечи, дополняя вес рюкзака, полегчавшего за счет слопанной еды. Питья же имелось с собой не более полулитра: местность, где вкусную воду можно набрать в любом источнике, приучала к легкомыслию. Однако ноша казалась неподъемной, ноги — чужими, а голова — набитой комарами.

Новая ветка, перегородившая путь, была на уровне подвздошья — ни перелезть, ни поднырнуть... Придавил ее ногой, чтобы перешагнуть. Следующая толстая ветка дерева, нависшего над обрывом, оказалась чуть выше предыдущей, но задрать туда ногу было уже невозможно. Сдуру я попробовал пойти напролом и не заметил, что ветка упирается концом в тощую ель, будучи уже сильно отогнута. Толкнув ветвь, я едва успел ощутить тугое сопротивление, как, вырвавшись из захвата, она резко распрямилась и ударила меня под солнышко, снося с обрыва!

...В голове транспарантом развернулся заголовок — «Московский заплыв в Белом море».

Чувство полной потери опоры на краю скалы наполнило сердце ужасом. Постыдно взвизгнув, я накренился спиной над пропастью (в которой, казалось, мог поместиться пятиэтажный дом) и, беспомощно шкрябая ногами по кром-

ке отвесной кручи, повис... Удерживала меня, зацепившись за грузовую петлю рюкзака, та самая ветка, что спихнула с тропы. Подвешенный над холодным морем, ревушим внизу, я оглашал лес матерными воплями так, что, будь я сам на месте дерева, схватившего меня за шкуру, немедля стряхнул бы грязного матерщинника. Но, к счастью, деревья более терпеливы, чем люди.

И жизнь надломится, как веха
 Путей оставшихся в живых,
 Не знавших поводов для смеха
 Среди скитаний снеговых.

В заполярном краю снег почти весь стаял, лишь в горах он лежал толстым слоем да в тундре виднелся кое-где, но согнуть без следа шансы имелись.

Напарник Сергей, крепко помогавший в иных случаях, на сей раз ничем поддержать не мог, поскольку ушел далеко вперед: держать желательную дистанцию в десять шагов на звериной тропе не удавалось, да и разница в физической подготовке сказывалась на темпе ходьбы.

Как говорил продавец в ловозерском магазине снаряжения — плотно сбитый мужик, знающий толк в походах: «Физуха и снаряга!», имея в виду, что подготовка должна быть сообразна задаче. Он горячился, доказывая, что задуманный нами маршрут непроходим в это время года. Мы же, надеясь узнать полезные подробности, не отставали. И только после слов: «Ну, если цель — порвать задницу...» — начался конструктивный диалог. Этот поход должен был стать лишь отрезком большого летнего путешествия, включающего Соловки, Архангельскую область и Нарьян-Мар, поэтому мы хотели пожертвовать относительным походным комфортом в пользу скорости передвижения. Надо отметить, что предполагаемое начало маршрута, которое мы обсуждали, и впрямь не задалось, поэтому потребовалось скорректировать его в пользу здравого смысла, но хапнуть горюшка пришлось и там.

Положение, в котором я очутился, грозило завершением пробега и финишем в соленой воде. Гибкая ветвь, служившая опорой, трепетала даже от вздоха, лямки рюкзака врезались в подмышки. Упираясь в краешек скалы дрожащими мысками ног и сильно напрягая спину, я попробовал, держась за лямки, пригнуть ветвь ближе к скале. Это удалось!

Над головой закачалась тоненькая сосновая лапка, протянутая деревцем, храбро прилепившимся практически к стене обрыва — вытянув руку, я сгреб хвоистые былинки в горсть и осторожно, пальцами стал перебирать по веточке, наклоняя ее. Когда в руке оказалась зажата колючая розга, процесс пошел бойчее: подтаскивая ее, как веревку, получилось добраться до ствола податливого дерева. Обнял его одной рукой, а другой кое-как отцепил рюкзачную петлю от ветви, уповая лишь на цепкие корни вросшей в камни сосны. Под двойным весом она угрожающе закрипела, но я, шустро перебирая ногами, уже выкарабкался на уступ, закрутив покладистое дерево на пол-оборота вокруг оси и с облегчением схватившись за уверенно стоящую березу, отпустил спасительницу-сосну, которая со свистом раскрутилась обратно и как ни в чем не бывало замерла над обрывом.

Вот! Вся история с падением и спасением заняла не больше двух минут, но, чтобы подобраться к ней и живописно изложить, понадобилось количество слов, которых бы хватило на небольшой словарь. Можно было обойтись и без от-

ступлений, но таков ритм монолога, каждая часть которого была отточена в разговорах с подвозившими меня людьми. Когда проезжаешь тысячи километров на попутках, и в каждой машине — новый человек, новый сюжет, голова забивается историями и воспоминаниями так, что, начав их перелистывать, перебирать мысленные фотографии, трудно удержать грань между увлекательностью и пустозвонством. Сидя в кабине с молчаливым водителем, час от часу пытаюсь завлечь его в беседу, поднимаешь одну тему за другой, да и сама поездка подкидывает фабулу для разговора — то легковушка подрежет, то гайцы тормознут... Изложение сумбурно, словно путешествие: мелькают города и лица, названия и имена, калейдоскопически сменяют друг друга впечатления, кажется, что в мозгах все перепуталось, и, наверное, так и есть, но дорога устремляется дальше, как это предложение, и не думает завершаться, потому что можно запланировать сплав, но не течение реки.

Чтобы перечислить резоны, по которым люди подбирали на трассе попутчика, потребовался бы немалый срок, но один из основных — чтоб тишина в ушах не звенела (хотя, возможно, главная причина в том, что человек просто хотел помочь, но постеснялся признаться). Разнообразные попадались персонажи: кто-то говорил, кто-то слушал. Двенадцать лет я колесил по стране, травя водителям байки о таких же, как они. Не каждый встреченный человек становился историей, но многие. И я сам, конечно.

* * *

Вторая рискованная ситуация, оставившая яркое и жутковатое впечатление, случилась в предпоследний день похода на Умбу. К тому времени лесотундра сменила кособокие дебри, и мы часами шагали по ньяшам, обходя болотины, переправляясь через реки и протоки вплавь, взгромоздив рюкзаки с вещами на надувные круги, с какими купаются подростки, не умеющие плавать, — оригинальный, но рабочий способ переправы, подсказанный путевыми заметками походника Николая Терентьева, за что ему спасибо. Один минус: сдвигать плавсредства приходится долго, поэтому, перейдя реку, мы для начала сжимали круги в объятиях. Наверное, со стороны это выглядело забавно: стоят два чудака голышом на грязном берегу реки, среди кустарников и в туче комаров, и плавательные круги комкают. А вокруг на десятки верст ни души, только звери с птахами привычно утверждают право сильного в пищевой цепочке.

По ньяшам за неполный месяц мы уже набродились немало, поэтому не заметили, как по мере удаления от берега топкие места мягко перешли в трясиновые. Поскольку оные промерзли за зиму, отличить их непривычным глазом было непросто: те же подушки красно-бело-зеленого мха, пропитанные водой, те же трухлявые пенки и проваливающиеся кочки под желтой соломой. Но май подходил к концу, начали появляться травушки, цветочки какие-то, запахи — и начали вскрываться болота... Мы же привычно ломились вперед, не особенно разбирая, куда поставить ногу, пока не проваливались в грязюку или не упирались в очередную полноводную весеннюю протоку, не отмеченную на карте. Мозоли на пятках уже напоминали срез векового дерева: кольца от пузырей налезали друг на друга, исполосованные трещинами. Совершенно вымотавшись, я на автопилоте нырял в редкие перелески, шагал по опушкам, покрытым низкорослым сосняком, с чавканьем и хлопаньем месил хляби. А потом мы вышли на



полянку, которая вдруг закачалась под ногами. Я успел сделать десяток шагов — и понял, что здесь не так.

...Вообще-то, дача моих родителей стоит близ торфяников, и я не понаслышке знаю, что такое болота, но, во-первых, подмосковные выглядят по-другому, а во-вторых, я никогда и не ходил по ним — идиот я, что ли? Вышел на топкое место — вернись и обойди, вот и вся инструкция для прогулок по Подмоскovie.

А тогда в Заполярье я стоял на привычных глазу мхах, которые незнакомо и неприятно пружинили под ногами. Это многократно встречавшееся в книгах описание колеблющейся почвы было для меня вновь. Труднообъяснимое чувство: стоишь на поверхности, одними только подошвами ощущая ее на несколько метров вокруг. И мгновенно ясно, что толщина этой поверхности — максимум сантиметров двадцать, причем больше половины из них приходится на мох, а земля удерживается, наверное, лишь корнями махоньких, ростом по голень, сосенок. А под всем этим — трясина, топь, тьма. Ничто. И на хлипком, непрочном слое, прикрывшем, как пленка, жуткую зыбь, стою я — тощая и длинная ось, под прямым углом упирающаяся костлявыми ногами в качкое, эфемерное основание.

На этот раз в голове не возник заголовок из «Новостей Умбы», ведь топь приняла бы нас, как тысячи пропавших без вести, поглотив все следы. Просто два туриста не вернулись. Что с ними? Поди медведи съели. Осмысление смертельной опасности было мгновенным и внезапным, оттого вторая ситуация впечатлила сильнее беспокойного висения на ветке над пропастью...

Ошалев, я аккуратненько отступил, тщательно выбирая место для шага назад. Кругом простирались просторные трехцветные поля бывших няш, обернувшихся холодной трясинной.

Нам повезло: болота не вскрылись полностью. В тот день мы прошли сотни метров по торфяным перешейкам, что летом нипочем бы не удалось. Перепрыгивали болотистые участки, проваливаясь выше пояса, и выбирались, трамбуя рюкзаки в грязь и цепляясь за сосновую поросль. Дважды за этот поход меня выручали сосны. Очень хорошие деревья.

Я ел, как зверь, рыча над пищей.
Казался чудом из чудес
Листок простой бумаги писчей,
С небес слетевший в темный лес.

Я пил, как зверь, лакая воду,
Мочил отросшие усы.
Я жил не месяцем, не годом,
Я жить решался на часы.

Спрашивается, почему я вспоминаю стихотворения из «Колымских тетрадей»? Да потому, что я — автостопщик, пешие походы в фанатичном темпе для меня — каторга.

То ли дело когда спокойно катишься в чужой машине вдоль Транссиба, а навигатор невозмутимо произносит: «Через. Шестьсот. Двадцать. Три. Километра. Поверните. Налево», и понимаешь — это Россия, черт возьми! Или шагаешь по южному побережью, не думая о будущем и даже о том, что съешь на привале, если из содержимого заплечной котомки только кружка имеет от-

ношение к пище, зато над головой разворачивается карта созвездий. Кажется, что в августовской ночи скапливаются все звезды, доступные человеческому зрению... Но это лишь до тех пор, пока не побываешь на Сахалине. Там небо зависло невероятно низко, и чем больше звезд собирается в нем, тем ниже оно готово опуститься, будто решив поцеловать тебя в лоб, а светила толкнутся в неопишуемой тесноте — и все для того, чтобы посмотреть на тебя. Нельзя не ответить взаимностью — стоишь, задрав башку, пока не занемет шея. Местные говорят: на Сахалин упало небо! И не преувеличивают. Устроив ночное купание, можно улечься на воду и оказаться меж двух морей — Японским и звездным (однако в Охотском такой оказии не дождешься, получив переохлаждение прежде, чем выгрестишь на глубину). Жаль, не удалось оценить палитру восточных вод на пару месяцев раньше. Так, при виде майского Белого моря подумалось, что, родись Айвазовский в Кандалакше, он, наверное, писал бы небо: лазурь и золото, ало-розовый и чернильно-синий — где они? Кипящий свинец, насколько хватает глаз, и стонущие чайки проносятся серыми теньями. Некогда на вопрос, какие они, северные моря, один пилигрим свидетельствовал, что, мол, такие же, как штормовые южные. Теперь я знаю — это все равно как сказать, что китайки такие же, как корейки, только некрасивые. Определенная правда тут есть, но не вся.

Впрочем, небо над Кольским полуостровом в ту пору тоже не пестрело красками, или, может, я их не замечал, следя, куда поставить ногу? Те блуждания принесли полезный опыт, но ценой таких усилий, что я полгода приходил в себя, а самые яркие впечатления от путешествия оказались гнетущими. Между тем за все время моих непритязательных странствий была лишь одна по-настоящему тягостная история.

* * *

Это случилось в Ростове-на-Дону, в городе, который, по словам одного ростовского водилы, «живет не по-человечески, а по-людски». Несколько ростовчан, слышавших этот сказ, пожимали плечами и утверждали, что я легко отделался. Собственно, я склонен считать так же.

Тем летом мы с моим товарищем Пашей отправились к Черному морю на пригородных электричках, то есть «зайцами на собаках». «Зайцы» — существа неприхотливые: закинув в вещмешки только свитера с зарядками от мобильных да взяв тысячу рублей на двоих, мы пустились в путь. Это, конечно, поездка для энтузиастов, но опыт имелся и в целом мы знали, чего ждать: около дюжины пересадок до Горячего Ключа (далее шли короткие перегоны с поездами в несколько вагонов и несговорчивыми контролерами, так что в Ключе мы выходили и двигались на побережье стопом). Рязань, Мичуринск-Воронежский, Воронеж, Лиски, Россошь, Чертково, Миллерово, Ростов-на-Дону, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ — эти названия и по сей день гудят в памяти вокзальным гомоном да пахнут хлебом с майонезом. Трое суток на все про все при условии, что нигде не ссадят, а это происходило нечасто, ведь за каждую электричку следовало держаться как за последнюю.

По правде говоря, помню всего один случай как раз тем летом: две ревизорши насчитали по составу тринадцать безбилетников (август же, бархатный



сезон!) и дали волю инстинктам, гоняя «зайцев» по электричке, так что в Каменске-Шахтинском все были переданы на руки милиционерам.

Участок — великая вещь!
Это — место свидания
Меня и государства.
Государство напоминает,
Что оно все еще существует!

Тамошнее отделение оказалось слишком тесным для такого количества пассажиров, и мы сгрудились возле миленькой беседки, обустроенной на входе. В ответ на вопрос, у кого, мол, есть документы, поднялись две руки: моя (наличествовала потертая и незаверенная ксерокопия паспорта) и долговязого мужика со справкой об освобождении. Ношение удостоверяющих бумажек, по которым оформляются штрафы, безбилетникам противопоказано. Стражи порядка переглянулись и, сообщив, что следующая электричка в нужном направлении уходит в шесть вечера, высказали пожелание не видеть наших рож на вокзале до означенного часа. А мы и рады стараться! Линейные менты — они только за порядок на «железке» отвечают, что им до того, что в городе высадется десант подозрительных типов... Уж не знаю, чем камрады занимались весь день, но на посадку все явились довольные, сытые и поддатые. Мы тоже славно провели время, купаясь в потрясающе красивом мраморном карьере с леденящей водой. Так безобидно закончилась единственная ситуация с покинутой электричкой.

Но сперва мы помчали в Рязань, только почему-то с пересадкой в Узуново, к тому же последней «собакой». Соответственно, к ночи оказались в уютном селе, захлестываемом пьяными воплями, рядом с лесом, захваченным комариным народом. Стремясь покинуть недружественный край, мы подсели на товарняк: бесхитростно дождались, когда один из поездов, стоявших на путях, дернется в нужную сторону и на ходу влезли на открытую тормозную площадку. Своеобразное турне получилось: одной рукой вцепившись в стойку, другой держась за край пола площадки и при этом упиравшись правой ногой в железный изгиб автосцепки, я ехал, созерцая, как в паре метров от моей левой ноги, висящей в воздухе, бешено крутится здоровенное колесо...

А Паша сидел рядом, небрежно приобняв вторую стойку, свободной дланью наливал водку в пластиковый стакан и, тяпнув, безмятежно хрумкал соленым огурчиком. Прожектора выныривающих из темноты станций окатывали нас, таких незаметных в красных футболках, неестественно белым светом, и я ожидал, что вот-вот поезд остановится и машинист, безбожно сволоча поганцев, ломающих график, потопает на поиски. Но состав пролетал версту за верстой, а когда начал торможение, миновало несколько часов.

Очутившись посреди поля, мы слезли, скованно переставляя затекшие конечности, и отошли к последнему вагону, чтобы не пропустить приближение железнодорожника. Но никто нас не потревожил; спустя полчаса товарняк запыхтел и тронулся, а мы мигом взлетели по лесенке в контейнер, наполовину груженный щебнем. Улегшись на теплые камешки, мы, обдуваемые ласковым ветром, глядели в летнее, припудренное звездами небо и радовались, что можем это видеть и ощущать, а то жили бы и не знали о феерии впечатлений, поджигающей в вагоне с щебенкой.

У такого путешествия оказалась пара минусов, которые привелось познать утром: во-первых, наши спины, испятнанные синяками, напоминали шкуру пантеры, а во-вторых, пробуждение настало на территории завода, куда затянули контейнеры. Теперь-то я в курсе, что вагоны в конце состава отцепляют первыми, а тогда, продрав глаза, узрел возвышающуюся над нами урбанистическую громаду мрачной расцветки и озадачился. Спрыгнув на землю и не зная, имеем ли мы право тут находиться, зашагали в сторону, выбранную наугад. Но, притащившись к полю, выход на которое стерегла табличка: «Осторожно, динамитные работы!», решили спросить дорогу, по которой в итоге попали в поселок, а оттуда — на трассу до Рязани.

Через год я завлек в аналогичное предприятие девушку. Янка тоже любила помотаться по свету, мы и познакомились в пути: на трассе Москва — Санкт-Петербург, направляясь домой, я увидел на противоположной стороне трассы стопщицу и подошел поздороваться, а в результате уехал с ней обратно в Питер и следующие пару лет общался очень тесно. Но мне до нее далеко во всех смыслах: на данный момент она где-то в тени Гималаев пьет непальский чай, тогда как я по-прежнему пытаюсь открыть Россию, но чем дальше забираюсь, тем больше вижу темных пятен. В общем, Янка не была избалованной барышней, но на странствие в прицепном вагоне поверх гравия согласилась не сразу. В тот вояж мы снарядились получше, чем с напарником, взяв пенки-спальники и примус с посудой. Выезд подгадали на август и не ошиблись: развалившись на ковриках и лакомясь какао, мы лицезрели начинающиеся Персеиды. Звезды капали с неба как дождь, скоро стекая по иссиня-черному своду. Кто не ездил с подругой в товарняке, упустил яркий оттенок в спектре романтических отношений.

Так я и катался: то туда, то сюда, то в паре, то нет — легко и беззаботно. Но эпопея с Пашей, начинавшаяся столь многообещающе, завершилась в Ростове, где нам не подфартило вязаться в пьяную драку, и утром я очнулся в кустах на левом берегу Дона, имея при себе (точнее, на себе) только грязные шорты и синяк в пол-лица. Не было ни документов, ни денег, а главное — не было памяти. Я не помнил ничего про свою жизнь: кто я, где живу, кто мои родители... Ни-че-го. На месте личной информации зиял черный провал, в котором подвывал ветер. Солнышко взирало на мое забытье.

Причем раньше, наткнувшись на фильм, у героя которого от удара по голове случилась амнезия, я негодовал: ну что за шаблонный прием! Едва тюкнули по башке, так сразу амнезия, будто типичная штука... А вот убедился сам — бывает!

Но оценить иронию произошедшего получилось много позже. А тогда, посидев в кустах в прострации, я отправился на поиски человека, который смог бы мне что-то объяснить, и выбрал на поляну с людьми самого расхристанного вида. Мне сразу налили, и жизнь началась заново.

То оказались любопытные типы: собравшиеся со всех концов России полтора десятка бичей, бродяг и уголовников изгнали с берега туземных бомжей и беспризорную шпану, подмяв под себя бизнес по сбору стеклотары, цветмета и всего ценного, что можно найти на пляжной полосе. И осуществляли это не впервые. А проведя летний сезон в Ростове, рассасывались кто куда.

Отчетливее всех запомнился Борода, он же Лысый, — колоритный персонаж с неопрятной козлиной эспаньолкой и угловатым черепом, который он

регулярно подбривал обломком безопасной бритвы. Тело Бороды было усыпано криво набитыми (по малолетке) уродливыми татуировками, но они перемежались живописными рисунками, сделанными на взрослой зоне.

Лысый разъяснил мне различия меж бичами и бомжами. По его словам, аббревиатура БИЧ означала «бывший интеллигентный человек» (к коим он без сомнений причислял и себя, хотя воспитывался в простой рабоче-крестьянской семье, а окончить школу помешало освобождение из колонии), тогда как «бомж» — «человек без определенного места жительства», но с выпавшим из расшифровки словом «человек». И не случайно, утверждал Борода, ведь бомжом становится тот, кто теряет человеческое обличье, опускается до состояния животного, защищаясь, подобно скунсу, вонью мочи и невымытого тела.

Много позже один сахалинский боцман расскажет мне, что слово «бич» родом из флотской терминологии. Так еще в начале XX в. стали называть моряка, отставшего от судна и временно «бичующего» на пляже (от английского beach — пляж), то есть живущего на берегу в ожидании корабля. В каком-то смысле Ассоль тоже бичевала в Каперне.

Но когда Лысый поведал свою версию, я был не в курсе терминологических тонкостей, зато имел опыт общения с бомжами: в небольших городишках это незаменимые люди для путешественника! Местный бомж (выражение звучит парадоксально, но на югах они частенько становятся оседлыми) способен сообщить обо всех полезностях: колонках с питьевой водой, ничейных садах с плодовыми деревьями, о районах, куда забредать не следует, а куда, наоборот, стоит заглянуть. Бомжик поделится информацией с готовностью и безвозмездно, нужно лишь вежливо поинтересоваться. Слова Бороды я запомнил, однако жизнь их опровергала. Но его толкование импониrowало какой-то последней гордостью: мы, дескать, бичи, у которых была иная жизнь, и хотя всю ее прогадали, но достоинство храним. В общем, Лысый был убежденным бичом, и я бы радовался знакомству, кабы не его повадки царевны-лягушки: мол, любое мое «ква» — королевская мудрость, внемлите, смертные... Спорить с ним было невозможно. Лысый претендовал на роль неформального лидера в этом балагане, но достичь желаемого не мог: вакансию занимал с виду непримечательный мужик с кардинальским прозвищем Серый. Именно Серый заведовал распределением обязанностей между членами пестрой общины, в остальном же тамошняя жизнь организована никак не была.

Устроились вольготно: на поляне, которая относилась к земле казачьего атамана, чей двор стоял неподалеку. Там можно было набрать воды и узнать новости. С атаманом существовала договоренность, согласно которой он не препятствовал соседству, а гости в качестве ответной услуги очищали берег от сорняков — водолюбивой колючей пакости, название которой я забыл. Единственная дорога, ведущая туда, была перекопана, чтобы не нагрянули менты. Правый берег сохранялся за местными. Иногда конкурентами назначались стрелки — прямо в центре Ворошиловского моста. Там, кстати, меня и избили — быть может, как раз конкуренты. Или нет. Но причина была по-ростовски нелепа и безоговорочно достаточна: били за то, что я стоял рядом с человеком, приятеля которого подозревали в краже мобильного. По-моему, грандиозно.

Однако я отделался малой кровью: ребра остались целы, зубы не пострадали — сказал бы спасибо за гуманное обхождение, кабы память не подвела.

Детали я вспомнил гораздо позднее. Что стало с Пашей, я не узнал, пока не вернулся домой: на мосту напарник огреб не очень сильно, но долго отбивался, плутал по району, разыскивая меня, переживал. Не найдя, рассудил, что будет проще словиться в Москве, чем в Ростове, и в итоге оказался прав. Но поначалу я был чертовски далек от благополучного исхода, ибо находился в совершенно потерянном состоянии — даже не знал, как вести себя в обычной жизни. Но при этом мог прочесть наизусть стихи Маяковского и поддержать разговор на исторические темы. Странная штука — память. По сути, приходилось формировать личность заново и заниматься этим в условиях нового быта.

Память!
 Собери у мозга в зале
 любимых неисчерпаемые очереди.
 Смех из глаз в глаза лей.
 Былыми свадьбами ночь ряди.

Найдя приют у левобережных, я жил их жизнью: спал на голой земле, поедаемый комарами, ранним утром обходил пляж, собирая бутылки, днем искал цветмет в промзоне. Стекло сдавали сразу, металл копили, чтобы отнести оптом. По деньгам выходило на удивление много, но из еды покупался только хлеб, все заработанное тратилось на бухло и табак. И жрали голубей.

Ознакомившись с методом охоты на эту живность, я навеки проникся к ней презрением. Дичь добывалась так: спустившись по откосу набережной от моста к одной из бетонных плит, нагретых солнцем, которую почему-то облюбовали птахи, надо было не торопясь подойти к колготящейся, воркующей массе — и со всей дури шарахнуть по ней здоровенным дрыном. Голуби перепуганно взмывали, потеряв одного-двух (а то и трех) огушенных собратьев. Дальше следовало собрать трофеи, свернуть им бошки, покидать тушки в пакет и повторить процедуру, когда стая, успокоившись, вернется на известную плиту. И стая возвращалась! Тупые птицы, люблю их (особенно с хлебом).

Также в пищу употреблялись речные мидии, запеченные на решетке от холодильника. Вот и все меню. Выбор бухла был значительно шире. День пролетал как праздник, под звон бутылок и хоровое пение. Регулярные пьянки вряд ли благотворно сказывались на моей пострадавшей голове, и, сложись все иначе, в настоящее время я мог бы преспокойненько бичевать где-нибудь в Краснодарском крае. Но на третьи сутки праздника память вернулась. Почти чудом: мне повезло с фамилией.

Сидя на песке, я отрешенно скользил взглядом по замусоренному пляжу, как вдруг в глаза бросилась упаковка от мороженого «Метелица». И тут же в голове вспыхнуло: «Дмитрий Александрович». И процесс пошел!

Тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года рождения.

Москва.

Москва! А я-то полагал, что живу в Питере: название города отозвалось теплом на душе, когда новообетенные товарищи, сияясь помочь, перечисляли топонимы (неудивительно, что нелюбимая столица не нашла отклика); собирался отправиться в Северную Пальмиру в поисках своего «я»... Не судьба. Личность вернулась, но искать себя я продолжил, странствуя и скитаясь по таким порой землям, где легко было найти лишь приключения. И уж оных обрел немало.

Про людей и чудеса

В бытность мою проводником пассажирского поезда час заступления в рейс однажды выпал на тридцать первое декабря. А потом внезапно, как это случается на железной дороге, выход отменился. То есть еще двадцать девятого я твердо знал, где и с кем встречу Новый год, а уже на следующий день обдумывал вопрос заново. И на следующий тоже. А потом плюнул и решил провести торжество наедине с зимним лесом, покидал вещи в рюкзак и выбрался на трассу.

Долгое время я считал, что ненавижу зиму, но после того, как прокатился на попутках по декабрьской Сибири, понял, что не терплю московские влажные холода, пронизывающие насквозь так, что мститесь, будто скелет не может согреться в мясной оболочке. В Петербурге, к слову, гораздо хуже. Погода — единственный параметр, по которому культурная столица уступает политической. Насколько паршиво зимовать в Питере, настолько же хороши нормальные российские морозы — это от них румяная мордаха, а не насупленная физиономия, надеваемая, чтобы от метро до дома дорысать. С тех пор перспектива ночевки в зимнем лесу меня не тревожит. Хотя бывали случаи, пережив которые благодушный человек постарался бы подобного избегать.

Так, в Тюменской области, очутившись в надвигающейся темноте на незнакомом и пустынном участке трассы без единого фонаря, я ни капли не огорчился и почапал в лес — устраиваться на ночь. Автостоп — непредсказуемый и потому интереснейший способ передвижения для не склонных к комфорту людей с массой свободного времени. А времени у меня всегда в избытке — целая жизнь впереди. Так мыслил я и в тот раз, не ведая о предстоящих испытаниях. Стоянка начиналась как обычно — дрова, костер, каша, чай. Прихлебывая из дымящейся кружки, я сыто откинулся на рюкзак — и понял, что замерзаю. Как же это? Ведь я поел горячего и сижу у огня? Видимо, температура воздуха упала, но за возней с готовкой я это не заметил. Прислушавшись к ощущениям, предположил, что перевалило за минус двадцать, из чего следовало, что рядовым костром не обойтись.

По опыту я знал, что при небольшом минусе даже в моем выдавшем виды осеннем спальнике реально спать вовсе без огня. Правда, некогда, испытывая данный способ, я пробудился, не чувствуя руки. Перепугался страшно! Думал, отморозил. Оказалось, отлежал. Что ж, холодов бояться — в лесу не зимовать. До пятнадцати ниже нуля спасал основательный костер с неистощимым запасом дров, а вот если еще ниже... Такого эксперимента я не проводил.

Но была сходная ситуация: неподалеку, под Омском, в ночь на Рождество случилось угодить в тридцатиградусный мороз. На вопросы судьбы, поставленные таким образом, я отвечаю неизменным: «Надо идти в лес!» Разведешь огонь, попьешь чайку, жизнь наладится... Но под Омском вмешалось непредвиденное — там не было леса. Почему-то раньше не замечал. Натуральная казахская степь, от края до края заметенная снегом, тянулась вдоль федеральной трассы. Лишь островки кустарников проклевывались то тут, то там, но в смысле привлечения тепла сырые ветви были годны разве только для того, чтобы сплести из них корзину и ей накрыться. Да и то не помогло бы — ветер, разгулявшийся на просторе, продувал сверху донизу. Деваться было некуда, и я ковылял по обочине ночь напролет, вспоминая Георгия Иванова:

Снега, снега, снега... А ночь долга,
И не растают никогда снега.

Снега, снега, снега... А ночь темна,
И никогда не кончится она.

Устал, как загнанная лошадь. Перед рассветом вспомнил, что в термосе оставался чай, но из запрокинутого сосуда в рот вывалилась ледяная пуга с чашинками. Закинуть рюкзак на плечи не удалось, я слишком обессилел, а едва отпустил лямку, бесноватый ветер уронил его и покатил кувырком. «Зачем так делать, твою мать, веди себя нормально!» — вымотанный, я заговорил с поклажей. По стечению обстоятельств при себе имелось двести грамм крепкого алкогольного бальзама, вкус которого и без того был на любителя, а на морозе приобрел непередаваемую мерзость. Прекрасно зная, что на холоде пить не стоит, я глотнул, и по венам, казалось, начинавшим похрустывать, прокатился жар, в тело вернулись силы, и, надев рюкзак, я бодро зашагал к городу. Проникаешь уважением к механизмам, сформировавшим брентную оболочку Homo sapiens, созная, сколько напастей мы способны вынести. Утром я вошел в Омск.

Но в тюменской стороне с лесом был порядок. Смешанный сосново-березовый, в котором мне предстояло ночевать, с достоинством хранил красоту. В цифровую эпоху, когда туристы поголовно стали фотографами, нужно забраться к черту на кулички, чтобы наблюдать окружающее без скачущих по нему фигурок с фотоаппаратами. Со стороны кажется, что устройства нас поработили, принудив слоняться повсюду и показывать девайсам лучшие уголки нашей планеты. Зачем, для захватнических планов? Если так, то я чист перед человечеством, ибо запечатлеваю виденное только мысленно.

Из нетронутого снега устремлялись в небо высоченные черно-белые и оранжево-коричневые стволы. Если взглядеться, то в сплошной стене деревьев можно было вообразить картину в стиле магического реализма: стада зебр и жирафов, над которыми вьются сороки и малиновки. В таком живописном местечке и умереть не жаль. Оптимистично настроенный, я взялся за устройство нодьи. Не вдаваясь в детали, нодья — это вид таежного долгоиграющего костра, который не горит, а тлеет по всей длине сухих бревен, сложенных друг на друга. До того я соорудил нодью всего раз, и то в межсезонье, поэтому теперь повозился вдосталь: пока в потемках свалил дерево да совершил, что требуется, запарился так, что мог бы топить лед лбом.

Больше трех часов трудился, а мороз крепчал. Когда защипало нос, я укутался по самые глаза, а когда нодья занялась, мои ресницы обледенели. Разведя огонь, уместился на ворохе лапника левым боком к теплу. Правый тотчас заходило. Повернулся спиной — вскоре занемели колени. Нодья грела отменно, но только с одного фланга, и сносного положения занять не удавалось. Ворочаясь, я вдруг обратил взгляд к небу и замер: звездный, необыкновенно ясный, невиданный простор раскинулся над лесом, в котором тлел мой костер. Стояла исключительная тишина, и только кора деревьев шуршала, потрескивая на морозе. Ради таких моментов есть смысл жить.

Шепот звезд в ночи глубокой,
Шорох воздуха в мороз
Откровенно и жестоко
Доводил меня до слез.



Призрак Шаламова возник в темноте. Я поднялся и молча принялся за новый костер. Ночь была крошечная. Вторая попытка далась легче — справился за пару часов. Рухнув на подстилку меж двумя нодьями, закутался в спальник и, размякнув в тепле, подумал, что если костры вдруг потухнут, я уже не проснусь. И с этой успокоительной мыслью задрях. Сквозь дремоту слышался шуршащий треск древесной коры, лопающейся от мороза, и какое-то глухое, еле уловимое позвякивание. Недоумевая, что здесь может звенеть, я намертво отрубился.

А поутру загадка разрешилась. Протер глаза вовремя. Первая нодья прогорела до золы, от второй осталась гряда углей, на которых, сметенных в кучу, удалось приготовить завтрак. Уже рассвело и явно потеплело, обрадованный, я отошел по малой нужде и, легонько задев кусты, распознал знакомый звук, который при соприкосновении издавали ветки, обледеневшие после недавней оттепели. Лед держался некрепко и опадал от слабого удара, требовалось совсем ничтожное усилие, и я обсыпал несколько веток, пробуя воссоздать звон. А ночью ветра не было — лишь в самой вышине колыхались кроны сосен, и, чтобы звук оттуда достиг земли, была необходима совершенная тишь.

Я тогда лишь только дома,
Если возле — ни души,
Как в хрустальном буреломе,
В хаотической глуши.

Вот и мне случилось побывать в хрустальном буреломе, но в остальном эта история каторгу не напоминала, ведь не несла ни капли печального, напротив, сохранила о себе очень светлое впечатление, а стих Шаламова вспомнился поэтому, что он чертовски к месту.

...Отправляясь в дорогу в одиночестве, путнику нелишне иметь некое хобби, не требующее значительного инструментария и поглощающее образовавшиеся часы ничегонеделания. Кто-то изучает языки, кто-то разговаривает сам с собой, а моим увлечением было зубрить и повторять стихотворения. Впрочем, побеседовать с собою тоже бывало душевно.

И Новый год в Подмоскowie был проведен в обществе мертвых поэтов. Зимний световой день короток, а предновогодний автостоп бестолков: люди, спешащие из города, направлялись к друзьям да родным, и пассажирское сиденье, на которое я мог бы уповать в иное время, было занято членом семьи или грудой подарков. Не диво, что я не успел выбраться из Подмоскowie до сумерек. Но до приемлемого леса добрался — не парковое, исчерченное тропинками, скрывающее отбросы под сугробами, редколесье, убогий макет тайги, от сравнения с которым круглый год оскорбленно зеленеют сибирские ели, но и не чащоба медвежьего края. Едва небесная хмурость начала густеть, я сошел с магистрали, углубился в березняк, протопал пару километров по подмороженному насту и разбил стоянку — когда путешествуешь без палатки, это означает просто расчистить кусочек опушки и собрать ворох дров. Вечерок выдался что надо: температура застряла около ноля, в воздухе порхал пушистый снег, частокол деревьев надежно поглощал шум проезжей части, оставшейся позади, и безмолвие нарушало лишь пыхтенье котелка с закипающей водой да хруст горящих сучьев. Сохнувшие на рогульках носки дополняли обстановку уюта. Ни зуденья комаров, ни топота полоумных ежей, шарахающихся по кустам летними ночами. Настоящий праздник.

Полночь встретил, читая стихи и потягивая из кружки грог с коньячным спиртом.

Звезды синеют. Деревья качаются.
Вечер как вечер. Зима как зима.
Все прощено. Ничего не прощается.
Музыка. Тьма.

Весь следующий день я пробродил по лесу, поедая подслащенную морозом рябину, а к ночи развел огромный костер и уснул довольный — идеальный отдых. А второго января неожиданно решил сгонять в Самару к друзьям и, пообедав подмерзшим оливье, вышел на трассу. Положившая зачин машина подвезла на десяток километров и ушла на поселок, высадив меня перед поворотом. Впереди дорога горбилась, оцетинившись металлическими барьерами — похоже, это был небольшой мостик. Следовало его пройти, чтобы занять позицию, удобную для стопа. Взобравшись на асфальтовый пригорок, я остановился попить воды. За оградой простиралось мелованное поле, бросающее отсветы неулыбчивому солнцу.

Зима переписывает Россию набело. Подколесная грязь накрывается ледяной тканью, по которой машины ползут фыркающими утюжками. Обочины, простирающиеся на одну шестую часть суши замусоренным пустырем, не раздражают глаз, смиренно озирающих чистоту тянущейся от горизонта равнины, на которой редкие дороги превращаются в разделительные полосы. Русское поле источает снег. Утешительное зрелище.

Только перелесок, восставший метрах в двухстах, да небольшое ярко-красное подвижное пятнышко нарушали равномерность пейзажа, представшего передо мной. Наверное, рыбак топтался у лунки, сторожа поплавок. Хотя вроде силуэт был мелковат для рыбака... Поправив очки, я присмотрелся к непонятному и выругался: человек, видимый лишь по пояс, размахивал руками! Живописное поле оказалось водоемом, а человек в красном провалился под лед. Я бросился на помощь, не сообразив, что туда, где проламывается лед, надо бы подбираться поосторожнее. К счастью, ошибка не стала трагической: женский крик оповестил, что его обладательница влетела не в полынью, а в прорубь, непонятно за каким чертом сделанную (ближайшая деревня находилась в пяти верстах). Ярким пятном, привлечшим мое внимание, оказался небольшой рюкзак, который, застряв, не дал туристке кануть в студеную воду с головой, но он же и не позволял выбраться, придавив к толстой кромке льда. Распустив лямки, я выдернул груз и бросил на снег, помог женщине вылезти и доковылять до леса.

Пока замерзшая стаскивала мокрую одежду и переодевалась в мою (а все теплые вещи были надеты, так что понадобилось частично разоблачиться), я запалил костер — мигом, аж сам удивился. Видимо, адреналин в кровь ударил, все-таки впервые кого-то спасал. Когда женщина закончила растирать онемевшее тело, был готов чай. Закутавшись в спальник, она жадно пила горячее и причитала о том, что живет в поселке неподалеку, а по этому маршруту ходит регулярно в любой сезон: восемь километров через лес и в конце по берегу пруда, зимой — по льду, потом на остановку и автобусом домой — и сложностей не было, с детства известный путь, красивые места... Постепенно ее речь становилась вялой, после пережитого стресса и второй кружки чая, сдобренного спиртом, потянуло в сон, и, не переча утомленному организму, она отключилась.



Выпотрошив вымоченный рюкзак, я развесил вещи на жердях вокруг костра, чтобы хоть немного подсохли, пока их хозяйка почивает, и занялся готовкой. Думал, сейчас вот отужинаем, будет еще не поздно, провожу даму на остановку, небось не успеет замерзнуть в сыроватых шмотках, не так уж холодно, а сам успею куда-нибудь уехать. Макароны с мясом сварились, я разбудил соседку, протянул ей котелок и, пока та трапезничала, изложил план. Она кивала и поддакивала, а потом отставила посуду, легла и задряхла как ни в чем не бывало. Очевидно, женский организм требовал отдохновения подольше и пища побильнее, как я убедился, заглянув в выскобленный котелок. А когда состряпал новую порцию и насытился, почти стемнело. По всему выходило — ночевать нам в этом жалком, безбожно продуваемом лесочке, который пришлось дополнительно проредить, чтобы запастись топливом.

Согреваясь кипятком, я вечерничал, вспоминая, как увидел настоящую тайгу. Это было летом на восточной стороне Байкала, куда мы забрались с одной хорошей девушкой по прозвищу Айна (привет ей!). На западе озера вовсю развивался туризм, Ольхон расцветал огнями фонарей, над волнами парила музыка из автомагнитол. Благополучно избежав этого, мы двинулись по противоположному берегу покорять пыльные грунтовки и паромные переправы. Когда стали встречаться такие топонимы, как Баргузин и Курумкан, а дорога принялась забирать все дальше от большой воды, тайга стояла уже по обочинам. Там я понял, что сибирские дебри, виденные ранее, — просто лес, только гуще и выше, чем мы привыкли, а тайга — это когда делаешь шаг, и нога утопает во мху по щиколотку, а то и по голень; еще шаг — и наступают сумерки, потому что деревья такие высокие, что сквозь кроны еле проникает свет; еще — и обернувшись, уже не видишь дороги, и становится не по себе, и где-то рядом обязательно оказывается какая-нибудь упавшая ель с вывороченными корнями, из-за которой, чудится, может выскочить нечто хищное, или в кустах чего шевельнется, аж сердце екнуло. Наверное, человек, живущий в таежном крае, позабавился бы, услышав такое, но горожане поймут.

...Снег выстелил землю, упокоившуюся до условной весны, которая непонятно когда вернется. Ветер изрядно остужал, и я переминался с ноги на ногу возле костра, чтобы не задубеть. Тормозить спящую было неловко: человеку спросонку трудно что-либо объяснить, а мне требовалось объяснить необходимость залезть к ней в спальник. Пусть даже в мой спальник. К утру поди окоченел бы, кабы женщина не пробудилась сама — по сути, жизнь спасла.

Вообще-то, как правило, я не освещал данную историю, ведь получается нескромно, но раз уж тут разворачивается сказ, вмещающий в себя толпу помогавших мне в разное время людей, хочется как-то оправдать свое легкомысленное бытие в нашем рациональном мире.

Систематически покидая домашний очаг с прочно установленными правилами и привычными ритуалами повседневности, учишься замечать, как приключения находят тебя сами. Если пойти им навстречу, открывшись переменам, приходит полное единение с мирозданием, и оно начинает мостить перед тобой дорожку, на которой не бывает суеты, забот о наступающем дне и беспокойства о нынешнем часе, должны поступки укладываются в логику событий — и так до порога дома. Это сродни фатализму: все идет как должно, и когда мне что-то нужно, я просто оглядываюсь и нахожу это; возникающие трудности являются не проблемами, а необходимой коррекцией курса, кото-

рый направляется в нужную колею. Образно выражаясь, пока я грею новую порцию кипятка взамен опрокинувшейся, проходит ровно столько времени, сколько нужно дальнобойщику для успешного окончания ремонта на обочине, на которую я выйду как раз вовремя, чтобы уехать с ним. Я называю это «попасть в волну», обычно же говорят: дорога ведет, ибо это знакомое безденежным странникам ощущение.

В пути восприятие времени изменяется, а воспоминания наслаиваются одно на другое, и собеседнику может показаться, что приключений было много, но это не так, просто я постарался собрать повествование в точку, а не выстроить в линию, описывая события, распыленные в прошлом на двенадцать лет. Живет и здравствует большое число пешеходников и автостопщиков, туристов и волонтеров, странников и бродяг, и у всякого своя дорога, пестрящая историями, причем за каждым ее отрезком зачастую стоит некий феномен — судьбоносное явление или хороший человек, и хочется поведать хоть о некоторых из них. Кто-то однажды выразился в таком духе: я, мол, не говорю «случайность», а только — чудо, счастье, судьба... Сложно зафиксировать мысль точнее. Верить в случайности — высокомерие для тех, чья судьба пересыпана счастливыми чудесами.

После того как в Ростове-на-Дону память вернулась, я попал в волну с высокой концентрацией мелких, но чрезвычайно своевременных чудес, из которых опишу лишь малость. Возвратившись в лоно собственной личности, я испытал недюжинный подъем — более дискомфортного состояния, чем в предыдущие три дня, переживать не доводилось. Сидя на донском берегу, прикинул ресурсы: нет ни копейки, из вещей только шорты да тапки, найденные на пляже. До Москвы тысяча километров. А до моря в два раза меньше. И мне ведь без разницы, куда ехать! Если нет ничего, пятьсот километров и тысяча — эквивалентны. И я отправился на море.

С изжелта-синей половиной лица довольно проблематично поймать попутку, поэтому десяток километров я прошел пешком и немного подбросили батайские ребята, державшие путь на озера неподалеку. Весело поболтав, решили ехать вместе и провели неплохой вечерок, купаясь и выпивая, потом доставили меня в город, поделившись информацией, что часто возле дверей подъездов люди вывешивают ненужное барахло, которое может взять любой желающий. И довезли до парадного, где я обзавелся футболкой и школьным ранцем. Так дальше и продвигался, собирал яблоки и терн, пополнял запасы воды в ручьях и на колонках, никого ни о чем не просил и тем более ничего не брал без спросу, ничуть не парился и был счастлив.

В Джубге увидел растущую на улице вишню, усыпанную бордовыми ягодами, и основательно ее объел. Около получаса ходил вокруг дерева, срывая дары природы, потом из соседнего дома вышел мужчина и спросил, не помочь ли мне чем. Я ответил, что, если, мол, воды нальете, будет славно. Взяв мою двухлитровку, он ушел в дом и вернулся с водой, а также с туристической миской, полной шашлыка, пучком зелени и кусками лаваша. На побережье было навалом малины, винограда, слив, яблок — я ни в чем себе не отказывал. Уснул на берегу на крупном плоском камне, нагретшемся на солнце за день. Это было одно из самых неординарных мест для ночлега, потому как прилив затопил полосу пляжа, и, пробудившись, я обнаружил, что вокруг плещет море, однако из-за штiria до меня не доносилось даже брызг.



Вдохну в скитальный дух я власть дерзать и мочь,
И обоймут тебя в глухом моем просторе
И тысячами глаз взирающая Ночь,
И тысячами уст глаголящее Море.

Ранним утром, когда солнце только готовилось сушить купальщиков и увлажнять пешеходов, я беспечально стартовал в обратный путь. Дорога вновь стелилась под ноги, готовясь изумлять чудесами.

По иронии судьбы, опять очутился на батайских озерах, искупался и на берегу нашел забытые кем-то тапки — взамен своих, потерянных на джубгинском пляже. Радуюсь обновке, потопал к Ростову пешком. Время близилось к шести, и, хотя светило миновало зенит, палило неимоверно. В какой-то момент вдруг стало стопроцентно ясно, что близится тепловой удар и я натурально грохнусь на ходу. Вот сейчас... И тут, через пару шагов, я узрел лежащую на обочине кепку, поднял ее — а она мокрая и холодная. То есть кто-то, только что облив кепку холодной водой, выбросил из окна авто. Надев ее, грохаться навзничь расхотелось. Но начала мучить жажда. Конечно, от нехватки воды я бы не умер, однако походка потяжелела. Я тащился вперед, оглядывая обочину на предмет плодово-ягодных, но глазам представляли бесполезные деревца с пыльными листьями, вялые кустарники, желтеющая трава, усыпанная фантиками и пластиковыми емкостями, — и возвышающаяся посреди мусора пятилитровка дешевого пива. Осторожно, как охотник к дичи, я приближался к ней, боясь спугнуть: а вдруг мираж, вдруг исчезнет? Но закупоренная, полная хмельного напитка баклага ожидала, когда ее найдут, и вот... В отличие от кепки, дар прохладным не был — отвинчивать крышку следовало вдумчиво, чтобы не окатило пеной, но я справился. Отродясь не пробовал такого вкусного горячего пива. Конечно, жажду оно не очень утоляло, но порция, слитая в бутылку, лежащую в рюкзаке, грела душу и спину. Промочив горло, я ощутил голод, но это уж точно было терпимо. Возможности поесть не предвиделось еще долго: из Ростова я планировал двигаться на «собаках», а значит, до прибытия в Миллерово поздним утром не приходилось рассчитывать на подножный корм, оставалась лишь надежда на подкожный жир. Но на подходе к достопамятному Ворошиловскому мосту на обочине меня ждал целый (килограмма два!) пакет, набитый курабье — свежим и рассыпчатым, с абрикосовым джемом. Щедра земля русская на полезные ништяки!

Выслушав оную историю, православные люди говорили, что Бог помог и ангел-хранитель не оставил, мусульмане разглагольствовали о милости Аллаха, кришнаиты объясняли про карму. И если раньше я был простым неверующим, то теперь даже не могу определиться, в кого именно не верю.

Немало всякого добра попадаете по дороге в самых неожиданных местах. На тропинке, ведущей от Рязани-1 ко второму вокзалу через неопрятный пустырь, по которому сновали бродяги и железнодорожники, валялась тысячерублевая купюра, чье путешествие, судя по безупречному внешнему виду, началось недавно. А мое — давно, потому я взял ее с собой, вместе мы достигли магазина, где наши дороги вновь разошлись. В февральской Абхазии, где пенсия, говорят, пятьсот рублей, по обочинам насобирался стольник мелочью и столько же было извлечено из фонтанов. Как говорила одна буддистка с дикарской стоянки на реке Жане о происхождении своих украшений: «Этот браслет я нашла в Индии в джунглях, а этот тоже в Индии — на алтаре...» Что ж, у вещей своя судьба, кто мы, чтобы с нею спорить?..



А добра, которое обнаруживалось в людях, было еще больше. Давным-давно я понял, что отказываться от подарков не следует, ведь тем, кто их преподносит, это доставляет удовольствие. Важно не потерять грань, отделяющую человека, который не откажется от помощи, от халявщика, живущего в расчете на чужую доброту. Частенько, без какого-либо намека с моей стороны, меня кормили-поили, оделяли деньгами и всяческими вещами. Но когда было ясно видно, что человек помогает в ущерб себе, я не знал, как поступить.

По пути с Байкала пару верст по Сибири нас с подругой Айной вез пенсионер на старой «копейке», потчевал печеньем и молоком, а в разговоре обмолвился, что едет из магазина, ведь в деревне его нет. Угощение застряло в горле, когда я врубился, что поедаю покупки, за которыми человек за двадцать километров ехал. Переглянувшись с напарницей, мы отложили печенье, но молоко было в мягком пакете — допили. Прощаясь, водитель попытался вручить нам сто рублей. Мы принялись дружно отказываться, утверждая, что нам денег совсем-совсем не нужно, но дед так гаркнул, что Айна схватила купюру и принялась испуганно благодарить. К слову, подобные деревеньки не только в Сибири имеются: едучи в Питер на «собаках», за Тверью перебегали с другом через два вагона, спасаясь от контролеров, и не успели, оставшись на станции Муташелиха, на перроне которой не было даже расписания. Через часок из леса вышел старик с авоськой и объяснил, что ближайший населенный пункт в три дома и четыре жителя находится в двенадцати километрах, и он оттуда отправился за «Бородинским» и батоном — в Лихославль! Сперва пешком, затем на электричке, продукты взять — и обратно. Так живут в четырех часах от Москвы...

А в помянутой Абхазии меня решил подбросить до Нового Афона местный на хлебном фургоне и в финале поездки, несмотря на возражения, выдал двести пятьдесят рублей, утверждая, что он-де здесь хорошо стоит. Будто я не знаю, как работают хлебовозники: да они садятся за баранку в пять утра и колят по району, доставляя в торговые точки порой по несколько буханок, так что для опустошения кузова приходится совершать прорву поездок каждый день, а получают гроши. Но отказаться было нельзя. На северах же машины часто останавливались, чтобы подвезти, когда мы даже не стопили, а просто шли по обочине, а раз и вовсе люди, двигавшиеся в противоположную сторону, развернули уазик, пожелав нас подкинуть. Но самый поразительный акт поддержки произошел в Ельце.

* * *

В тот день не иссякающий ливень прогнал меня с трассы, вынудив воспользоваться железной дорогой. Путь лежал в Тамбов, где должна была состояться встреча с товарищем, который зазвал побродить по местам тамбовского повстанчества. Затея мне приглянулась, только совсем не было денег, ну и ладно — взяв горсть мелочи и консервы с крупами, я рванул на Тамбовщину. Как известно, тамошний мятеж стал одним из крупнейших восстаний против Советской власти, охватил всю губернию и длился почти год, окончившись первым в истории применением химического оружия против бунтующих соотечественников. Все это я пересказал контролершам, сидя в двухвагонной «кукушке», объясняя необходимость воспользоваться их гостеприимством. В юности я бы наврал про какую-нибудь напасть, заставившую меня добираться до дома этим

способом, но позже убедился, что ложка совершенно не нужна, да и противно прибегать к ней. Женщины, не часто сталкиваясь, видимо, с такой сильной мотивацией безбилетного проезда, долго не могли решиться, опасаясь проверяющих. Но я поклялся, что при появлении последних стану утверждать, будто вошел только что. В результате контролерши удалились, успокоенные. В вагоне помимо меня находилось несколько мужчин, знакомых между собой, что характерно для маленького города. Пожилой дядька затрапезного вида — в трениках с пузырями на коленях, майке-алкашке и кепке-хулиганке — подтянулся ближе, полюбопытствовал, куда я направляюсь. При повторном изложении резонансов, включающих тамбовских повстанцев и снаряды с хлором, в моем голосе, похоже, засквозил энтузиазм, потому что дядька сказал: все, мол, я понял. После чего снял восьмиклинку и пошел по вагону, собирая деньги. А затем попытался сунуть их мне — на билет. Но тут уж я встал намертво: не возьму! Располагая кучей времени и продуктов, я мог бы спокойно продвигаться, высаживаясь хоть на каждой станции. В общем, не взял. Даже когда он огорошил фразой: «Думаешь, мы в первый раз так делаем?» — не дрогнул. Тогда он отнес деньги контролерам, и те оформили мне билет до Липецка. Это не Бог, это люди. Интересно, во что они верят?

Человек дороги Слава из Бердска определял этот феномен всеобщего радушия как поток добра, соглашаясь, что на Сахалине верховья одного потока. Зная, что там все дорого, Слава закупился в хабаровском супермаркете, но не учел, что на острове местные будут потчевать его завтраками, обедами и ужинами и заваливать дарами так, что часть продуктов вернется на материк, не покинув рюкзака. То же и со мной: не успев провести часа на сахалинской земле, я был накормлен бутербродами, икрой морских ежей и запеченными рапанами. Последние, как я с удивлением узнал, оказались прародителями черноморских брюхоногих — тех самых, чьи раковины продаются в сувенирных лавках. Присосавшись к днищам судов в холодных морях, моллюски десантировались в южные воды и учинили геноцид туземным устрицам, мидиям и гребешкам. Губа не дура! Морские звезды, составлявшие рапанам естественную конкуренцию в океане, следом не откочевали, и оккупанты бесчинствуют до сих пор.

Сахалинский не зажравшийся рапан значительно меньше размером: сантиметра три. Ребята, с которыми я заобщался на берегу — два Павла, Ира и, кажется, Лена, — готовили его за пару минут (выковырять из раковины, отрезать лишнее, поджарить), получалось вполне съедобно. Славные получились посиделки, тем приятнее, что это было в день моего рождения. Ребята, не зная об этом, устроили мне отличный праздник, и я им благодарен. Павлы обрисовали те уголки острова, где приезжому необходимо побывать, я уделил внимание краям, по которым добирался. Обсудили разное, сошлись во мнении, что хабаровские комары — самые лютые в стране: да-да, они дадут фору даже беломорским кровопийцам! Разницу ощутил сразу: высадившись в пригороде вечером и сочтя, что шляться по чужим улицам впотьмах ни к чему, поставил палатку в перелеске у трассы. И следующие двадцать минут убивал комаров. Но меньше их не становилось, будто на место каждого павшего заступали двое новых. Крылатые вампиры пикировали на тело, раздувались на глазах и стремительно улепетывали, закрепляя господство в воздухе. Когда рукава футболки напитались кровью, я понял, что всерьез терплю поражение, и, если ничего не предпринять, завтра в палатке найдут синева-бледную тушку туриста. «Московский донор

спас комаров от голода» — не прочитали жители в «Хабаровском гудке», ведь я позорно отступил, оставив поле боя злодейским букахам, собрал вещички и смылся в город.

Морские ежи, о которых я прежде не имел понятия, валялись на отмелях под ногами, и ребята собрали их целую кучу. Довольно крупные, больше ладони, округлой и приплюснутой формы, покрытые мягкими иглоками, они элементарно вскрывались ножом. Если воткнуть острие в ротовое отверстие иглокожему и повернуть, как ключ, панцирь разламывался пополам, обнажая внутренние стенки, покрытые желтой икрой, и истекая жидкостью. Можно было потреблять икру по-сахалински — собирая ложкой (или пальцем), и по-японски, смешав солоноватую жижу с икрой. Мне пришлось по душе все способы: и с хлебом, и с «Докторской». Юбилей получился запоминающимся. Предыдущий десяток днюх был проведен в дороге: конец августа слишком приятное время, чтобы тратить его на отмечание календарной даты, и в эту пору я, как правило, куда-нибудь ехал. И никогда не упоминал, что день чем-то отличен от прочих. А сахалинцам сказал при прощании, потому что хотел, чтобы ребята почувствовали, что совершили хорошее дело. Ведь они вряд ли воспринимали наши посиделки в таком ключе, а хотелось, чтобы возникло понимание: вечер был для меня особым, и стал он таковым благодаря им.

Ту ночь я провел на берегу Татарского пролива в тишине, изредка нарушаемой шумом машин на близлежащей дороге, в темноте звезды мигали над головой, и в нескольких километрах правее светил огнями порт.

Я курил, вдыхая душистый дым вместе с морскими ароматами, выпускал его в огромное небо и лениво размышлял о том, что табак — маленькое утешение маленьких людей. Таких, как я, не знающих своей судьбы. У нас в жизни два успокоительных — Бог и сигареты. Мне остаются сигареты. Было хорошо лежать вот так, не зная будущего, на краю земли, уходящей в море. Есть приятность в том, чтобы ночевать не дома.

Дверь отперта. Переступи порог.
 Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
 В прохладных кельях, беленных известкой,
 Вдыхает ветер, живет глухой раскат...

Странствуя в одиночестве, я предпочитаю не беспокоить людей своим визитом, а спать в лесу или, например, в парке. Но в чужом городе в выходной или праздничный день, когда повсюду слоняются мириады шумных граждан, этот вариант отпадает. Современный автостоппик, не имея контактов в населенном пункте, куда его завела дорога, окунается в Интернет, помяная слово «каучсерфинг», а я направлялся на кладбище — тихое и безлюдное место с массой закоулков, где можно прекрасно задряхнуть на тропинке без опаски, что об меня кто-нибудь споткнется. А коли все-таки споткнется — сам виноват, незачем по госту ночами лазать, там люди отдыхают.

Если же вопрос ночевки выпадал на будни, было легко притулиться где угодно. Так, в весеннем Мурманске я жил прямо на Зеленом Мысе — сопке, возвышающейся над столицей Заполярья. Засев за оградой метеостанции, в пяти минутах ходьбы от «Алеши», мемориала советским защитникам, я три дня жег в костре столбы от станционного забора, валявшиеся рядом, согреваясь в анемичном тумане полярного дня. Правда, раз попало бревно, вымазанное

гудроном, которое дало такой столб дыма, что на метеоплощадку выскочил сотрудник, активно дискутируя по телефону. Видимо, из города звонили, предполагая пожар. В остальном же до меня никому не было дела...

Из подобных экстравагантных пристанищ вспоминается крыша остановки — бетонного образчика советского зодчества под Керчью. Покинув город в сумерках, я изрядно прошагал, надеясь выйти из обжитой черты и завалиться в тихом месте. У скитаний без палатки есть два минуса: если ночью польет дождь, придется надевать ветровку, напяливать непроницаемую накидку на рюкзак и, сев на него, ждать, когда хляби уймутся, — или ничего не предпринимать, ведь, в конце концов, как писал странник Алексей Неугодов, со временем, мол, начинаешь понимать разницу между спальником, мокрым насквозь, и спальником, полным воды. И еще: ложась спать в границах цивилизации, рискуешь проснуться от того, что твое лицо облизывает собака. Но это ничего: минута паники, зато умываться не надо. А перед сном можно любоваться звездами и светляками, порхающими вокруг, и не надо покупать палатку. Под Керчью же нашлась чудесная остановка с теплой гудроновой крышей, на которую смог бы забраться любой ребенок — и даже я с громоздким рюкзаком. Машины окатывали светом фар, но мчали дальше.

Конечно, лежанка с ноodyями в морозном лесу тоже была весьма необычна. Кстати, подвозивший меня потом дальнобойщик рассказал, что стоял в ту ночь в пяти километрах к востоку и зафиксировал на термометре сорок два градуса, а увидев меня на трассе, думал, будто я китаец. В этом меня еще не обвиняли. Удивленный, я посмотрел в зеркало и обнаружил, что кожа на участках от уголков глаз к вискам, не закрытая шарфом-шапкой-капюшоном, отчетливо покраснела и явно была обморожена... Но самым уютным из странных прибежищ, где хорошо отдыхалось, была ленинская комната маяка в поселке Кашкаранды на берегу Белого моря, куда нас с напарником радушно водворил его тезка смотритель Сергей. Целая стена в этой комнате была увешана почетными грамотами победителям социалистических соревнований, начиная с тысяча девятьсот лохматого года.

К кашкаранскому маяку относилась не только башня с поразительно тусклой лампой наверху, но и прилегающий городок для персонала — раскрашенные в яркие цвета домики с новенькими пожарными щитами, — он смотрелся вопиюще состоятельно на фоне обнищавшего, обезлюдившего села с мрачными перекошенными избами. Причиной контраста являлся тот факт, что населенный пункт был включен в Терский район, а маяк находился на обеспечении Архангельска — триста километров морем и полторы тысячи по суше. В селе была стела со списком жителей, погибших в Великую Отечественную, который почти весь состоял из перечисления людей двух фамилий: к одной из них принадлежал маячник, принимавший нас в гостях в Кашкарандах, а ко второй — его друг Макс, с которым мы еще прежде свели знакомство, начавшееся презанятно — с фразы «Пустите их помыться!»

После похода к Сейдозеру мы сразу прибыли к отправной точке второго маршрута — Лувеньге и побрели искать баню, желая смыть пыль дорог. А нашли двух библиотечарш, участливых пожилых женщин, которые, перебрав варианты имеющихся в поселке бань, пришли к выводу, что в будний день отыскать растопленную шансов нет. Но если нам, мол, нужно привести себя в порядок, то душ ведь тоже подойдет, а неподалеку в пятиэтажке на съемной квартире

поселились строители — пустят небось. Мы, конечно, согласились и пошли за библиотекарем. На звонок открыл высокий мужчина, и на площадке повисла пауза, в течение которой я вдруг понял, что женщина, сопровождающая нас, лично жильцов не знала: поселок-то невелик, все в курсе, кто, где да почему, вот она и вспомнила про строителей, и в эти секунды ожидала, что мы сами объясним причину нашего появления. Но мы с напарником были решительно не готовы проситься в ванную комнату чужой квартиры. Когда пауза затянулась, женщина выдала: «Вот ребята, путешественники... Пустите их помыться!»

Мы обалдели, строитель, видимо, тоже, но быстро пришел в себя, постороился и сказал: пожалуйста, мол, почему бы и нет. А когда мы прошли в коридор, спустя буквально несколько реплик, пригласил заночевать. Напарник не растерялся, брякнув, что мы-де как раз намеревались где-то остановиться на пару дней... В итоге вписались к дружелюбным строителям на двое суток.

А однажды теплой июньской ночью на побережье близ Сочи меня разбудили двое незнакомцев. Продрав глаза, я уставился снизу вверх на парней характерно гоповатого вида. Один из них протянул бутылку — выпьешь, мол? Борясь с разбродом мыслей, я отхлебнул. Водка...

«Турист?» — «Ну да... Путешествую». — «Угу...» Ситуация не нравилась мне все больше, но, не подавая виду, я растолковал, что ехал на попутках от Анапы к Сочи, посещая разные музеи и дикарские стоянки. «А сам откуда?» — «Из Москвы». — «Из Москвы?!» Парни переглянулись, а я начал обдумывать пути отступления, но вдруг гопник с бутылкой хлопнул меня по плечу, воскликнув: «Ну ты даешь!» — и расхохотался. Воодушевленно матерясь, парни известили, что работают на поприще перераспределения ценностей, принадлежащих обеспеченным людям, в пользу людей менее состоятельных. То есть веселые ребята обворовывали туристов и тем обеспечивали себе жизнь. И вот, возвращаясь с дела, наткнулись на меня, обшарили карманы, нашли дешевый телефон и прихватили рюкзак (лишь когда они сообщили об этом, я заметил, что шмотник, который я на ночь клал под голову, валяется в стороне). Но отойдя недалеко, распотрошили сумку и не обнаружили ничего ценного, да, собственно, вообще ничего, кроме свитера, старой зарядки, полторашки с водой и книги «Подпоручик Киже» Тынянова, найденной мной на скамейке парка. Парни удивились: такой херни, мол, еще не попадалось. Предположив, что этого туриста кто-то обокрал до них, решили вернуть взятое («Что мы, звери, последнее забирать?») и угостить выпивкой. Разбойники оказались с понятием. Узнав же, что я из столицы и добирался до Туапсе на электричках без билета, парни выпучили глаза и чуть не в голос завопили: как ты, дескать, путешествуешь, москвич, ты что! В результате мы до рассвета кушали водку, заедая осетинским пирогом с сыром, и распрощались непритворно сердечно. Парни ушли своей воровской тропой, вооружив меня еще одним доводом в пользу людей.

(Окончание следует.)



ОТ «ЕВАНГЕЛИЯ ДОСТОЕВСКОГО» ДО СЕВЕРНЫХ ЛЕГЕНД

Лучшие книги года по версии «Книжной Сибири»

В сентябре прошлого года Новосибирск принимал гостей международного фестиваля «Книжная Сибирь — 2018». Одним из важных событий в богатой и разнообразной программе стал конкурс «Книга года: Сибирь — Евразия», который проводился уже второй раз. В этом году география его участников расширилась: были представлены не только Новосибирск и область, но и другие регионы России, и даже зарубежье. Многие издания отмечены дипломами лауреатов за оригинальность, красочность, актуальность и прочие достоинства. Среди них: Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (Барнаул) — за пятитомное издание «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII — начала XX веков»; Издательство Тюменского государственного университета — за художественное электронное издание «Книга Сибири» на USB-флеш-накопителях, в двух частях; Национальная издательская компания «Бичик» им. С. А. Новгородова (Якутск) — за книгу «Легенды и сказки Севера»; культурный центр «Русская неделя» (Тюмень) — за перевод с церковнославянского фундаментального труда «Феатрон» святителя Иоанна Тобольского (Максимовича). А Гран-при жюри конкурса вручило Общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска» — за уникальное трехтомное издание «Евангелие Достоевского».

Евангелие Достоевского. — Тобольск: Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2017.

Уникальный трехтомный комплект помещен в деревянный короб в виде тюремного каземата с зарешеченными окнами и щеколдой вместо застежки. Как известно, Евангелие подарили писателю жены декабристов Наталья Фонвизина и Прасковья Анненкова в Тобольской пересыльной тюрьме в 1850 г. Книга сопровождала Достоевского все время, проведенное на каторге, и не только. Достоевский читал и перечитывал ее всю жизнь, а перед смертью передал сыну Федору. На страницах этого уникального экземпляра сохранилось около полутора

тысяч пометок: надписи карандашом и чернилами, подчеркивания ногтем, загнутые уголки, — говорящих о напряженной духовной и мыслительной работе его владельца. При изучении Евангелия Достоевского применялся новый метод исследования — оптико-электронная текстология, поскольку многие царапины ногтем или сухим пером сейчас трудно различить невооруженным глазом.

В первый том включено факсимильное воспроизведение экземпляра Нового Завета с пометками, сделанными Достоевским, а также «Сибирской тетради» — записок, которые писатель начал вести в Омском остроге. Во втором томе помещены статьи и комментарии ведущих исследователей и текстологов России,

работавших с Евангелием Достоевского. Третий том содержит свидетельства, критику, богословские работы о евангельской традиции в творчестве писателя.

Издание подготовлено крупнейшими российскими учеными-достоеведами В. Н. Захаровым и Б. Н. Тихомировым, а также заведующим отделом рукописей Российской государственной библиотеки В. Ф. Молчановым. Уникальное содержание и великолепное оформление трехтомника призваны помочь читателю понять, насколько большое значение имели в духовной жизни и творчестве великого писателя образ Христа и евангельская история.

Свт. Иоанн (Максимович). Феатрон [пер. с ц.-сл. М. Ю. Бакулин и Т. А. Сайфуллин]. — Тюмень: «Русская неделя», 2017.

Святитель Иоанн Тобольский (Максимович) — один из самых почитаемых сибирских святых. Полное название его труда — «Феатрон, что означает обозрение всенародное, для царей, князей и владык, и для всех чинов полезное. Здесь хорошо описано то, что должен делать и соблюдать начальник, а от чего уклоняться».

Слово «феатрон» означает «театр». Книга святителя Иоанна стала своего рода откликом на выборы, проводившиеся во времена Петра I, которые, с точки зрения автора, были всего лишь «обозрением всенародным», то есть зрелищем, развлечением для толпы, потому что никак не влияли на методы правления в условиях абсолютной монархии. Но это отнюдь не памфлет, а скорее нравственно-философское исследование и наставление.

Тема власти рассматривается святителем с позиций православного христианства, с привлечением множества исторических примеров: от императоров и царей

древности до современных автору деятелей искусства и политики. Петр Великий получил довольно резкую оценку, но, несмотря на это, наградил святителя благодарственной грамотой и хранил его книгу в своей личной библиотеке.

Первое издание «Феатрона» увидело свет в 1708 г. Оригинал был написан на церковнославянском языке, к тому же автор широко использовал в тексте цитаты на греческом и латыни, что среди образованных людей в те времена считалось обычным делом. «Феатрон» 2017 г. представляет собой перевод, выполненный и прокомментированный сотрудниками тюменского культурного центра «Русская неделя» — его генеральным директором, писателем Мирославом Бакулиным и филологом Тимофеем Сайфуллиным. В книгу включено около 1500 иллюстраций и 1700 ссылок научного аппарата — маргиналий, а также оригинальный текст на церковнославянском.

Издание названо лучшим в номинации духовной и историко-религиозной литературы.

Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII — начала XX веков; в 5 томах. [составители: В. А. Скубневский и другие; редколлегия: В. П. Кладова (ответственный редактор) и другие]. — Барнаул: Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, 2017.

Изданный в Барнауле в рамках Губернаторского проекта пятитомник — богатейшее собрание материалов об Алтае более чем за два века. Авторы статей, эссе, путевых заметок описывают этот прекрасный край с разных сторон. Сведения о географии, геологии, развитии горного дела, о живой природе, быте и хозяйственной деятельности населяющих Алтай народов воссоздают для нас

его исторический облик и пережитые изменения. Труды по социально-экономическому и социокультурному развитию Алтая таких известных ученых и мыслителей, как Г. И. Спасский, Э. Г. Лаксман, И. П. Фальк, А. И. Кулибин, Г. Н. Потанин, Н. А. Йосса, ясно дают понять, какой интерес всегда вызывал этот край в России и за рубежом. Мысль собрать все эти первоисточники под одной обложкой оказалась очень удачной и плодотворной. На конкурсе «Книга года: Сибирь — Евразия» проект признан лучшей краеведческой книгой.

Издание рассчитано на студентов и учащихся высших и средних учебных заведений, специалистов — историков, географов, геологов, биологов, всех интересующихся историей и природой Алтая.

Легенды и сказки Севера [составители: М. Г. Никифорова, А. Д. Попова]. — Якутск: АО НИК «Бичик», 2018.

В красочном сборнике, который представила на конкурс «Книга года: Сибирь — Евразия» Национальная издательская компания «Бичик», читатель найдет легенды и сказки двадцати семи северных народностей: якутов, юкагиров, эвенов, эвенков, ненцев, эскимосов, чукчей, саамов, нивхов, хантов и многих других, живущих в тринадцати регионах России — от Карелии до Чукотки и Сахалина. Некоторые образцы народного творчества публикуются впервые. Тексты прошли литературную обработку, но

очень бережную: переводчики, редакторы и составители постарались максимально сохранить их своеобразие и национальный колорит. На конкурсе издание завоевало первое место в номинации «Лучшая книга для детей и юношества».

Омельчук А. К. Книга Сибири: художественное электронное издание на USB-флеш-накопителях, в 2 частях. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2018.

Анатолий Омельчук известен и как журналист, и как писатель. Президент телерадиокомпании «Регион-Тюмень», член Российского географического общества, член правления Евразийской телеакадемии, президиума Международной академии телевидения и радиовещания — и он же автор сорока книг прозы, поэзии, публицистики, эссеистики... Главная тема его произведений — любовь к Сибири, восхищение суровой красотой этой земли и сибирским характером. Поклонники творчества Анатолия Омельчука могут теперь получить все его книги, вышедшие за последние сорок лет, в мультимедийном издании — с подборкой фото-, видео- и аудиоматериалов, на двух флешках. Есть там и биография автора, и статья-исследование о его жизни и творческом пути, и аннотированный библиографический указатель. На конкурсе проект «Книга Сибири» был отмечен как лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного сотрудничества.

Лариса Подистова



«ЛЮБИТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ЧУВСТВОВАТЬ ЕГО СВЕТ...»

Беседа с художником

Ириной Анатольевной Карнушиной

Ирина Анатольевна Карнушина — новосибирский художник-график, доцент кафедры рисунка и скульптуры Новосибирского государственного педагогического университета. Родилась в 1973 г. в поселке Октябрьский Новосибирской области. С 1990 по 1995 г. обучалась на художественно-графическом факультете НГПУ. С отличием защитила диплом в мастерской В. М. Гранкина и В. В. Телишева. С 1993 г. — активный участник студенческих и преподавательских выставок на факультете. Первую персональную выставку провела в 2000 г. в стенах НГПУ. Участник городских, областных, региональных выставок. С 2004 г. член Союза художников России. В 2016 г. силами Ирины Карнушиной, ее учеников и единомышленников была создана «Арт-школа» — художественная студия для людей всех возрастов.

— Ирина Анатольевна, расскажите о себе. Как начинался ваш творческий путь?

— Путь начинался с художественно-графического факультета Института искусств НГПУ. Попала я туда совершенно случайно, по наводке родственников. Вы удивитесь, но в детстве я не любила рисовать. Первые два курса давались трудно. Я родом из деревни, никаких уроков живописи у нас не было. Но судьба дала мне хороших учителей — Владимира Михайловича Гранкина, Владимира Вячеславовича Телишева, Юрия Михайловича Ефимова. Тогда в Новосибирске работала плеяда мастеров из Академии художеств. Многих из них уже нет с нами. Наставники вселили в меня надежду и увидели творческий потенциал. Тогда я еще не занималась графикой, и диплом мой был посвящен живописи. Потом судьба свела меня с известным

графиком Алексеем Курячим. Большую роль сыграли пленэры — выезды в города, в частности старинные — Тобольск, Чебоксары и другие. Тогда и начался мой путь как графика.

— Расскажите о вашей малой родине и своей семье.

Поселку Октябрьский, где я родилась и выросла, больше подходит его второе название — станция «Раздолье». Оно более красноречиво его характеризует. Я младшая дочь в семье, как говорят — «папина дочь». Папа, который работал механиком сельхозтехники, очень часто брал меня с собой на работу, и мы на его «летучке» колесили по окрестным полям и лесам. С тех пор, видимо, я научилась наблюдать за небом, ветром, каплями росы, шелестом листвы и тяжелых колосьев в полях, движением воздуха в летний зной. Мы вместе ходили за грибами,

стоярили, возились с «москвиченком» в гараже. Свою первую выставку, около двадцати лет назад, я посвятила его памяти. Что я испытываю, приезжая домой, можно понять, вспомнив слова из песни «На дальней станции сойду» из советского кинофильма «По секрету всему свету». Там все сказано, и перефразировать это невозможно. Не так давно, выходя из электрички, стала невольно ощущать, как замирает сердце от непонятого душевного трепета. Все чаще ощущаю желание вернуться в деревню, в покой, в настоящее, проехать на велосипеде по знакомым полевым дорожкам, косогорам и окраинам, где написаны мои первые, тогда еще живописные, работы.

— *Несколько слов о ваших учителях — Владимире Михайловиче Гранкине, Вадиме Вячеславовиче Телишве, Юрии Михайловиче Ефимове. Какое влияние они оказали на вас?*

— Вадим Вячеславович, будучи скульптором, научил пространственному, объемному мышлению. Благодаря Владимиру Михайловичу я стала тоньше чувствовать жизнь и природу. Во многом это связано с тем, что Гранкин главным образом занимался пейзажами, хотя по образованию был художником-декоратором. Любить окружающий мир и чувствовать его свет — эти качества пытался привить мне мастер. Сейчас мне немного этого не хватает в графике. Юрий Михайлович Ефимов вошел в мою творческую жизнь, когда я уже начала работать на кафедре рисунка и скульптуры. Интеллигент от природы, ранимый и светлый человек. Он учил красоте и нежности рисунка. Любовь к линии, чувство света, трепетность перед натурой, уважение ко времени, отведенному тебе для соприкосновения с увиденным. В этом весь Ефимов. Сейчас, когда никого из учителей нет рядом, на-

чинаешь понимать цену тому, что преподнесла тебе жизнь.

— *Значительная часть ваших работ выполнена в технике карандашной графики. В чем ее преимущество перед другими?*

— Карандаш тоньше чувствует форму, настроение и линию рисунка. Поскольку у него тонкая градация тона, им можно передать настрой и видение предмета.

— *Многие ваши картины посвящены великим сибирским рекам Оби и Тоболу...*

— По поводу Оби — это счастливое стечение обстоятельств. В свое время я проходила курс повышения квалификации в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Так получилось, что моей темой были мосты Новосибирска. Она и свела меня с Обью. В случае с Тоболом — тоже стечение обстоятельств: там проходили пленэры. Сибирские реки очень крупные, они привлекают силой и простором в контрасте с различными мелкими деталями — деревьями, домами...

— *Вы часто изображаете храмы и церкви. Считаете ли вы себя верующим человеком?*

— По сути своей я атеистка. Но, как и многие, иногда задумываюсь о существовании некоей высшей силы, которой подвластно мироздание. Монастыри и храмы привлекают своей архитектурой. В современных строениях таких кружевных и воздушных элементов сейчас уже не увидишь. Это Красота. Это духовность. Последняя, кстати, присутствует в любом человеке, неважно — верит он или нет.

Особо впечатляют полуразрушенные, заброшенные храмы, например, Тобольска. Этот город вообще уникален своей северной, именно северной, архитектурой, значение которой никогда не перечеркнуть. На юге и востоке Сибири ничего подобного не встретишь. Северная архитектура поражает мощью форм. Заходя в такой храм, испытываешь особый трепет перед историей, а она там в каждом камне, в каждой дощечке. Их своды с еще сохранившимися фресками как ладонями в испуге оберегают то, что еще уцелело. Почти все мои тобольские работы посвящены им.

— В 2016 г. вами была создана «Арт-школа», обучающая новое поколение художников. Каких успехов достигли ученики за это время?

— История создания школы немного печальна. Классическое искусство переживает упадок. К сожалению, в современной педагогике упор делается на методическую, а не практическую часть работы. Поэтому многие художники сегодня оказались не у дел. Мне хотелось привлечь людей, которым нужны именно практические навыки в творчестве. В создании школы большую помощь оказали мои коллеги и ученики. К нам приходят те, кто хочет выразить себя в искусстве, живописи, графике. Здесь я нашла свою нишу и плодотворно работаю уже несколько лет.

Весь коллектив состоит из выходцев худграфа НГПУ. А это ни много ни мало — целых три поколения. Видимо, это объясняется единой для нас школой. Понимание давно найдено, разногласия практически исключены. Все ребята — профессионалы своего дела, умеющие передать свои знания и опыт, и, что самое важное, это художники-практики. Открывая школу, мы не стали гнаться за

модными веяниями в искусстве. Мощная база классики и академизма — это наше. В программе обучения — все традиционные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись (масло, акварель), декоративно-прикладное искусство (керамика).

— Двери «Арт-школы» открыты для людей всех возрастов. Среди них преобладает молодежь или люди более старшего поколения?

— Возрастной состав у нас, действительно, довольно пестрый. От четырех лет и далее без ограничений. Каждый год перевес то в одну, то в другую сторону. Но этим и достигается равновесие. К сожалению, экономическая ситуация в стране отражается и на нас, поэтому нынче очень сократилось количество зрелых художников. И очень жаль.

— Среди современных художников бытует мнение, что здесь, за Уралом, формируется оригинальная сибирская художественная школа. Согласны ли вы с данной точкой зрения?

— В большей степени это относится к Томску и Красноярску. Новосибирск пока немного в стороне от этого. Сейчас в городе огромное количество школ и течений. В этом плане художественная жизнь Новосибирска достаточно разнообразна.

— Кто из отечественных и мировых художников, помимо ваших учителей, оказал на вас влияние?

— Творчество классиков — Серова, Репина, Врубеля. Что касается художников-графиков, в первую очередь назову имена Станислава Никиреева и Ореста Кипренского.

— Что является для вас источником вдохновения? Существует ли вообще эта субстанция, на ваш взгляд?

— Подсознательно вдохновение существует. Но всем нам знакомо понятие лени. Вдохновение тесно связано с наличием или отсутствием времени.

— В каких еще техниках вам хотелось бы работать? Как вы относитесь к экспериментам в творчестве?

— Сейчас мне очень не хватает цвета в графике. Как уже было сказано, меня воспитывал учитель живописец. В данный момент пытаюсь работать пастелью, сочетать графику с акварелью. Впрочем, это сложно назвать экспериментом. Все уже придумано до нас, и открыть что-то новое вряд ли получится. Изобретать велосипед я не стараюсь и пользуюсь теми прекрасными техниками, которые уже есть.

— Какие из ваших картин вы хотели бы выделить особо?

— Оценку моим работам точнее всего могут дать зрители и старшие, более опытные товарищи. А любимыми я считаю работы, написанные на моей родине, там, где я родилась и прошло мое детство, где живет моя мама. Они теплые и очень дорогие для меня. Это «Окраина», «Осень», «Вечер» и другие. И конечно, портрет трехлетнего сына.

— С чего стоит начать человеку, решившему связать свою жизнь с профессией художника?

— Нужно работать. Работать много и регулярно. Одного таланта недостаточно. Для любого художника необходимо классическое образование. Оно открывает дорогу в мир. Вообще, задача художника — не допустить, чтобы общество погрязло в мещанских потребностях и мелочности. Донести до сознания людей, что существуют вечные понятия, которые невозможно перешагнуть и на которых зиждется этот мир.

Беседовал Владислав Кулагин



АВТОРЫ НОМЕРА

Андреева Анастасия родилась в 1973 г. в Ленинграде. Пишет стихи, переводит современную фламандскую поэзию. Публиковалась в журналах «Крестьяник», «Плавучий мост», «Новая Юность», «Волга» и др. Член редколлегии журнала «Эмигрантская лира». С 2004 г. живет в Брюсселе.

Высоцкая Кристина Анатольевна родилась в 1987 г. в г. Талица Свердловской области. Окончила отделение журналистики филологического факультета Тюменского государственного университета. Неоднократный победитель городских литературных конкурсов. Публиковалась в альманахах «Врата Сибири», «Берега», «Мы молодые». Живет в Тюмени.

Делаланд Надя родилась в 1977 г. в Ростове-на-Дону. Окончила филологический факультет Ростовского государственного университета, докторантуру Санкт-Петербургского государственного университета. Работает арт-терапевтом в психиатрической клинике. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Арион», «Звезда», «Вопросы литературы» и др. Лауреат и финалист ряда литературных премий. Живет в Москве.

Левантовский Михаил родился в 1987 г. в Казахстане. Учился в Бишкекском гуманитарном университете. Работал корреспондентом, главным редактором в газетах, редактором и колумнистом в интернет-изданиях. Автор книги стихов «Министерство идущего снега». В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Бишкеке.

Метелица Дмитрий родился в 1987 г. в Москве. Путешествует по России и ближнему зарубежью. Перепробовал множество специальностей — от дворника и проводника вагона до сушильщика морской капусты. В «Сибирских огнях» публикуется впервые.

Подистова Лариса Николаевна родилась в 1967 г. в Алма-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский

язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Новосибирск», «Невский альманах», «Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России.

Рогхеман Виллем (Willem M. Roggeman) родился в 1935 г. в Брюсселе. Автор более сорока поэтических книг, романов, рассказов и многочисленных эссе о литературе и изобразительном искусстве. Многие книги были переведены и изданы на других языках. Обладатель ряда литературных премий, в том числе и международных. Живет в Дилбеке (Бельгия).

Романов Александр Владимирович родился в 1977 г. в Волгограде. Окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. Работал дизайнером, архитектором. Публиковался в журналах «Уральский следопыт», «Техника — молодежи», «Юный техник» и др. Живет в Волгограде.

Семенов Владимир Александрович родился в 1961 г. в Ленинграде. Окончил финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. Работал экономистом, бухгалтером, был частным предпринимателем. Публиковался в журнале «Знамя». Живет в Санкт-Петербурге.

Францев Александр Викторович родился в 1981 г. в поселке под Архангельском. Работал вахтовым методом — кочегаром в котельной, грузчиком, рабочим на стройке, сторожем. Публиковался в журналах «Двина», «Сибирские огни». В настоящее время проживает в Архангельске.

Хафизов Олег Эсгатович родился в 1959 г. в Свердловске. Окончил факультет иностранных языков Тульского государственного педагогического института. Работал художником-оформителем, переводчиком, сценаристом, телеведущим, педагогом. В настоящее время научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле». Автор четырех книг прозы. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Волга» и др. Живет в Туле.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 27.11.2018. Дата выхода № 1 за 2019 г. в свет 21.01.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.